Вс. СОЛОВЬЕВ

ВОЛХВЫ



103

Вс. СОЛОВЬЕВ

ВОЛХВЫ



Текст печатается по изд.:
Полное собрание сочинений Вс. Соловьева.
Типография Сойкина П..П., Петроград, 1917.

СОЛОВЬЕВ Вс.С.

Т. 5. Волхвы. - М.: СП "Эврика", 1991. - 448 с.

ISBN 5-85732-013-5

Что знает о великом чародее Калиостро современный читатель? Увы, не очень много. И если он стремится проникнуть в мир таинственного, то непременно прочтет романы "Волхвы" и "Великий Розенкрейцер" - знаменитую мистическую дилогию Вс. Соловьева.

ISBN 5-85732-013-5

Волхв, волх - старинное: мудрец, звездочет, астролог, чародей, колдун, знахарь, ворожея, чернокнижник, волшебник.

(Из словаря В.И.Даля)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь стремительна и полна тайн и загадок. Даже самые могучие умы, постигшие многое, приходили к заключению, что они знают лишь то, что ничего не знают. Не потому ли так притягателен мир таинственного и неразгаданного? Оккультизм, каббалистика, мистицизм, черная магия - слова эти, пережившие столетия, и сегодня на слуху...

И поэтому современный читатель наверняка обратит внимание на выпускаемую нашим издательством дилогию Вс.Соловьева "Волхвы" и "Великий Розенкрейцер".

Роман "Волхвы" впервые был опубликован в 1888 году в журнале "Север". Появление этого произведения мистического характера не было неожиданностью для многочисленных почитателей романиста. Ведь автор "Волхвов" и раньше затрагивал мир таинственного и неразгаданного в своих талантливых миниатюрах: "Приключения моего доктора", "Двойное привидение", "Перс из Индии", "Откуда", "Магнит", "Во сне и наяву" и многих других. Уже в этих рассказах превосходно повествуется о явлении животного магнетизма, случаях самовнушения, телепатии, общении живых с мертвыми. И все же, только в "Волхвах" Соловьев полностью раскрылся как человек не просто увлеченный оккультизмом, но и глубоко в нем разбирающийся.

Влечение писателя к области таинственного обнаружилось в нем давно, чуть ли не с юных лет, и было не случайным, не временным, а настоящей духовной потребностью. По воспоминаниям современников Соловьев был ярым мистиком и оккультистом, а самая личность писателя представляла собою очень много странного и таинственного. В тех случаях, когда заходил разговор по душам, из-за Соловьева словно выглядывал кто-то другой, чуждый всякого меркантилизма, глубоко грустный, будто отошедший от мира сего, тихо укоряющий своего двойника. Похоже, что этот другой и создал дилогию.

Работа над "Волхвами" началась лет за пять до выхода романа в свет, когда Соловьев жил в Париже. Занимаясь в Национальной Библиотеке, он составлял план романа и делал выписки из книг известных оккультистов и каббалистов: Парацельса, Эккартсгаузена, Фламеля и Трисмегиста. Знакомство с теоретическими исследованиями мистиков и познание на практике всевозможных спиритических и медиумических явлений позволили Соловьеву собрать огромный фактический материал по мистицизму. Мастерски используя этот материал, он дал любопытную картину русского общества конца XVIII - начала XIX века, общества, в котором мистицизм получил вполне определенное развитие. Особую прелесть "Волхвам" придает богатство и своеобразность вымысла. Доминантой же романа служит глубокая, серьезная идея о высшей ступени знаний человека: с этой ступени представляется едва ли не полная картина всех тайн природы, но и с нее не видно пути к настоящему блаженству бытия... Идею эту романист изящно и с любовью воплотил в живых художественных образах: князе Захарьеве-Овинове и графе Фениксе, он же Калиостро.

Имя графа Калиостро известно, должно быть, многим читателям. Ведь кто только ни писал об этом чудодее, начиная с Александра Дюма и кон-

чая многочисленными подражателями знаменитого француза!..

Однако в "Волхвах" Калиостро является в совершенно ином освещении. Здесь граф, показывающий с помощью своей жены такие чудеса, которые невозможно подделать никаким образом, - это великий победитель природы, интересный человек, интересный не одною только своею судьбою, едва ли не сказочною, но и теми усилиями, которые он предпринимает, чтобы достигнуть высшей мудрости и величайшего счастья. На примере волшебника Калиостро и розенкрейцера Захарьева-Овинова Соловьев блестяще показывает, до каких пределов человек может развить в себе силу воли, до какой степени может он ради достижения поставленной цели изменять свой нрав и насколько напрасны эти титанические усилия без участия души, без великого Христова завета, завета любви.

Итак, XVIII век, царствование Екатерины II, граф Калиостро в России...

Владимир Близнюк

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

"Иисусу же родшуся в Вифлееме Иудейстем во дни царя Ирода се волсви от востока приидоша во Иерусалим... и падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато, ливан и смурну."

(Еванг. от Матф. Гл. II, 1, 11).

"И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь".

(Первое посл. к Коринф. Ап. Павла.Гл. XIII,2).

I.

Императрица улыбнулась, и в ясных глазах ее мелькнул насмешливый огонек.

- Конечно, - сказала она, - для человека, покинувшего Петербург два десятка лет тому назад, здесь многое должно казаться новым и совсем неузнаваемым, но вряд ли происшедшие перемены могут поразить того, кто покинул этот город семи- или восьмилетним ребенком... Это слишком ранний возраст для наблюдений, да и воспоминания вряд ли способны сохраниться в достаточной мере полными.

- Я не был тогда ребенком, ваше величество. Мне сорок лет, а тогда, стало быть, было двадцать.

Императрица сделала невольное движение назад, с большим изумлением вглядываясь в своего собеседника.

Перед ней был крепкий и стройный человек среднего роста. Ни одна морщинка еще не тронула его молодого и красивого, несколько бледного лица, поражавшего своим твердым и спокойным выражением. Сразу, не вглядываясь в этого человека, его можно было принять за юношу, однако теперь, пристально смотря на него, императрица заметила, что в его интересном лице уже нет и следа неопределенности, мягкости и женственности - спутников раннего возраста.

"Но сорок лет!.. Разве это возможно?.. Смеется он, что ли, надо мною?" - невольно подумала она.

Наконец она сообразила и вспомнила все, что ей было известно об этом человеке. Вспомнила, что, разрешив Ивану Ивановичу Бецкому представить его ей сегодня, во время праздника, она и думала увидеть человека зрелого возраста. Но, взглянув на него в первую минуту, когда он спокойно и почтительно склонился перед нею, она забыла о его летах. Она сразу подметила в нем нечто особенное, в чем еще, конечно, не могла дать себе отчета, но что ей понравилось. Через минуту, после первых фраз, она уже перешла с ним в тот благосклонный, несколько шутливый тон, какой часто принимала с молодыми людьми и девушками, когда бывала в хорошем расположении духа. А сегодня весь день она именно была в таком расположении.

- Возможно ли это? - наконец проговорила она. - Где нашли вы секрет стирать следы безжалостного времени? Какие волхвы передали вам это искусство, столь драгоценное и для всех нас, смертных, недостижимое?

Говоря это, она все продолжала вглядываться в его спокойное и бледное лицо, на котором мелькнула теперь улыбка, почему-то показавшаяся ей загадочной.

- Да, я знаю, я очень моложав, - сказал он, - но не знаю, ваше величество, большое ли это

благополучие... иной раз даже не совсем лестно казаться моложе своего возраста.

Что было в этих словах - упрек? Во всяком случае, лицо императрицы внезапно стало серьезным. Ее шутливый благосклонный тон исчез, и она уже как бы совсем новым голосом спросила:

- И все эти двадцать лет вы провели за границей, князь?

- Нет, ваше величество, я два раза приезжал в Россию, только не был в Петербурге.

- Двадцать лет - это много, много времени, и от двадцати до сорока - лучшая пора жизни! Если вы так изумительно сохранились, вы должны были провести эти годы безмятежно и счастливо?!

Лицо его оставалось спокойным, и он ничего не ответил. Императрица продолжала:

- Да, я знаю, помню, Иван Иванович говорил мне, что вы ученый, что вы много работали, чуть ли не во всех университетах Европы - и в Германии, и в Англии, и во Франции... Я очень вам завидую, князь. Но что мне особенно приятно, это то, что вы, проведя почти всю жизнь в чужих краях, вдали от родины, не забыли русского языка и выражаетесь на нем так, как бы никогда отсюда не выезжали.

- Ваше величество, я в детстве говорил и думал по-русски, я никогда не забывал, что я русский, и берег в себе это. А что я правильно изъясняюсь - что же в том удивительного? Когда-то наш язык был чуждым для вашего величества, а вы его знаете не хуже моего, а, быть может, и гораздо лучше.

Екатерина едва заметно кивнула головою и наградила своего собеседника прекрасной улыбкой.

- Я русская, - проговорила она.

В это время в их разговор ворвались раздавшиеся неподалеку звуки музыки, шум и движение придворной толпы. Императрица, всегда жадно и с интересом вглядывавшаяся в новых людей и увлекавшаяся в первую минуту своими наблю-

дениями и впечатлениями, вспомнила, где она, и решила, что пора прекратить эту беседу. Но все же ей как бы жаль было сразу отпустить нового знакомца. Она сделала шага два вперед, остановилась и обратилась к нему:

- Теперь вы остаетесь здесь, неправда ли? Вы приехали не для того, чтобы снова возвратиться в Европу?

- У меня еще нет никаких определенных планов, ваше величество.

- Передайте вашему батюшке, что я сожалею о его недуге, что я довольна была познакомиться с вами. Да, я всегда любила вашего отца, я думала одно время, что он может быть одним из моих деятельных помощников... По правде сказать, я сердилась на него за то, что он всегда упрямо отстранялся от серьезной роли, какую мог бы играть при его дарованиях. Но я уже давно не сержусь... Быть может, он и прав... Как бы ни было, старого я не забываю: в трудное время он оказал мне немало услуг - и я ему благодарна... До свидания, и прошу помнить, что сын князя Захарьева-Овинова может всегда расчитывать на мое расположение.

Она протянула ему руку с той величественной грацией, которая, казалось, ей одной была присуща.

- Ваше величество, из глубины сердца благодарю вас и за отца, и за себя! - сказал князь, прикасаясь губами к руке императрицы.

Нарядная толпа их разделила.

II.

Разговор этот происходил в стенах бывшего Воскресенского Новодевичьего, так называемого Смольного, монастыря, уже несколько лет превращенного в "воспитательное общество для благородных девиц".

Это воспитательное общество было устроено императрицей по образцу известного Сен-Сирского института близ Парижа. Много нежных забот положила Екатерина на этот созданный ею с помощью Ивана Ивановича Бецкого рассадник женского образования. Она заботилась о воспитывавшихся в нем девочках как о собственных детях.

В начале семидесятых годов она переписывалась о своем Смольном с Вольтером, передавала ему об успехах воспитанниц, спрашивала его советов относительно того, какие пьесы играть девочкам. Великий льстец отвечал ей таким тоном, будто он и сам был глубоко заинтересован Смольным, давал советы и пропитывал свои письма тончайшей лестью.

Так проходили годы. Царица не забывала Смольного. Вот и теперь в институтских стенах по случаю рождения великого князя Константина Павловича было назначено празднество.

Праздник этот был не институтский, а придворный - только с участием воспитанниц. Приглашен был весь двор и "обоего пола особы первых пяти классов".

Стояла чудная майская погода. Густой монастырский сад, разбитый по плану знаменитого Растрелли, недавно оделся яркой зеленью и запестрел цветами.

Теперь весь этот сад преобразился: в его аллеях была устроена блестящая иллюминация, на каждом шагу возвышались причудливые киоски и павильоны. В глубине главной аллеи возвышался "древний храм", созданный во мгновение ока, но тем не менее производивший величественное впечатление.

Однако в саду пока еще не было заметно особого движения. Светлый майский вечер наступал медленно. Иллюминацию только что начали зажигать, и огоньки едва заметно мигали среди розового света, лившегося с неба.

Все приглашенные находились в большом институтском зале и прилегавших к нему комнатах. Весь этот огромный зал был снизу доверху обставлен оранжерейными тропическими растениями и изукрашен венками и гирляндами из живых цветов. То там, то здесь выделялись искусно сделанные из таких же цветов вензеля императрицы и целые слова и фразы. Эти фразы должны были выражать чувства благодарности и любви воспитанниц к их августейшей благодетельнице, а также те правила добродетели, какими они намерены руководствоваться в жизни.

В глубине зала возвышалась так называемая Парнасская гора, с ее вершины на многочисленных зрителей глядели хорошенькие личики муз, изображаемых девятью воспитанницами, одетыми в костюмы древнегреческого покроя и имевшими каждая в руках свои классические атрибуты.

Нужно было отдать справедливость распорядителям празднества и главному его руководителю, "воспитателю детскому, человеку немецкому", как его называли тогдашние зубоскалы, - Ивану Ивановичу Бецкому: все девять муз были одна другой красивее и милее, а мягкие складки древнегреческих одеяний и нежные цвета тканей еще более выделяли их юную красоту и свежесть, грацию и чистоту их девственных форм. Да и вообще в этом рассаднике женского образования в то время благодаря какой-то счастливой случайности красота и привлекательность вполне торжествовали над дурнотой. Это можно было заметить, обратив внимание на два больших амфитеатра, устроенных по обеим сторонам стеклянной двери, ведшей из зала в сад. На этих амфитеатрах среди цветов и зелени разместились все воспитанницы Смольного, не принимавшие участия в программе празднества. Здесь были девочки начиная с семи- и восьмилетнего возраста и кончая семнадцатью и восемнадцатью годами.

Многочисленные любители красоты и юности,

находившиеся теперь в зале, могли вдоволь налюбоваться бесконечным разнообразием детских и женских лиц, из которых почти каждое останавливало на себе внимание если и не особенной красотою, то, во всяком случае, миловидностью и привлекательностью. Дурнушек решительно не было, или, вернее, они встречались только как исключения. Да и вдобавок эти редкие исключения были так искусно рассажены, что наблюдатели их совсем не могли заметить.

Девушки и девочки, хотя и одетые в свои форменные однообразные платьица, тем не менее, очевидно, употребили немало искусства на свой наряд и прическу, и каждая из них готова была выдержать самую строгую критику. А строгих критиков-знатоков оказывалось много. Уже с самого начала праздника оба амфитеатра стали ежеминутно все более и более окружаться блестящими кавалерами в раззолоченных кафтанах. Правда, почти все эти кавалеры не отличались молодостью, но зато их грудь была украшена знаками высших отличий, их осанка говорила об их государственном значении. Их важные лица, перед строгим выражением которых трепетало ежедневно великое множество подчиненных и просителей, теперь освещались добродушной и нежной улыбкой.

И всего больше нежности и ласки было разлито на некрасивом, мясистом, до времени обрюзгшем лице баловня счастья Безбородки, который будто так и прирос к месту у амфитеатра. Его щурившиеся, блестящие и влажные, как у блаженно дремлющего кота, глазки то и дело загорались, перебегая от одного хорошенького личика к другому. Наконец он не выдержал, покачнулся, сделал несколько шагов на своих толстых ногах к самому амфитеатру и начал нашептывать что-то, очевидно, очень милое, избранной им белокурой головке.

Его примеру последовали и другие. Девицы улыбались, кокетливо и мило вскидывали глазами,

прелестно краснели и отвечали на обращаемые к ним комплименты сановников - кто односложно и робко, а кто и с милой детской смелостью.

Среди наполнявшей зал громадной толпы гостей то здесь, то там мелькали четыре весталки. Да, "весталки" - так были названы четыре девушки, только что кончившие выпускные экзамены, но еще не покинувшие институтских стен. Они были одеты все в белом, в белые туники из тонкой шерстяной ткани, с белыми розами, вплетенными в их длинные и густые распущенные волосы. Они носили название весталок, и им еще предстояло принять участие в дальнейших нумерах программы празднества. Первоначальная же их роль заключалась в том, что они у входа в зал встречали и приветствовали гостей.

Все эти четыре весталки по красоте и изяществу были лучшими перлами Смольного института, и старик Бецкий невольно потирал себе руки от удовольствия, наблюдая за ними, видя, какое впечатление они на всех производят, с какой грацией, скромным достоинством и любезностью они исполняют роль хозяек этого душистого, наполненного зеленью, цветами и красотою зала.

Императрица уже успела сказать ему, что она очень довольна его выбором и что никогда еще с самого основания института из его стен не вступали в свет такие красавицы, как эти четыре весталки.

Он видел, как видели это и все здесь собравшиеся, что вообще императрица довольна всем и находится в самом лучшем настроении духа. Теперь он, остановясь несколько в сторонке, не без изумления наблюдал, как долго и оживленно императрица говорила с представленным им ей сыном его старого друга, князя Захарьева-Овинова. Разговора он не мог слышать, но видел внимательное, оживленное лицо государыни. А он давным-давно в мельчайших тонкостях изучил это лицо. Он видел благосклонную, искреннюю улыбку, которой Ека-

терина на прощанье одарила своего собеседника. Эта улыбка была многозначительна - так Екатерина улыбалась только тогда, когда отпускала людей с тем, чтобы с ними снова встретиться.

Когда государыня прошла дальше, по направлению к Парнасской горе, и когда за нею, осторожно протискиваясь вперед и всеми силами стараясь опередить друг друга, устремились придворные, Бецкий величественной походкой и, вызвав на своем тонком, породистом лице добрую улыбку, которая, как многим казалось, имела большое сходство с улыбкой императрицы, подошел к князю и почти незаметным движением, но крепко стиснул ему руку.

- Любезный друг, поздравляю от сердца, - проговорил он.

Но князь взглянул на него так рассеянно и неопределенно, как будто его не узнал, как будто не слышал слов его.

Бецкий хотел было изумиться и сказать что-то, но в это же мгновение к нему спешно подошел молодой придворный кавалер и торопливо передал ему, что государыня его спрашивает. Он оставил князя и несколько ускоренным, но неизменно величественным шагом направился к Парнасской горе.

Между тем внимание императрицы, оказанное ею человеку, почти никому здесь неизвестному, всех заинтересовало. Многие взгляды были устремлены теперь на князя. О нем спрашивали друг у друга. Из числа особенно заинтересовавшихся им был князь Щенятев, молодой человек, известный всему Петербургу, бросавшийся всем в глаза своим чрезмерным франтовством и комичной наружностью. Разряженный в пух и прах, весь сверкающий бриллиантами, князь Щенятев теперь метался от одного к другому. Его брови поднялись и представляли из себя два вопросительных знака, глаза горели ненасытным любопытством, маленький, подобный пуговке, носик покраснел. Захлебываясь и шепелявя, князь обращался к каждому:

- Бога ради, кто это? Кто? С кем это государыня так долго говорила?

Но никто ему не мог удовлетворительно ответить, а ему никак невозможно было успокоиться. Он не был в состоянии, по существу своего характера, чем-нибудь теперь развлечься, о чем-нибудь подумать, пока не решит вопроса: кто это? - пока в свою очередь не получит возможности удовлетворить любопытства других.

Но вот он заметил невдалеке от себя человека, почти так же, как и сам он, блестяще одетого, но уже не молодого, с добродушным и приятным лицом. Это был не менее его самого известный всему Петербургу того времени богач, граф Александр Сергеевич Сомонов, тот самый Сомонов, про которого Екатерина, знакомя его с одним из иностранных посланников, сказала: "Вот человек, делающий все возможное, чтобы разориться, но разориться никак не могущий".

Князь Щенятев сообразил, что граф, наверное, удовлетворит его любопытство, подлетел к нему и, почтительно кланяясь, начал свою фразу:

- Граф, позвольте спросить вас, вы, наверно, знаете, кто этот молодой человек, с которым государыня так долго говорила?

Граф взглянул, добродушно улыбнулся и медленно выговорил:

- Какой молодой человек?

- А вон тот, вон, видите, в темнофиолетовом кафтане! Разве ваше сиятельство не изволили заметить, его Иван Иванович представил государыне... Вон тот, в фиолетовом кафтане...

- Это вовсе не молодой человек, - так же протяжно и невозмутимо сказал граф Сомонов.

Брови князя Щенятева поднялись еще выше, глаза готовы были выскочить, вся его длинная фигура на тонких, как жерди, ногах изобразила недоумение.

- Как? - мог только произнести он, не понимая, что такое говорит ему граф.

- А так, что это вовсе не молодой человек, потому что он лет на пятнадцать вас старше.

- Не может быть!

- Если я говорю, значит - знаю. Действительно, он моложав необыкновенно...

- Да кто он? Кто? Ведь вы его знаете, граф?

- Конечно, знаю.

Щенятев весь так и впился в графа, прямо в его рот, будто желая схватить слова, пока они еще не вылетят.

- Конечно, знаю, - повторил Сомонов. - Неделю тому назад это был господин Заховинов, а сегодня - это князь Захарьев-Овинов.

Щенятев хлопнул себя по лбу.

- И как я не догадался!

- Почему же вы должны были догадаться?

Но Щенятев был уже далеко и передавал направо и налево разные подробности о господине Заховинове, превратившемся в князя Захарьева-Овинова. Подробности эти были им тут же изобретаемы; но этот процесс творчества происходил бессознательно, ибо князь Щенятев был всегда уверен в том, что он только что выдумал, и искренно считал эту выдумку правдой.

III.

Тот, кто обратил на себя внимание этого, по большей части только имеющего веселый вид, но в сущности скучающего общества, жадного до всякой новинки, неспешно отошел в сторону. Он остановился почти у самой стены зала, скрытой широколиственными тропическими растениями, венками и гирляндами цветов.

Толпа двигалась перед ним взад и вперед. Одно за другим мелькали разнообразные, незнакомые ему лица, и его светлые глаза следили за ними, встречая и провожая их спокойным, даже как-то чересчур спокойным взглядом. На бледном и непод-

вижном, будто застывшем лице его нельзя было прочесть ни скуки, ни веселья, ни горя, ни радости, ни доброты, ни злобы. Это лицо в рамке окружавшей его зелени и цветов казалось почти неживым, почти мраморным изваянием. Даже самый блеск его глаз временами становился каким-то неестественным, нечеловеческим, жутким. Внимательно глядя теперь на это лицо, нельзя уже было найти в нем молодости: несмотря на отсутствие морщин, несмотря на всю чистоту его очертаний, это было лицо не молодое и не старое - странное, поразительное лицо, будто вышедшее из неведомого мира, где нет ни времени, ни пространства, где действуют иные, неземные и нечеловеческие законы.

Если бы императрица теперь взглянула на него, она изумилась бы, может быть, даже еще больше, но изумилась бы иначе. Она своим проницательным и тонким взглядом сумела бы подметить в нем всю его необычайность, ускользавшую от рассеянного взора толпы, и ей, твердой и смелой, полной сознания свой силы, разума и знаний, наверное, стало бы неловко, и она смутилась бы, остановясь в недоумении перед новым, неясным и непонятным вопросом.

Но ведь это был не призрак, не дух, не выходец из могилы. Это был живой человек, явившийся хоть и издалека, вышедший хоть из тьмы и неизвестности, в которых он до сих пор скрывался, но теперь уже получивший известность. Прошлое его не было прошлым неведомого авантюриста и искателя приключений. В этом прошлом была тень, но тень эта теперь рассеялась... Еще немного времени - и человек этот уже не станет возбуждать никаких вопросов...

Да, это был живой человек, как и все, и в нем теперь мелькали живые человеческие мысли. Живые... человеческие... но все же, наверно, ни у кого из находившихся в этом прекрасном зале не было таких мыслей!

"Зачем я здесь? - думал он. - Зачем надо это? Что неожиданное, что неизбежное ждет меня в этих стенах, среди этой толпы, не нужной мне и которой я не нужен, так как между нами нет ничего общего. Я здесь, так как неизбежно должно совершиться нечто знаменательное в моем существовании... Я знаю это, но что же меня ждет? Как обойти мне грозящую опасность? Опять борьба во тьме, с невидимыми врагами!.. Но ведь немало было этой борьбы - и тьма рассеялась, и я выходил победителем. До сих пор я погружался в роковую тьму, весь закованный в мое заветное, с таким трудом добытое мною оружие - и я знал свою силу, я верил в нее. Тьма не страшила меня, неведомые враги казались мне ничтожными. Я боролся с радостью, почти с восторгом - и потом мне всегда хотелось труднейшего, бесконечно труднейшего!.. Мне становилось почти обидно, что борьба так ничтожна, что победа так легко дается..."

"Я креп с каждой битвой, и я знаю теперь, как много прибавилось во мне сил... Откуда же это непостижимое, странное смущение, почти робость?"

"А, так вот он где новый враг мой! Смущение, моя робость и есть враг; я его вижу, наконец, чувствую, осязаю - и я должен побороть его!"

Во всем существе его произошло нечто неуловимое, чего нельзя передать словами. Это было могучее усилие воли, напряжение всех духовных сил. И через несколько мгновений он уже был победителем. Глаза его вспыхнули новым огнем, мертвенное лицо оживилось. Ни смущения, ни робости. Он глубоко вздохнул всей грудью. Будто давящая тяжесть спала с его плеч, будто он вышел на чистый воздух из душной темницы, порвав мучительные оковы.

Теперь, глядя на него, нельзя было испугаться его загадочного вида, нельзя было принять его за каменное изваяние. Жизнь нахлынула на него, и в этой жизни было для него много счастья, так как

счастье для него заключалось в сознании свой силы.

"Только это? Опять только это! - мелькало в его мыслях, - но какой же урок я извлеку из этой пестрой толпы, что в ней?"

Он пристально, пристально начал вглядываться в мелькавшие перед ним лица, ища в них чего-нибудь для себя нового и интересного.

Но лица мелькали одно за другим и скрывались. Перед ним проходили мужчины и женщины, безобразные и красивые, молодые и старые, но ничего нового, ничего интересного не замечал он в них. Он чувствовал и понимал, что, не будучи знаком с ними, никогда до сих пор не видав их в действительности, он все же хорошо и давно их знает, давно уже выяснил себе весь смысл их жизни, давно перестал интересоваться этим смыслом.

Он вспомнил свой разговор с императрицей.

"Да, она интереснее всех, бесконечно интереснее! - подумал он.

- Да, я должен был встретиться с ней, и мне надо на ней остановиться. Создавая ее, природа не пожалела своих сил, богато и щедро наделила ее - и светом, и мраком! И света так много, что мрак в нем теряется, сразу его и не заметишь... И если бы она знала... Или за этим я здесь, чтобы она знала? Но нет, ничто не указывает мне на то, что я здесь для нее. Я для себя, для себя одного, и встреча наша не для нее, а для меня. Но что же она может дать мне? И то, что она может мне дать, зачем оно мне нужно?"

Он не успел заметить, как в этом мысленном вопросе опять промелькнуло что-то смущающее и почти тоскливое. Он не успел заметить, потому что все внимание внезапно устремилось в одну точку.

Он увидел невдалеке от себя одну из четырех весталок. До сей минуты он еще не замечал ее, она в первый раз попалась ему на глаза. Весталка остановилась в нескольких шагах от него.

Это была девушка, одаренная большой красотой,

или, вернее, прелестный ребенок, едва-едва превратившийся в девушку, но уже обладавший всеми чарами женской силы и власти. Это была самая красивая из четырех красавиц весталок.

Она будто нарочно была создана, чтобы носить эту древнюю белую тунику. Ее грациозная, но в то же время крепкая фигура, ее выразительное юное лицо неизбежно должны были остановить внимание художника, томящегося в поисках за идеалом. И художник именно изобразил бы ее весталкой, хранящей чистый огонь целомудрия. В ней выражалось, хоть, быть может, и бессознательно, полное торжество духа над материей; но над материей не бессильной, а могучей, прекрасной, обладающей всеми своими чарами...

Весталка сделала еще несколько шагов вперед, как бы направляясь к тому, кто так пристально глядел на нее теперь блестящими глазами.

Еще миг - и взгляды их встретились. Она остановилась и замерла на месте. Но не опустились ее ясные, голубые глаза, опушенные темными ресницами, не вспыхнула краска стыдливого девического румянца на ее нежных, почти еще детских щеках. Она глядела прямо в эти блестящие, горевшие перед нею глаза, глядела с бессознательным изумлением, страхом, надеждою, радостью. Самые противоречивые чувства выражались в лице ее и сливались в одно, которому трудно было придумать и определение. Она была поражена, будто заколдована. Эти блестящие глаза внезапно овладели ее, всем ее существом, всеми ее помыслами и ощущениями. Казалось, что бы ни случилось теперь вокруг нее, она все же не вышла бы из своего оцепенения. Грянул бы над нею удар грома - и она его не услышала бы. Земля разверзлась бы под нею - а она осталась бы на месте, не дрогнув, прикованная этим поглотившим ее взглядом.

И так могло оставаться долго, долго, всегда. Ей и теперь казалось, что над нею проходит целая вечность.

Но это была только минута.

Он опустил глаза - и она получила свободу. Она невольно схватилась за сердце, которое вдруг учащенно, жутко, как-то непонятно забилось.

Она тряхнула своей прелестной головой, будто отгоняя от себя туман. Потом голова ее склонилась, прядь густых, по колени длинных, светлых волос, перевитых белыми розами, скользнула с плеч на горячо дышащую грудь. Тонкие ресницы опустились, румянец залил щеки - и весталка, ничего и никого не видя, пораженная и смущенная, скрылась в толпе.

IV.

"Так не совсем еще разрушен твой храм, о таинственная богиня! - пронеслось в его мыслях, - у тебя есть еще жрицы!.. И среди жалкой комедии, детской забавы ты нашла охранительницу своего огня... Дитя светлое, дитя, как ты, прекрасное! Какая прозрачная, как кристалл, душа светится в этом взгляде... Да, тебя не коснулось еще смрадное дыхание жизни. А ведь вот коснулось же оно подруг твоих: они более или менее, а уже приняли в себя частицу яда. Каждый такой праздник почти для всех них был вреден, много вреда принесет им и сегодняшний день, а ты, ты оставалась и остаешься чуждой всем этим соблазнам. Надолго ли? Что ждет тебя?"

"Я еще встречусь с тобою!" - закончил он свои мысли, быть может, неожиданно для самого себя, но твердо, уверенно и спокойно.

Зал пустел. Многочисленные гости вслед за императрицей прошли уже в сад, где в прозрачном полусумраке наступившего теплого вечера блистала иллюминация. Опустели и два амфитеатра.

Вслед за всеми и он сошел в сад и медленно подвигался вперед по аллее, где с обеих сторон возвышались плетни из свежей зелени, связанные с

большими померанцевыми деревьями. Направо и налево то и дело выступали открытые павильоны со сценами, на которых воспитанницы в самых разнообразных костюмах изображали живые картины.

Но он глядел на все это рассеянно, не соображая смысла того, что он видел. Перед его глазами мелькали только формы и тотчас же пропадали, не оставляя в памяти никакого впечатления.

Вот он уже в конце аллеи, перед "храмом добродетели". Тут шло балетное представление, и он расслышал, что кто-то вблизи его назвал это представление "La Rosiere de Salency". Неведомо где помещавшийся оркестр наполнял воздух нежной мелодией. С зеленой горы, скрывавшей вход в "храм добродетели", сходили одна за другою грациозные пастушки, неся свои дары той, кто всех добродетельнее, кто избрана и признана всеми Rosier'ою. Но ее, виновницы торжества, еще нет... она скрывается где-то. Молоденькие пастушки танцуют и очень милыми, но все же довольно странными движениями прославляют добродетели своей подруги.

Зеленая гора, закрывавшая вход в храм, разверзается. Храм открыт, и в середине его виден жертвенник со священным огнем, а вокруг него помещается его девственная стража - семьдесят весталок.

А вот, наконец, и она! Ее ведут беспечные подруги, до того довольные весельем, что еще не успели догадаться ей завидовать.

И это опять она, та, которую он видел в одежде весталки и на ком остановился мыслью. Теперь она скинула с себя свою одежду жрицы, она превратилась в пастушку, но ненадолго. Вокруг нее подруги сплетаются в веселом танце, а потом венчают ее цветами, буквально засыпают ее ими. Под этой благоухающей ношей она поднимается по ступеням храма и склоняется к жертвеннику. Ее окружают жрицы, каждая со своим светильником; а она, вся в цветах, в разметавшемся золоте светлых

кудрей, недвижима, не смеет поднять головы, не смеет взглянуть на горящее над нею жертвенное пламя; она, очевидно, в своем смирении не знает сама - достойна ли она подняться, достойна ли взглянуть на него.

Но жрицы ее поднимают, подводят к жертвеннику, вручают ей светильник. Тогда глаза ее поднимаются, и в них блещет светлая радость. Она твердой рукой возжигает свой светильник от пламени жертвенника - и в тот же миг одежда пастушки с нее спадает, и она является перед зрителями весталкой. Она стоит теперь высоко и, держа светильник, в белоснежной одежде, глядит сияющим взором на своих прежних подруг-пастушек и новых подруг-весталок, которые у ног ее, перемешавшись между собою, начинают новый танец. Но вот откуда-то появляются гирлянды зелени и цветов, и прелестные танцовщицы все обвиты, пере-плетены этими гирляндами. Они образуют собою живой гигантский сад. Этот живой сад плавно и грациозно движется под звуки незримого оркестра.

Она все глядит, недвижимая на своей высоте, с приподнятым светильником, который не мелькает, не трепещет в твердой руке ее, а горит ровным пламенем. Она глядит, озаренная жертвенным светом, чудно прекрасная в своей девственной красоте. Спокойствие и тихая радость в ее взгляде. По праву признали ее достойной венца добродетели, сознательно приняла она обет у священного жертвенника. Не ждут ее испытания и беды, не грозит ей падение, не дрогнет светильник в руке ее, не померкнет его пламя...

Но вот ее взгляд отходит от танцующих подруг, от этого живого, трепещущего и волнующегося у ног ее сада, он устремляется дальше, за пределы сцены, туда, где тесной толпой собрались зрители. Вдруг преображается все лицо ее. С ее щек слетает румянец, глаза широко раскрыты, она неподвижна, она замерла, будто жизнь отлетает от нее,

еще миг - и рука ее выпускает светильник, пламя его ярко вспыхивает и потухает... Она шатается... готова упасть... Подруги в изумлении, в ужасе прервали свой танец, кидаются к ней, поддерживают ее... На всех лицах смущение, испуг...

Смущение и между зрителями - эта сцена не входит в программу балета.

- Любезный Роджерсон, пойдите посмотрите, что случилось с прелестной весталкой, - верно, бедное дитя чересчур устало, ей дурно... помогите ей скорее! - прозвучал под ветвями померанцев и олеандров громкий голос Екатерины.

Сухощавая фигура лейб-медика отделилась от группы, центром которой была государыня, и быстро стала подниматься по боковым ступенькам, ведшим на сцену.

В то же время из густой толпы зрителей вышел человек в темнофиолетовом бархатном кафтане. Он быстро удалялся от "храма добродетели" и свернул на боковую аллею, где почти никого не было, но где так же ярко горели огни иллюминации.

Ведь он должен был знать это, он должен был знать, что не этому наивному ребенку бороться с его взглядом! Зачем же он смутил ее? Зачем ворвался в душу, ничем от него не защищенную, не ждавшую никакой опасности, - разве он враг ей? Он не желал ей зла, он не хотел смущать ее, он просто бессознательно залюбовался ею, ее девственной красотою и светом ее чистой души, так ясно для него горевшим в глазах ее. Он глядел на нее бессознательно...

Но в этом-то и была вина его, и он понимал эту вину, он был недоволен собою. Бессознательно! Значит, он ослабел, значит, он допустил себя влиянию всей этой толпы, не оберег себя от этого вредного влияния. Скорей же отсюда!..

И он спешил вперед. Он решил немедленно же покинуть этот праздник и успокоиться наедине с собою, отогнать от себя все, что его смутило...

- Это вы? Вы здесь?! - раздался рядом с ним тихий и нежный женский голос.

Он остановился, и бледное лицо его еще более побледнело.

В двух шагах от него была женщина. Яркие огни иллюминации озаряли ее стройную, высокую фигуру, ее роскошный наряд, ее обольстительное молодое лицо с мягкими и черными, как уголь, глазами.

- Или вы меня не узнаете, господин Заховинов? - опять сказала она, и милая веселая улыбка озарила ее лицо, делая его еще обольстительнее. - Но ведь я вот узнала вас!

Она протянула ему руку.

Он коснулся этой руки и как бы очнулся от сна. Лицо его приняло обычное спокойное выражение. На ее улыбку он ответил ей слабой улыбкой.

- Как же мне не узнать вас, графиня, - проговорил он, - но вы застали меня врасплох... Я очень рассеян... Когда же вы вернулись в Петербург?

- Я вернулась недавно, но дело не в том, сударь, а в том, как это вы здесь? Полгода тому назад, когда мы простились с вами в Риме, вы говорили мне, что едете куда-то, я уж не помню куда, только не в Россию, и надолго... И вот через полгода вы здесь, на придворном празднике... вы, ученый, нелюдим, философ!..

- Все это так, графиня, и вы можете изумляться, но вспомните мое последнее слово, каким я проводил вас... Впрочем, конечно, вы его забыли...

- Нет, постойте, помню, вы сказали, что мы встретимся, и встретимся очень скоро.

- Вот я и сдержал свое слово.

- Да, - задумчиво произнесла она и почти тревожно взглянула на него, будто ища его взгляда.

Но он не глядел ей в глаза.

- И вы смеялись и уверяли меня, что уж на "этот раз" мое предсказание не может сбыться, что

если мы и встретимся, то никак не можем встретиться скоро.

- Да, я смеялась, но теперь, вы видите, не смеюсь... и даже очень рада, что ваше предсказание исполнилось. Знаете вдруг сейчас, на меня так и пахнуло Италией, Римом... Право, я очень рада вас видеть, господин Заховинов!.. А теперь скажите мне, надолго ли вы здесь?.. Что вы здесь делаете?

- Князь, наконец-то я нашел вас! Никак вы собираетесь уезжать? В таком случае я очень рад, что мы встретились... Я хотел просить вас...

Но тут граф Сомонов, говоривший это, заметил графиню и стал перед нею раскланиваться.

- Сударыня, извините, Бога ради, мою непростительную рассеянность.

Она, вопреки своему обыкновению, несмотря на всю свою находчивость, ничего даже и не ответила графу - так она была поражена.

"Князь!"

Она не могла ошибиться, она слышала ясно... что же это за мистификация? Что это значит? Заховинов - князь! Да ведь таких князей нет... Но Сомонов, очевидно, его хорошо знает. Кто же он?

Она, однако, не выдала охватившего ее изумления, на лице ее мелькнуло горделивое, почти надменное выражение. Она кивнула головою Сомонову и князю и быстро скрылась по направлению к большой аллее.

- Прелестная женщина... и такая умница, неправда ли? - сказал Сомонов.

- Да! - холодно ответил князь. - Вы, кажется, сказали, граф, что вы меня искали... чем могу служить? - прибавил он.

- Да, вот что, я хотел просить вас пожаловать ко мне завтра к обеденному столу. Я непременно должен вас кое с кем познакомить. Прошу вас мне не отказать в этом, ведь у нас найдется немало общего, судя по тем письмам, какие я получал через вас из-за границы... Завтра мои двери

закрыты для всех, за исключением некоторых друзей, жаждущих знакомства с вами, чающих узнать от вас много нового.

- Благодарю вас, граф, я у вас буду.

Они пожали друг другу руки и расстались

V

В далекие времена татарского владычества и опустошительных набегов хищников на мирные русские грады и веси жил и действовал лихой татарский наездник Калат, или Калатар. До сих пор еще кое-где в казанских пределах сохранились сказания и легенды об этом витязе и его буйных и зверских подвигах.

Это был, по легендам и сказаниям, даже почти и не человек, а какое-то чудовище, нечто вроде Змея Горыныча. Он чуть ли не приходился сродни самому дьяволу, вида был страшного, силищи необычайной, и единая отрада его жизни заключалась в питье крови христианской. Как смрадный ураган, налетал он на православные селения, города и пригороды и где промчится - там остаются за ним обезглавленные и порубленные тела человеческие. Никого не пощадит Калат, перебьет всех за исключением красивых девок и молодок, а этих несчастных прикрутит одну к другой крепким веревьем и угонит вместе со всякою добычею в свое становище поганое. Объестся он плоти человеческой, обопьется слезами горючими женскими, пресытит всячески плоть свою окаянную да и подавит своих жертв, когда они уже ему не годны станут.

И опять несется, как ураган, опять губит православные головы, опять тащит за собою молодиц и девок да награбленные пожитки.

Послушать про те ужасы - так волосы дыбом на голове станут, и понятным, и ясным покажется, что тот Калат, или Калатар, был не простой че-

ловек, а порождение дьявольское, дьявольского рода и племени.

И помер, по сказанию, он не как человек, а разорвало его в одно мгновение, да так разорвало, как бомбу - и ничего от него не осталось.

Но семя его поганое не пропало и не иссякло. Народил он тьму-тьмущую детей, и все эти калатарчата пошли в своего чудовищного родителя, только силы в них той уже не было. А начала убывать сила - и зверству их трудно стало проявляться.

Прошел век, другой, третий - и явился один из калатарчат к царю московскому, бил ему челом всем своим домом и имением, молил принять его под высокую царскую руку и обещался-клялся служить верою и правдою. Царь дал свое согласие, но потребовал от татарина, чтобы он крестился. И принял татарин со всем домом своим православную веру, и стал прозываться князем Калатаровым.

Как сам татарин, так и три его сына, и все десять внучат сдержали слово свое - служили царям московским верою и правдою. Служили они большие ратные службы и костьми полегли в разные времена и в разных боях за царя, за Русь святую да за веру православную.

И цари за верную их службу награждали их землями и угодьями, богатыми вотчинами.

Прошло еще немало времени - и от всего Калатарова рода остался один князь Николай Николаевич Калатаров, и ничего калатаровского уже в нем не было. Обучен он был изрядно, благодаря тому, что приходился крестником закадычному другу императрицы Елисаветы Петровны, Мавре Шепелевой, и через нее попал к Шуваловым. Служил он в гвардии и был по своему времени большим щеголем и дамским угодником. Излишнее щегольство и неустанная погоня за женщинами, несмотря на его хорошие в молодости способности, а также знание немецкого и французского языков помешали ему сделать карьеру на службе, - не о том он

думал. Лет тридцати с чем-то он совсем даже вышел в отставку и жил себе припеваючи в своем богатом доме на Фонтанке.

Женился он в молодых годах на хорошенькой немочке, графине Бах, дочери приезжего немца, вышедшего в люди при Петре Великом и даже за добросовестность и осторожность награжденного графским титулом.

Родитель княгини Калатаровой, несмотря на свое графство и высокие занимаемые им должности, во всю жизнь оставался немецким солдатом. Ее мать, или, вернее, "мутерхен", до конца дней своих не покидала привычек и склада жизни немецкой мещанки, пуще всего на свете любила кухню, сама все мыла и чистила в доме, а зачастую и белье стирала ради отдыха и удовольствия. Но, несмотря на это, " мутерхен", сама оставаясь тем, чем была по рождению, свою единственную дочку, Каролину, признавала настоящей барышней и графиней и всеми мерами заботилась о том, чтобы она была во всех отношениях "eine echte Grafin". Она не обучала ее тому, что сама знала и любила, а обучала тому, чего не любила и не знала, но что было необходимо для настоящей графини. Каролина прекрасно играла на клавикордах и на арфе, очень мило пела немецкие романсы и русские песенки, изучила не только немецкую, но и французскую литературу, даже хорошо говорила по-русски.

Все старания "мутерхен" увенчались успехом. Графиня Каролина Бах вышла замуж за последнего потомка татарского чудовища Калата и превратилась в русскую богатую и знатную барыню. "Мутерхен" сделала еще большее: она вложила в душу своей Каролины нечто такое, чего обыкновенно не встречалось в больших русских барынях того времени. Каролина вышла очень серьезной, рассудительной и тактичной женщиной.

Она было полюбила от всей души своего красивого и блестящего мужа, но скоро убедилась, что представляла его себе во время сватовства и в пер-

вое время супружества совсем не таким, каким он был на самом деле. Все мечты ее разлетелись. Она увидела, что о своем личном счастье ей нечего и думать. Князь увлекся ее хорошеньким личиком - и только. Это личико скоро приелось, и он вернулся к холостым удовольствиям, в которых заключалась вся суть его жизни.

Княгиня Каролина поняла, что переделать его натуру она не в силах, что нельзя требовать от человека того, чего он не может дать и, собравшись с духом, поставила крест на всех своих юных, сентиментальных и нежных мечтаниях, приняла жизнь такою, какова она есть. Она предоставила мужу полную свободу, никогда его не ревновала, всегда делала вид, что ничего не слышит и не знает, на все смотрела сквозь пальцы, никогда ему не навязывалась, никогда к нему не приставала.

Она прекрасно вела дом, поддерживала связи и знакомства, завоевывала себе общее уважение, и этим уважением к себе прикрывала прореху, наносимую родовому имени князей Калатаровых легкомысленным поведением князя. И она сделала то, что ее муж, несмотря на все свое легкомыслие и огромное самолюбие, любил и ценил ее, насколько мог, и признавал ее для себя единственным авторитетом.

Но главною целью жизни графини Каролины был ее ребенок. Он один только и был у нее - ее красавица дочка Елена. В эту девочку она положила все свои силы, все то, что в ней оттолкнул от себя муж, она отдала дочери. Она любила этого ребенка страстно, нежно, сентиментально. И в то же время она, как и ее покойная мать, но только еще с большим умением, заботилась об образовании дочери. Княжна Елена обучалась самым разнообразным предметам у лучших учителей, каких только можно было тогда достать в Петербурге. И в то время, когда на воспитание и образование молодых девушек в

высшем русском обществе еще очень мало обращалось внимания, княжна Елена была самым блестящим исключением. Да и способностями ее не обидела природа, все ей давалось легко, все она усваивала как бы шутя. Если мать была хорошей музыкантшей - дочь ее превосходила. Если мать была знакома с иностранными литературами и интересовалась ими - дочь изучала их несравненно глубже и серьезнее. С каждым годом ее изумительная память обогащалась самыми разнообразными сведениями. Не только немецкий и французский, но даже и английский языки были для нее как бы родными - с такой легкостью и с таким совершенством она на них изъяснялась. Она прекрасно рисовала, у нее был сильный и приятный голос.

Красота девочки с каждым годом увеличивалась. Мать наслаждалась ею, восхищалась и до того обожала ее, что не видела в ней никаких недостатков.

Княжне Елене минуло шестнадцать лет, а о ее красоте, талантах и необыкновенном образовании уже начали говорить в обществе и в придворных сферах. Ее появления ждали с нетерпением.

Но тут случилось несчастье: княгиня Каролина простудилась, схватила горячку и через несколько дней умерла. Князь, уже состарившийся до срока, износившийся и как-то поглупевший, совсем растерялся, не знал как быть, что делать. Его дом сразу, в одно мгновение, превратился, подобно княгине, в покойника: вместе с собою хозяйка унесла душу своего дома, и он стал быстро предаваться тлению.

Княжна Елена, готовившаяся к своему вступлению в свет, жаждавшая блеска, успехов, торжеств всякого рода, в первые минуты почти обезумела, сама серьезно разболелась. Но она оправилась скоро. Ей был семнадцатый год. Она кое-как выдержала первые месяцы, пробовала стать хозяйкой на место матери, но это ей скоро надоело. В доме

начали появляться многочисленные гости и между ними много и таких, каких покойная княгиня ни за что бы к себе не пустила. За княжной все ухаживали, нашептывали ей всякие комплименты. Она сразу попала в атмосферу поклонений и лести. Голова ее кружилась, в глазах рябило, но в то же время ей становилось весело, она забывала свою утрату, она начинала жить день за днем.

Наконец настало давно жданное ею время - она в настоящем свете. Одна из ее родственниц, придворная дама, стала ее вывозить. Княжна Елена представлена императрице, обласкана ею. Княжна Елена загорелась яркой звездой на всех балах и собраниях. За нею толпа поклонников, толпа претендентов. Но она еще не думает о замужестве. Ей только семнадцать лет. Перед выездом на один из придворных балов вывозившая ее родственница та-инственно объявила ей, что граф Зонненфельд из прусского посольства просил у князя ее руки. За этого жениха хлопочут очень многие и, по-видимому, этим делом заинтересовали даже императрицу.

Елена засмеялась громко, порывисто, совсем по-детски - одна уже мысль о подобном браке показалась ей нелепой и смешною. А между тем на балу она много танцевала с графом и к концу вечера, вдруг, в одну минуту, решила выйти за него замуж.

Граф Зонненфельд был молодой немец, длинный и белый, с молочного цвета глазами и большим носом с горбинкой. Его движения в одно и то же время отличались и важностью, и угловатостью. Он казался старше своих лет и поражал удивительной серьезностью и молчаливостью, под которыми скрывалось неизвестно что - чересчур осторожный ум или апатичная ограниченность. Вообще в нем не было ровно ничего, что могло бы привлечь сердце пылкой, богато одаренной семнадцатилетней девочки. А между тем она решилась за него выйти. По-

чему? - она и сама не знала. Это был мгновенный каприз, и только.

Он немец - ее мать была немка. Но ведь сама она русская княжна, да и мать ее родилась в России и никогда не бывала за границей. Говорят, Петербург теперь несравненно лучше Берлина, а жизнь здесь веселее и роскошнее, особливо при дворе. А граф Зонненфельд увезет ее в Берлин или куда-нибудь в иную страну, куда его назначат. Это хорошо, она знает Петербург, а не знает заграницу, и ей хочется туда ехать...

Одним словом, она решила, что будет графиней Зонненфельд, - так ей вдруг понравилось. Отец был доволен - партия оказалась хорошей: у молодого дипломата прекрасное состояние и очень влиятельная родня; он в близком родстве со многими из владетельных домов в Германии, он на хорошем счету у короля прусского.

Свадьбу отпраздновали после совершения всех формальностей с большой пышностью. Молодая чета представилась императрице, а затем граф Зонненфельд был вызван в Берлин. Графиня сделала прощальные визиты и скрылась с петербургского небосклона, проблистав на нем мгновение яркой звездой.

VI.

Новобрачные на пути из Петербурга в Берлин. Их мчит добрый шестерик, запряженный в дормез гигантских размеров, представляющий собою чудо немецкого мастерства и немецкой практичности. Дормез этот безобразен на вид и топорен; но зато при первом же взгляде на него можно поручиться, что он вынесет какой угодно путь и какие угодно непогоды. В нем легко и с большим удобством может поместиться шесть человек. В нем не только графиня, но даже и граф, несмотря на свои жер-

деобразные ноги, могут спать вытянувшись во весь рост.

Днем дормез этот представляет из себя нечто вроде маленького будуара, а ночью превращается в спальню с ворохом перин и подушек. Под привычными и аккуратными руками графского камердинера Адольфа он мгновенно делается в столовую. В нем появляется стол, сервированный на два куверта. Из его таинственных помещений, ящиков и сумок выходят на свет всякие дорожные запасы и припасы.

Жирный Адольф, главным отличительным свойством которого являются налитые кровью глаза и сизый нос, с видимым наслаждением и с сознанием собственного достоинства прислуживает графу и графине. Затем, окончив все свои обязанности и снова превратив дормез из столовой в будуар, он проделывает уморительную эквилибристику, взбираясь своими тучными ногами в толстых шерстяных чулках на высочайшие и широчайшие козлы дормеза. Это восхождение и для более ловкого и худощавого человека крайне затруднительно, для Адольфа же оно с первого взгляда представляется совсем невозможным. Но он каждый раз побеждает все трудности, и графиня, если ей угодно отдернуть тафтяную занавеску переднего окна, может любоваться на его широчайшую спину, которая в течение целых часов не шелохнется и остается будто приросшею к козлам. Если графиня отдернет занавесочку с небольшого круглого окошечка, помещающегося в глубине дормеза, она может видеть свою камеристку, восседающую среди подушек, ящиков и баулов, в будке, приделанной к дормезу.

За экипажем господ поспешают еще четыре рыдвана, совсем уже почти бесформенных, похожих на что угодно и в то же время ни на что, но таких же прочных, как и графский дормез. В этих рыдванах помещаются всякие пожитки и остальная прислуга: две прачки, горничная, повар с поваренком и со всеми принадлежностями походной кухни

и, наконец, егерь графа с любимой его собакой Неро.

В первое время весь этот поезд, вся обстановка путешествия занимают графиню и ей очень нравятся: ведь она никогда не выезжала из Петербурга и его окрестностей. Но уже на второй день путешествия и Адольф с его медвежьей ловкостью и сизым носом, и великолепный Неро, на остановках поднимающий восторженный лай, врывающийся в дормез и изо всех сил старающийся лизнуть графиню в лицо, и все хозяйственные и практичные немецкие сюрпризы дормеза - все сумки, баульчики и прочие - все это мало-помалу начинает надоедать юной путешественнице. В ней появляется не то что усталость, но нечто похожее на скуку. А скуки она до сих пор никогда не знала.

С каждым новым днем пути она притом же начинает чувствовать себя неловко, не по себе, и хотя она еще и не задается вопросом, откуда эта неловкость и скука, но если бы хорошенько и серьезно себя об этом спросила, то должна была бы ответить себе, что и то и другое происходит от ее спутника и собеседника.

Да, ей неловко и не по себе с графом, с мужем, которого она сама себе выбрала, с человеком, связанным с нею на всю жизнь. Ни о чем еще она себя не спрашивает, ничего не решает, но уже чувствует свою непоправимую ошибку. Этот человек, ее муж, ей совсем чужой, да и не только чужой, но он ей вовсе не нравится, он ей скучен, неприятен, его присутствие действует на нее подавляющим образом. Она не та, какая была всегда, она будто играет роль, навязанную ей, неприятную, играет с вынужденным внешним спокойствием и с внутренним нетерпением скорее кончить и снова стать собою.

Граф ничего этого не замечает. Он не играет ровно никакой роли, напротив того, он сразу сбросил с себя всякую принужденность, он до последней степени доволен и по-своему весел. Эта ве-

селость выражается в том, что он время от времени потирает свои красные, тонкие, с крючковатыми пальцами руки, как-то покрякивает и то и дело повторяет: " Ja wohl!"

Со своей юной подругой он предупредителен до последней степени. Он ежеминутно предлагает ей то то, то другое, берет ее маленькую белую ручку, повертывает ладонью вверх и нежно и долго целует в самую середину ладони сухими и холодными губами. Он подолгу глядит на полудетское прелестное лицо графини, на ее глубокие черные глаза, на ее горячие, полные здоровой юной кровью губы, на тонкий румянец ее нежных подернутых, будто персик, золотистым пушком щек, на капризный локон, выбивающийся из-под дорожного головного убора. Он глядит, а с какими мыслями и чувствами - этого не разберешь в его бледных, будто выцветших, будто оловянных глазах.

Он шепчет: "Mein Schatz, mein Herzchen!"

И опять покрякивает, и опять самодовольное "ja wohl", и опять потирание красных рук с крючковатыми пальцами.

Ничего еще не соображает и ни о чем не думает графиня, но уже эти красные руки, эти крючковатые пальцы, бесцветные глаза и длинный тонкий нос с горбинкой, "mein Schatz" и "mein Herzchen", а пуще всего ощущение его сухих, холодных губ на ее ладони и почему-то, еще того пуще, это самодовольное "ja wohl" ей противны и становятся все противнее, раздражают ее все больше и больше.

А между тем она инстинктивно не только от него, но от самой себя скрывает свои ощущения и впечатления и играет свою роль, то есть все терпеливо выносит, заставляет себя время от времени ему улыбаться, изредка и очень осторожно, по его требованию прикасаться своими губами к его сухощавой, выбритой перед нею Адольфом щеке. Но ей приходится делать большие над собою усилия, чтобы спокойно выносить его ласки...

Графиня Елена ищет развлечения в том, что может видеть из окна, в постоянно меняющихся картинах и сценах чужой, незнакомой ей жизни. Но час, другой, третий - и эта пестрота начинает утомлять ее, теряет весь свой интерес.

- J'ai sommeil! - шепчет Елена и откидывается на подушки в глубине дормеза.

- Schlaf, schlaf, mein Herzchen! - говорит граф, поправляя ей подушки.

Она закрывает глаза. Он глядит на нее несколько мгновений, наклоняется над нею с очевидным желанием поцеловать ее, но почему-то воздерживается, отодвигается к своему окну и сидит весь вытянувшись, как-то выставив вперед свой горбатый нос и едва слышно напевая какую-то немецкую песню.

Вот графский поезд переехал границу. На немецкой земле граф как бы несколько оживился, в первую минуту даже нечто похожее на огонек мелькнуло в его молочных глазах. Он с особым усердием стал потирать себе руки и, наконец, не выдержал и, высунувшись в окошко, крикнул Адольфу:

- Nun, Adolph, das ist schon unser Land?

- Ja wohl, Excellenz, Gott sei gelobt! - радостным басом отвечал ему с козел Адольф.

Это естественное и хорошее проявление патриотического чувства господина и слуги не только не было оценено бедной Еленой, но даже тяжело на нее подействовало. У нее защемило сердце, почти так же защемило, как в тот день, когда она хоронила мать свою. Она вдруг после этих радостных немецких фраз почувствовала, что ее родина осталась позади, что она на чужбине и одна, совсем одна, что она пленница. Ей вдруг мучительно захотелось услышать звуки русского языка, хотя она и прежде-то не особенно часто на нем говорила и предпочитала ему французскую речь, уже почти всюду слышавшуюся тогда в окружавшем ее высшем русском обществе. Немецкий язык, язык ее

матери и бабушки, всегда ею любимый, бывший языком ее интимных бесед с матерью, показался ей теперь совсем чужим, неприятным, неблагозвучным, почти противным в устах графа и Адольфа. И не с кем ей было перемолвиться русским словом; даже ее камеристка, сидевшая в задней будке дормеза, была немка. Граф не знал ни одного русского звука и почему-то, как уже заметила Елена, даже относился к этим звукам презрительно. В первые дни пути, слыша какое-нибудь русское слово, он обращался к Елене, насмешливо поводил носом и, кривя рот в усмешке, спрашивал:

- Nun, nun, was bedeutet das? - и при этом, безбожно коверкая, повторял поразившие его слова.

- Aber, Gott, was fur eine barbarische Sprache! - всегда заканчивал он.

Тогда Елена спокойно переводила ему слова, и ей и в голову не приходило обижаться на его насмешку над русским языком. Теперь же она в первый раз в жизни почувствовала себя русской.

Эта немецкая земля, земля ее мужа и Адольфа, земля ее бабушки, показалась ей не только чужою, но и почти ненавистной. Ей невыносимо всем существом захотелось назад, в Петербург, в родной дом, прежней жизни. Она уже не в силах была играть свою роль. Она неудержимо, громко, почти истерически зарыдала.

Граф изумленно и как бы несколько тревожно взглянул на нее. Но тревога его тотчас же и прошла, осталось одно изумление. Он спросил ее, что с нею, отчего она плачет. Она ничего не ответила и продолжала рыдать.

Он спросил еще раз спокойным голосом, но очень настойчиво.

- Ах, да оставьте, оставьте меня, пожалуйста! - сквозь рыдания прошептала она, отстраняясь от него с ужасом и брезгливостью. Он медленно и аккуратно вынул из баула флакончик с ароматическим уксусом, положил ей его на колени, а

затем отвернулся и сидел молча, вытянув длинные ноги и глядя в окошко.

Наконец рыдания ее стихли. Тогда граф обернулся в ее сторону и проговорил:

- Успокоилась, mein Herzchen? Ну и хорошо... так плакать и рыдать неизвестно из-за чего не годится для такой умной и образованной особы, как ты... Надеюсь, впредь таких странностей не будет...

Она не взглянула на него, ничего ему не сказала. Она всеми силами постаралась подавить в себе все свои ощущения и продолжать играть прежнюю роль. В ней поднялось новое чувство, еще не определенное, но сильное. Она сказала себе: "Я никогда не стану перед ним плакать..."

До Берлина оставалось два дня пути, и граф нашел, что настало время посвятить Елену во все, с чем она должна познакомиться в качестве графини фон Зонненфельд-Зонненталь. Он несколько часов, очевидно, приготавливался, потому что был крайне молчалив, углублен в себя. Затем он, наконец, приступил к объяснению. Он сделался еще деревяннее, его голова с горбатым носом горделиво поднялась, и он начал мерным голосом и таким тоном, будто совершал какое-то священнодействие, будто вверял Елене глубокую, важную тайну.

Предварительно он объяснил ей, что она теперь уже не княжна Калатарова (Елена едва сдержала свое негодование, когда он безбожно и, очевидно, главным образом из презрения к "варварскому русскому языку" исковеркал ее родовое и особенно ми-лое ей теперь имя) и что она должна навсегда отречься от прежних традиций, что она вступает в знаменитый дом графов Зонненфельдов, баронов Зонненталей и должна быть достойной носительницей этого славного имени. Он поспешил добавить, что такою, конечно, она и будет, ибо если бы он на это не надеялся, то не избрал бы ее себе в супруги.

Елена вспыхнула и едва удержалась, чтобы с прежней своей детской бойкостью не сказать ему, что для нее вовсе нет особой чести быть графиней Зонненфельд, баронессой Зонненталь, что она княжна Калатарова, и не он ей сделал честь, избрав ее, а она ему - согласившись носить его имя.

Но она воздержалась и молча его слушала.

Между тем граф становился все торжественнее, и его нос поднимался все горделивее. Он объяснял жене всю историю своего древнего рода, перечислял в мельчайших подробностях все славные деяния своих предков, войны, в которых они участвовали, отличия, которые они получали. Описывал он с точностью учебника географии все поместья и замки, когда-то находившиеся во владении его рода. Он передавал ей историю всех знатных немецких фамилий, с которыми в течение пяти или шести столетий роднились Зонненфельды-Зоннентали...

Дормез останавливался, дверцы отворялись, Адольф, еще более покрасневший от родного воздуха, появлялся с завтраком, с обедом, с ужином. К дверцам почтительно подходил егерь, с громким лаем врывался Неро. Показывалось здоровое, улыбающееся, немецкое лицо камеристки, почтитель-но спрашивавшей Елену, не угодно ли графине что-нибудь приказать ей...

Граф останавливался на некоторое время, переговаривался ласково-повелительным тоном с Адольфом и егерем, ел и пил. Но едва захлопывалась дверца и дормез трогался в путь, снова начинался нескончаемый рассказ о Зонненфельдах-Зонненталях.

Елене казалось, что она присутствует на уроке истории и географии. Но так как этот урок продолжался более суток, то, несмотря на всю понятливость и способность ученицы, он стал невыносимым. У нее просто голова туманилась от всех этих неинтересных подробностей чуждой для нее и непонятной жизни. Все эти графы, бароны и фюрсты появлялись перед нею как надоедливые марионетки, прыгали, кривлялись, жили в своих замках,

мирились и ссорились между собою, вступали в браки, рожали детей, умирали - и исчезали бесследно, тотчас же забывались ею...

Между тем учитель был неумолим: замечая, что она начинает его рассеянно слушать, он останавливался и задавал ей вопросы, заставляя ее доказать ему, что она все понимает и помнит. Если она отвечала невпопад, он терпеливо начинал повторять и говорил ей, что ей необходимо в точности знать всю историю своего рода, что иначе он не может даже представить ее своей многочисленной родне. А он желает, чтобы все ее полюбили и убедились, что его выбор удачен...

Наконец, уже подъезжая к самому Берлину, граф окончил урок и сидел несколько утомленный, но довольный, с сознанием человека, благополучно исполнившего важную обязанность.

Оживилась и Елена. Урок был окончен; все графы и графини, бароны и баронессы сразу вылетели из ее головы. Это долгое, томительное путешествие кончалось. Графиня стала сама собою, то есть живым, беспечным ребенком. Она вдруг позабыла все, что налегло на нее за эти дни как давящая тяжесть, как туман, как мрак.

Она думала о том, что вот она приедет в Берлин и для нее начнется новая жизнь. Она знала, что попадет прямо ко двору, в ней заговорило тщеславие, жажда блеска и поклонений. Она твердо верила, что очарует там всех, начиная с короля и кончая многочисленной новой роднею, что она будет занимать первое место везде и всюду. Ведь она знает, что она красавица, ведь все говорили ей, что она поет, как ангел, и даже вот граф сравнил как-то игру ее на клавикордах с игрою святой Цецилии. Она умна, она очень образованна, много знает. Ведь это все правда, и все будут восхищаться ею, ее ожидает веселье. Она, как дитя, уже начинала предвкушать это веселье. Она поверила в него - ведь ей так необходимо было в него поверить.

VII.

Поздним дождливым вечером подъехали новобрачные к дому графов Зонненфельдов, и с первых же шагов Елену ждало разочарование. Она ожидала, судя по рассказам мужа, встретить чуть ли не царственное великолепие и роскошь. А между тем перед нею в ненастной мгле какое-то темное, унылое и небольшое здание.

Отворяется тяжелая железная дверь, с фонарем и с большою связкою ключей в руках на пороге маленькая бедно и смешно одетая старушка-экономка.

Оказывается, что родители графа в своем родовом поместии. Дом пуст. Старушка искоса и недоуменно глядит на молодую хозяйку, делает самые уморительные книксены перед нею и графом, что-то бормочет, целует у Елены руку. Наконец она уже более явственно объявляет, что, судя по полученному письму, она ждала молодых хозяев не ранее как через неделю и что поэтому, пусть уж ее извинят, в доме не совсем готово. А, впрочем, она сейчас же распорядится ужином и приготовит "экселенцам" их спальню.

Старушка хлопает в ладоши, пронзительно призывно кричит. Наверху старой каменной лестницы показываются две заспанные немецкие физиономии. Двери хлопают. Какой-то беззубый, ветхий старик в истасканной ливрее приносит восковую свечу в тяжелом шандале. При бледном мерцании этой свечи да фонаря старушки Елена, опираясь на руку мужа, взбирается по ступеням лестницы.

Они проходят несколько небольших комнат, затхлых и холодных, и останавливаются в столовой.

- Ja wohl! - довольным тоном объявляет граф. - Wir sind zu Hause!

Он дома! А она? Где она?

Она почти падает на жесткое, как камень, и, как камень, холодное, старое кожаное кресло и тоскливо оглядывается.

Довольно обширная, но невеселая комната с узенькими окнами, с каменным полом. Выкрашенные в унылый цвет стены, старинная мебель, неуклюжая, запыленная, тяжелый огромный резной буфет. В глубине комнаты - большой камин, у которого теперь возится беззубый старикашка, раздувая огонь старыми мехами. Граф шагает из угла в угол на своих длинных ногах. Старушка, позвякивая ключами, семенит за ним и что-то ему докладывает, чего Елена не слушает. Граф все повторяет: "Ja wohl!" и в свою очередь что-то приказывает старушке.

Вот она скрылась за дверью. Граф подходит к жене и берет ее за руку.

- O, wie bin ich zufrieden, kuss mich, mein Schatz!.. Да поцелуй меня, твоего мужа, в этом старом дедовском доме.

Законное желание, да и слова хорошие. Но Елена вздрогнула всем телом, целуясь с графом. Ей просто становилось жутко в этом холодном, неприветном доме. На нее находил почти панический страх. •

- Как холодно! - тоскливо прошептала она.

Граф поспешно вышел, вернулся с теплой шалью и закутал ею жену. Но она все дрожала.

- Я велел развести большой огонь в спальне - согреешься... Дом пустой, нетопленный, нас не ждали, - объяснил он.

Старые часы в углу столовой пробили полночь, и каждый их звук тоскливо и больно отдавался в сердце Елены.

Наконец подали ужин. Граф ел с аппетитом и при этом изрядно выпил из принесенной сияющим и лоснящимся Адольфом старой бутылки.

Елена не могла ничего есть. Однако муж почти силой заставил ее выпить вина и объявил ей, что это не вино, а настоящий нектар, старое рейнское, какого и в королевском погребе уже немного осталось.

Чудесная душистая влага пробежала теплом по

членам графини Елены и несколько согрела ее и оживила.

Окончив ужин, граф взял жену под руку и своей торжественной, деревянной походкой повел ее в спальню. Тут Елена застала старушку с ключами и свою камеристку, убиравших комнату.

Камеристка мгновенно скрылась, но старушка не спешила уходить. Она стояла со свечой в руках, тихонько побрякивая своими громадными ключами. Ее сморщенное, комичное, какое-то лягушачье лицо сияло видимым удовольствием. Маленькие, слезящиеся глаза ее любопытно перебегали с графа на графиню и обратно.

Между тем граф вытянулся во весь рост, горделиво поднял голову и застыл в этой торжественной позе. Свеча, дрожавшая в руке старушки, осветила снизу его лицо, изменяя его черты и делая их крайне некрасивыми и в то же время смешными. Вот рука графа поднялась, не сгибаясь протянулась вперед, и длинные, красные пальцы указывали Елене на что-то.

Она взглянула по этому указанию и увидела огромную, старинную кровать под пыльным тяжелым балдахином. Она сразу и не поняла, что это такое. Ее взгляд уловил только горделивое, самодовольное и торжественное выражение в лице мужа и смешную некрасивость этого лица.

Вдруг старушка начала усиленно приседать и желать молодым господам доброй ночи. Теперь не только лицом, но и приседаниями, и звуками, вылетавшими из ее беззубого рта, она сделалась совсем похожей на лягушку.

Она пятилась к двери и все приседала, и все квакала. Наконец она скрылась и заперла за собою дверь. Елена не нашла даже в себе силы заняться как следует своим туалетом, в первый раз в жизни чувствуя себя совсем разбитой, ослабевшей. Она мельком оглядела комнату, такую же унылую и выцветшую, как и все в этом доме, такую же холодную, несмотря на огонь, ярко пылавший в

камине. Она подошла к кровати и, быстро раздевшись, зарылась почти с головою в мягкие перины. Она лежала, закрыв глаза, просто боясь о чем-нибудь думать. Заснуть бы скорее!

Вот и граф разделся и тоже, как и она, зарылся в перины.

- Вы спите, графиня?

Она ничего не ответила.

- Это родовая наша кровать, она служила уже четырем поколениям нашего рода! - объявил граф, зарылся еще глубже в перину и мгновенно захрапел.

Елена открыла глаза и смотрела, как от пламени камина унылая комната озаряется неровным, вспыхивающим светом и потом меркнет, как от всех предметов ходят длинные, мерцающие тени. Минуты проходят за минутами, а она все не может заснуть. Вот теперь по всей комнате ей слышится какой-то странный шорох... и вдруг она вспоминает слова графа: "Четыре поколения спали на этой кровати!" И ей начинают мерещиться эти чужие, давно умершие немецкие графы и графини.

Ей чудится, что эти страшные мертвецы подходят к ней и глядят на нее с изумлением и вот-вот сейчас они сдернут с нее свои перины и сгонят ее с их родового места. У нее уже зубы начинают стучать от страха. Она всеми силами отгоняет от себя эти призраки. Наконец их нет, они исчезли бесследно, даже странный шорох в комнате прекратился. Но теперь ей противна, ужасна и страшна эта самая кровать чужих, умерших людей. Нет, она ни за что не будет спать на этой кровати и жить в этом страшном, мрачном доме!

Наконец она заснула и проснулась только тогда, когда муж разбудил ее, объявив, что очень поздно, что давно ее ждет завтрак.

При свете дня дом графов Зонненфельд уже не показался Елене страшным, но зато она, обойдя его, разглядела еще яснее всю его невзрачность. Она не оценила своеобразной художественной печа-

ти старины, лежавшей на этом старом доме, который был так непохож на то, к чему она привыкла с детства, чего она ожидала.

Но ведь все это можно обновить, переустроить, сделать так, как она хочет; ведь достаточно средств на это и самого графа, да и наконец у нее - она не бесприданница. Она постаралась поскорее перейти к мечтам о веселье, которое ее ожидает. Она весь день с помощью своей камеристки Луизы разбиралась в привезенных из Петербурга вещах и нарядах и спросила мужа, скоро ли он представит ее королю и всем родным.

Он отвечал, что скоро, и через несколько дней исполнил свое обещание.

Но каждый новый выезд разочаровывал Елену. Она везде встречала все чужое и неприятное ей. Ее всюду встречали ласково и оказывали ей все знаки внимания. Но нигде не находила она того, о чем мечтала: ни блеска, ни роскоши - везде чрезмерная простота и смешные, как ей казалось, странности.

Почти то же впечатление ожидало ее и во дворце. После блеска и великолепия Екатерининского дворца, двор короля Фридриха казался очень жалким и бедным. Да и сам король как-то не походил на короля. Он встретил графа Зонненфельда весьма ласково и фамильярно. Он обласкал и Елену, даже взял ее за подбородок и сказал какую-то двусмысленность, на которую граф почтительно усмехнулся и которую Елена не поняла. Король задал молодой графине несколько быстрых вопросов о Петербурге, об императрице, о цесаревиче Павле Петровиче, а затем выразил ей, что он очень одобряет выбор Зонненфельда и надеется, что новая немецкая графиня скоро станет ручною и сделается одним из лучших украшений его двора.

- Но графиня очень молода, - прибавил он, - и должна быть внимательной ученицей своих почтенных родственниц.

Он назвал фамилии этих родственниц. Елена ответила, что она уже имела удовольствие с ними познакомиться. Больше ей не пришлось сказать ничего. Король простился с нею улыбкой, похожей на гримасу, и исчез.

VIII.

Прошло пять лет. Графиня Елена Зонненфельд фон Зонненталь из прелестной девушки превратилась в красавицу женщину, которой нельзя было не залюбоваться. Природа наделила ее большим здоровьем, и это здоровье было в состоянии выдержать упорную борьбу с невзгодами жизни. Благодаря этому здоровью она и развилась роскошно и пышно. Статные и крепкие формы ее прекрасного тела указывали на богатую силу молодости. Здоровый и нежный румянец покрывал ее щеки, только глубокие черные глаза ее часто появлявшимся в них задумчивым, грустным выражением говорили о том, что под счастливой и здоровой внешностью, под этой блестящей поверхностью скрывается в глубине вовсе не счастливое и не довольное сердце.

Граф Зонненфельд за эти годы изменился гораздо меньше. Он только стал еще суше, его тонкий нос с горбинкой выступал еще больше и даже как будто немного скривился на сторону. Бесцветные глаза его по-прежнему не выдавали ни мысли, ни чувства. Он по-прежнему был загадочен и молчалив. Его довольное, торжествующее "ja wohl!" раздавалось значительно реже и значительно реже потирал он свои красные руки.

Решась жениться на княжне Калатаровой, граф поступил рассудительно и умно. Он, как ему казалось, всесторонне обдумал этот поступок. Граф был настоящий прусский патриот, всецело преданный своему королю. Дела Пруссии были его делами, королевские планы и цели - его планами и

целями. Предназначенный действовать на дипломатическом поприще и посланный в Петербург, он думал только о том, как бы способствовать тесному и прочному сближению Пруссии с Россией и извлечь из этого сближения как можно больше выгод для своего отечества. Он решил, что, женясь на русской девушке высшего круга с большими связями в петербургском обществе и при дворе, он легко может достигнуть именно того, чего не мог достичь своими собственными силами. Он будет в состоянии оказать своей родине большие услуги. Княжна Калатарова была именно будто создана для того, чтобы стать его женою. Единственно, что минутно смутило его - это то обстоятельство, что она иностранка и не принадлежит к его вероисповеданию. Но он тут же соображал, что ведь в ней много немецкой крови. К тому же она почти еще ребенок - он временно удалит ее из России и перевоспитает. Он превратит ее в настоящую немку и лютеранку. А когда это перевоспитание будет окончено, когда она всецело будет принадлежать ему, его родине и семье, проникнется его интересами, тогда он вернется с нею снова в Петербург и с ее помощью будет служить своему королю большие службы. Она явится для него незаменимой помощницей, из нее выйдет исключительная женщина, одна из тех женщин, которые держат в своих руках тонкие нити политических интересов и играют большую роль в судьбах государств. Она так молода, она еще ребенок, а между тем о ее удивительной образованности, о ее талантах уже все говорят. Довоспитать ее, доразвить и как следует направить - это дело мужа.

Так рассуждал немецкий дипломат, и эти рассуждения казались ему непогрешимыми. Их одобрял сам король, от которого у графа не было тайн.

Но то, что было так ясно и просто, что казалось таким легким, вышло неисполнимым. Юная графиня решительно не оправдала возлагавшихся на нее надежд и ожиданий. В программе графа, ловко

и последовательно составленной, не хватало одного параграфа, который должен был бы гласить, что все это так непременно и будет, если... если графиня будет любить своего мужа. Граф считал этот параграф излишним. Как же она может не любить его - разве он не достоин любви? Он, честный и хороший человек! В его прошлом с тех самых пор, как он себя помнит, не было ровно ничего, за что бы ему приходилось краснеть. Он честно и гордо носит свое старое знаменитое имя. Он никогда, даже в первой юности, не позволял себе никаких особенных увлечений. Никто никогда не видал его предающимся грязным страстям. Он не расточал своего имущества на карты и женщин, а напротив, всеми мерами заботился об этом имуществе и экономией увеличивал свои доходы. Так делали его предки, прадед, дед и отец. Оттого-то Зонненфельд фон Зонненталь - одна из самых богатых фамилий в Пруссии.

Правда, у него есть пристрастие к вину, к старому рейнскому вину, но опять-таки никто не может сказать, что видел его пьяным. Это было бы недостойно графа Зонненфельда. Весь род их отличался трезвостью. Никто никогда не видел тоже и гнева графа. Он строг, но справедлив с прислугой и подчиненными, и за это его должны уважать - и уважают. Он терпелив и рассудителен, ни при каких обстоятельствах не позволяет себе выйти из аристократического спокойствия и унизить так или иначе свое достоинство. Он безупречный муж, предан и верен жене своей. Он никогда не позволит себе взглянуть на другую женщину. Все Зонненфельд фон Зоннентали были верными и примерными мужьями, а имея такую красавицу жену, это и нетрудно. К тому же граф и в юности не много думал о женщинах. Он неспособен на страстную любовь, на слепое увлечение, он даже не совсем точно знает, что такое влюбленность. Да и к чему все это? Ведь он не поэт, а дипломат. Излишняя страстность и увлечение только бы испортили его

жизнь, его деятельность. Притом же пламя, которое чересчур вспыхивает, быстро и сгорает, а он теплится маленьким огоньком, но этого огонька хватит надолго.

Самое первое время своей женитьбы он восхищался красавицой Еленой, потому что имел глаза.

Красота Елены даже минутами возбуждала его холодное воображение, но он скоро себя успокоил, скоро охладился, и графиня перестала быть для него соблазнительной женщиной, превратилась в красивую законную жену, которая должна быть ему близким существом и по обязанности и по собственному желанию. Он дорожил ею, потому что она его жена, и еще больше дорожил благодаря тем целям, какие соединял со своей женитьбой.

Увидя, что с женой нелегко ладить, что у нее есть много капризов и вообще таких свойств, каких он почему-то не ожидал и каких, наверное, не было бы в его жене, если бы он женился на своей соотечественнице, он смутился, даже вознегодовал внутри себя. Но затем решил, что она еще ребенок, избалованный ребенок, что хотя она и очень образованна, но ведь воспитана "там"... Он мысленно презрительно подчеркивал это слово. Тем более, значит, нужно удалить ее на первое время от всего прежнего и серьезно и осмотрительно заняться ее подготовкой. Ему казалось, да так оно и было, что он сделал все от него зависевшее для достижения своей цели. Он пошел на все уступки и всячески баловал жену; ее детские капризы переносились им терпеливо, ее странные требования исполнялись...

Два года прожили они при дворе Фридриха, и жизнь их была вовсе не такой, к какой привык граф. Молодая графиня все перевернула по-своему. Старый дом Зонненфельдов быстро преобразился - в него нахлынула чрезмерная роскошь. Да и внутренний домашний склад жизни оказался совсем не немецким, не патриархальным.

У графини были свои собственные комнаты, она даже наотрез отказалась от общей спальни, от страшной и противной для нее старинной кровати дедов и бабок графа. Она свила себе в старых, залежавшихся стенах Зонненфельдовского дома свое собственное гнездышко, где если и не было столько тепла и света, сколько ей хотелось, но где все же она устроилась более или менее по своему вкусу.

Все изумлялись. Немецкие дамы даже приходили в негодование, а граф оставался неизменно спокойным, потирал руки и говорил: "Ja wohl!"

В эти два года придворной немецкой жизни Елена сделала все, чтобы жить спокойно и весело, но не достигла ни того, ни другого. В эти два года то, что во время пути из Петербурга в Пруссию она только бессознательно чувствовала, теперь было во всех мельчайших подробностях ясно осознано ею. Она не только не любила своего мужа, но он был ей даже антипатичен, и эта его антипатичность временами действовала на нее болезненно и мучительно. Только его податливость и свобода, ей предоставляемая, только холодность его темперамента дали ей возможность кое-как выносить его. Не будь всего этого - она дошла бы до отчаяния.

Но он все же ей был до такой степени тяжел и неприятен, что она капризно и мучительно возненавидела даже все, что он любил, что было ему близко и дорого. Она уже не могла рассуждать и чувствовать спокойно и беспристрастно. Немецкая жизнь, свойства и особенности немецких людей, с которыми у нее все же было много общей крови, при других обстоятельствах, при любимом муже, вероятно, пришлись бы ей по нраву, и то, на что надеялся граф, наверное, бы случилось: она превратилась бы в немецкую графиню. Теперь же это стало невозможным. Она капризно ненавидела все немецкое, ненавидела всех этих графов и графинь, баронов и баронесс, с которыми ей приходилось ежедневно встречаться, она возненавидела даже са-

мого короля, несмотря на то, что он был неизменно почти отечески ласков с нею и время от времени навещал дом их. Он еще не отказался, точно так же как и граф, найти в ней удобное и полезное орудие для достижения некоторых важных политических планов в близком будущем.

Эти королевские надежды создали ей исключительное положение при дворе. Они же не допустили сразу выразиться всей той неприязни, негодованию и зависти, которые к ней сразу почувствовали ее новые немецкие родственницы и, вообще, почти все придворные дамы. А неприязнь эта, хоть и глухая и затаенная, но была велика. Елена отлично понимала это и отвечала на нее искренним презрением.

Она достигла своего, она блистала, первенствовала, была окружена всеобщим вниманием, а также поклонением, хотя почтительным и почти безмолвным, блестящей придворной молодежи. И она старалась жить всем этим. У нее выдавались веселые минуты, маленькие торжества. Но это нездоровое веселье ее только портило - она приучилась издеваться над людьми, злить чопорных немецких дам и девиц. А в конце концов все же оставались тоска и скука, оставался нелюбимый, невыносимый муж.

Графиня много читала, продолжала свое художественное и литературное образование. Иногда по целым дням не отходила она от палитры и кистей или от музыкального инструмента. Это было ей в некоторую помощь, но ненадолго. Она все сильнее и сильнее скучала, у нее появились мало-помалу настоящие капризы, действительное раздражение. Долготерпеливый граф был теперь решительно недоволен ею. Ее перевоспитание, ее обращение в немецкую патриотку не удавалось, затягивалось...

Вот и король как-то в беседе с глазу на глаз хлопнул его по плечу и сказал:

- Nun, mein Kerl, es geht nicht gut? Кажется, мы с тобою ошиблись?

Он только это и сказал, но граф отлично понял в чем дело. Он вернулся к себе мрачным и целых два дня не видался с женою.

Но тут случилось следующее.

Король никому, кроме графа, не высказывал своей мысли. Граф со своей стороны, конечно, никому не поверял о своем разговоре с королем. Между тем у стен оказались уши, или, вернее, у придворных немецких людей оказалось необыкновенное чутье. Не прошло и месяца, как графиня заметила в придворных дамах большую перемену в обращении с нею. Не прошло и двух месяцев, как ей со всех сторон была объявлена открытая война, как услужливые люди то и дело передавали ей о том, что говорят о ней дурного там-то и там-то.

Наконец, и сам граф счел нужным объясниться с женою. Невозмутимый и спокойный, как всегда, с почти неподвижными глазами и застывшим выражением в лице, он, подбирая самые вежливые выражения, объявил жене, что он недоволен ею и очень был бы рад, если бы она изменила свое поведение.

Графиня, не зная за собою ничего дурного, зная за собою только то, что она чересчур терпелива, что она слишком томится и страдает, что она лишена света и воздуха, возмутилась и потребовала от мужа с горящими почти ненавистью глазами, чтобы он не смел оскорблять ее.

Он немного изумился, пожал плечами, а затем таким же спокойным тоном, как и начал, произнес:

- Я ровно ничем не оскорбил вас, графиня, да я и не могу вас оскорбить, ибо я ваш муж, я забочусь только о вас, и повторяю, поведение ваше мне не нравится. Хотите знать, что именно мне не нравится, скажу: вы слишком легкомысленны, вы забываете ваше достоинство, забываете, что вы моя жена и что ваше имя и положение вас ко многому обязывают. Вы недостаточно уважаете тех людей, которых обязаны уважать. Вы слишком фамильярны с людьми, которых обязаны уважать. На-

конец, мне очень тяжело говорить это, и я никогда не думал, что мне придется это говорить, - вы слишком свободны с мужчинами... вас всегда окружает толпа молодежи...

Он хотел было прибавить еще что-то, но замолчал, пораженный выражением ее лица, густой краской, прилившей к щекам ее, и страстностью, с какой она поднялась и остановилась перед ним.

- Что?! - прошептала она, и негодование и злоба звучали в этом шепоте.

Но вдруг она сделала усилие над собою, спокойно вернулась на свое место и презрительно усмехнулась.

- Нет, на вас решительно не стоит сердиться! - с таким неподражаемым презрением произнесла она, что даже ему стало неловко. - Я не уважаю людей, которых должна уважать? Но почему я их должна уважать? Я этого не знаю! Я фамильярна с ними, но я не понимаю даже, что вы подразумеваете под этой фамильярностью... или ...

Она на мгновение остановилась, но затем спокойно продолжала:

- Я неприлично веду себя с мужчинами! Граф, подумайте, что вы говорите... подумайте хорошенько! Ах, Боже мой! - рассмеялась она. - Недостает того, чтобы вы начали ревновать меня... к кому?!

Граф беспокойно шевельнулся в своем кресле и гордо поднял голову.

- Я... ревновать? - произнес он своими сухими губами. - Я вам не говорил этого и никогда не скажу. Граф Зонненфельд не может ревновать свою жену, и жена графа Зонненфельда никогда не может так низко пасть, чтобы подать повод к ревности.

Она хотела было зло улыбнуться, но не могла. В словах графа прозвучало что-то новое, какая-то незнакомая ей сила. Даже сама его почти невыносимая для нее фигура, его лицо с горбатым покосившимся на сторону носом и бесцветными глазами - все это вдруг преобразилось. Она никогда

его таким не видала. И во всяком случае он показался ей так все же интереснее.

Однако прошло мгновение - и он снова превратился в прежнего графа.

Он встал и тихо сказал ей:

- Нет, ты не так поняла меня. Я пришел вовсе не для того, чтобы ссориться с тобою. Подумай, мой друг, хорошенько о том, что я говорил и, может быть, ты сама увидишь и почувствуешь, что я прав.

- Я вижу и чувствую одно! - воскликнула графиня. - Я вижу и чувствую, что умираю от тоски и скуки!

И она залилась слезами, что с нею не было с самого переезда через русскую границу.

IX.

Граф не мог понять причины тоски и скуки жены. Чего ей недостает? У нее, кажется, есть все, чего только может пожелать женщина! Правда, ему мелькнула было мысль, что она тоскует по Петербургу, но он сейчас же и отогнал эту мысль.

В таком положении и настроении, в каком Елена теперь находилась, нечего было и думать везти ее в Россию. Она не только не принесет ему никакой пользы, но может даже причинить и большой вред. Он все еще не хотел отказываться от своих надежд и планов и, особенно после слов короля, ему непременно нужно было доказать, что "они" не ошиблись. Ведь если он так ошибся - значит, он несостоятелен, а с этой мыслью он ни за что не хотел примириться.

"Она, верно, нездорова", - наконец решил он. Она свежа, полна, но все же он подмечал в ней порою некоторые странности, как бы утомление. Да и самое ее отдаление от него, ее холодность, все, на что он до сих пор не обращал внимания, он теперь приписывал болезни.

Наконец, ведь есть еще одно очень важное обстоятельство: у них до сих пор нет детей, а между тем для него необходим новый продолжатель ро-да Зонненфельдов фон Зонненталь. И это обстоя-тельство он также приписывал ее болезни, себе он не приписывал ничего. Он собрал лучших докторов. Но доктора в один голос решили, что у графини нет никакой болезни, хотя и существует, очевидно, некоторое расстройство. Ей нужна перемена, нужна спокойная жизнь вдали от придворного шума, дере-венский воздух и спокойствие должны произвести на нее самое лучшее действие.

Граф даже удивился - как это сам не догадался об этом. Он объявил жене, чтобы она собиралась в дорогу, что они едут в замок Зонненфельд к его родителям. Елена выказала при этом известии некоторое удовольствие. Ей так надоел этот двор. Она сама почувствовала, что ей необходима перемена, все равно какая.

"Да, под влиянием моей доброй матери я, наконец, достигну всего!" - подумал граф и, как в лучшие дни, самодовольно потер свои красные руки и громко воскликнул "ja wohl!"

Он взял отпуск. Они в Зонненфельде. На этот раз старинный замок среди густого, векового парка понравился Елене. В первый год своего замужества она ездила сюда на две недели для того, чтобы представиться родителям графа, но то было зимой. Теперь же замок производил совсем иное впечатление. Весна была в полном разгаре.

Старушка графиня встретила невестку очень мило. Сын уже сообщил ей, что он ждет от нее материнской помощи, что он намерен ей поручить жену и надеется, что своим добрым влиянием она сделает из молодой женщины достойную графиню Зонненфельд. Он не жаловался на жену и не вооружал против нее мать. Он вообще никогда и ни на что не жаловался и никому ничего не поверял из своей внутренней жизни.

Старая графиня с большим удовольствием готова была приняться за предложенное ей сыном дело. Она находила, что с этого ему следовало бы начать. Два года упущено! Елена еще так молода - ей всего только двадцатый год... Конечно, очень дурно, что она иностранка, но все же ведь в ней немецкая кровь - это обстоятельство примиряло графиню с невесткой. Елена почувствовала в старушке доброту и ласку и сердечно отозвалась на них. Она утомилась от своего душевного одиночества и отсутствия в окружавших ее людях искреннего к ней участия и ласки. Что касается старого графа, то он был почти уже не человеком. Он плохо видел, совсем оглох и, видимо, впадал в детство. Да и лет ему было много - около восьмидесяти. Когда-то он играл видную роль при дворе. Он очень поздно женился, он вырастил и устроил единственного своего сына, а затем почувствовал приступы старости и болезни и ушел от всяких дел, ушел на покой в свой родовой замок.

Первое время в деревне Елена отдыхала от городской жизни и, видимо, становилась спокойнее. Она почти не отходила от старой графини, когда была дома. Но она много гуляла по тенистому парку, часто делала большие поездки по довольно живописным окрестностям то в экипаже, то верхом. Она пристрастилась к верховой езде. Наконец, у нее был с собой запас книг, ее краски и полотно, ее музыкальные инструменты. В деревенской тишине она мало-помалу успокаивалась от злых раздра-жающих чувств, волновавших ее при дворе, от маленьких интриг и сплетен, от недружелюбия и зависти. Она даже заинтересовалась хозяйством своей свекрови, перезнакомилась со всеми животными и птицами, наполнявшими замок.

Но долго эта тихая, однообразная жизнь не могла удовлетворять ее. Прежде всего надоели животные и птицы. Лучшие виды окрестностей примелькались, поездки стали казаться утомительными. Всякий красивый уголок парка был уже воспроизведен

на полотне ее быстрой и смелой, хотя несколько небрежной кистью. Книги перечитались. Ночи стали темнее; густая листва парка начала желтеть и осыпаться...

Между тем отпуск мужа кончился; граф должен был вернуться ко двору. Он предложил ей остаться еще некоторое время с матерью.

Хотя осень в деревне, в этом тихом уединении замка, с каждым днем терявшего свою привлекательность, и не улыбалась ей, но там ведь, во всяком случае, было еще хуже. А главное - он уезжает; она не будет его видеть, не будет чувствовать его присутствия; ведь это их первая разлука! Она с радостью согласилась.

Граф перед отъездом имел краткое объяснение с матерью: он просил сделать его жену такой, какою она должна быть. Старушка кивнула головой и проговорила: "Будь спокоен". Граф уехал полный надежд, а графиня-мать тотчас же приступила к исполнению своей задачи. Ненастные осенние дни, невозможность для Елены выходить и выезжать - все это само собою тесно сближала старушку с молодой женщиной. Теперь они по целым дням были неразлучны. Старая графиня взялась за дело осмотрительно, но все же Елена очень скоро заметила, что попала в ученицы, что ей дают уроки с утра до вечера, что ею недовольны, хотят ее переделать, хотят сделать из нее именно такую немецкую даму, на каких она уже довольно насмотрелась и над какими в душе уже даже слишком много насмеялась.

Вследствие таких открытий мало-помалу исчезла ее искреннее и доброе отношение к свекрови. Она стала подмечать в ней такие смешные стороны, такие непонятные ей черты, каких до сих пор не замечала. В первое время назидательные беседы старой графини казались ей только забавными, но скоро они сделались для нее только утомительно-скучными.

Елена начала употреблять всевозможные хитрости, чтобы избегнуть свою однообразную собеседницу. Но старушка ее всегда перехитряла и умудрялась всегда быть тут, при ней. Она увлеклась исполнением своих материнских обязанностей, потеряла всякую сообразительность, всякий такт и, как старый дятел, монотонно и неутомимо долбила да долбила...

Елена выказала большое терпение и большую сдержанность - качества, наследованные ею от матери и бабки. Но чем больше она терпела, чем больше сдерживалась, тем сильнее ее давила тоска, и ей становилось еще хуже, чем там, при дворе. Она почти задыхалась. Даже ее крепкое здоровье стало по временам изменять ей. Она побледнела и похудела.

Между тем граф писал ей, что по поручению короля отправляется в Швецию и вернется не ранее как через четыре или пять месяцев. И писал он это накануне своего отъезда...

После этого письма прошло месяца два. Елена уже окончательно возненавидела свекровь, возненавидела всем существом своим. Да и не одна свекровь стала ей ненавистной, ей теперь представлялся отвратительным весь этот старый замок с его давящим однообразием, с его почтительной и преданной прислугой, с его животными и птицами. Она чувствовала, что если останется здесь долее, то уже не выдержит, что не сегодня, так завтра все это кончится резким и грубым разрывом со старухой. Притом же она чувствовала себя действительно больною.

Она объявила старой графине, что больна и должна немедленно поехать в Берлин.

Старушка перепугалась и предлагала выписать каких угодно докторов. Поездку же Елены в Берлин она считала невозможной, так как не могла сопровождать ее, не могла оставить мужа.

Но Елена настояла на своем и к великому неудовольствию свекрови уехала в Берлин... Доктора

должны были сознаться, что ошиблись: деревня не поправила здоровья молодой графини, а даже, видимо, ухудшила. Три месяца Елена провела почти в полном уединении, никого не посещая и редко кого принимая.

Наконец граф вернулся из Швеции, очень недовольный, хотя, видимо, и спокойный. По обыкновению он сосредоточенно выслушал заключение королевского лейб-медика, состоявшее в следующем:

"Здешний климат вреден для графини, лечить ее нечего, ей нужно как можно больше впечатлений. Если она не поправилась в деревенском уединении, то должна поправиться на юге".

Граф думал три дня. Ведь, однако, она жена его, ведь, однако, он непременно должен иметь сына и наследника. К тому же он все еще, уже почти с болезненным упрямством, не хотел признаться в своей ошибке и упасть в собственных глазах.

Он взял дипломатическое поручение в Вену, а затем в Италию и уехал с женою.

X.

Предсказание лейб-медика на этот раз оправдалось. Здоровая природа Елены, ее молодость одержали победу над нервной слабостью, над тяжелыми следами долгой тоски, раздражения и недовольства жизнью. Прекрасный климат, разнообразие новых впечатлений заставили молодую графиню встрепенуться. Она инстинктивно любила жизнь, хотела жить и жадно ловила все живые впечатления, усиленно наслаждалась ими, страстно ими проникалась. Ей нужно было теперь только одно: чтобы муж оставлял ее в покое, не отравлял ее своей близостью, своим присутствием, своим холодным вниманием. Она почти достигла этого. Граф был всецело поглощен поручениями короля, сложными и серьезными. В нем сильнее чем когда-либо говорила

дипломатическая струнка, патриотизм и, наконец, самолюбие. Если даже и совершена ошибка, то ведь тем более он должен доказать королю, что может служить его целям с пользою, что вполне достоин доверия своего монарха.

Ему некогда было заниматься женою, и к тому же он был чересчур недоволен ею, чувствовал себя оскорбленным. Он признавал ее неблагодарной.

"Das ist eine verdorbene Natur! - говорил он себе. - Это пустоцвет! Она многому училась, она и теперь много читает, она все умеет, но образование не принесло ей никакой пользы, она пуста. Ведь, вот, она уже не ребенок - ей исполнилось двадцать лет. Болезнь... дай-то Бог, чтобы это была только болезнь, - от болезни она скоро избавится, она снова расцветет."

"Буду ждать, буду терпеливо ждать..." - кончил он свои мысли и поспешно отгонял их от себя, так как они невольно его раздражали. Он старался забыть и жену, и всю тревогу, которую она в нем поднимала. Эта тревога так не согласовалась с его характером, так портила ему жизнь, мешала ему всецело отдаваться тому, что он считал своим призванием. Упрямым усилием воли отогнав от себя наплывавший туман, забыв жену, он предавался своему делу. Он изучал тяжело и медленно, с большим трудом, но все же основательно и добросовестно все тонкости политики европейских держав, все интриги дворов. Король был доволен его деятельностью, а ведь только это ему и было нужно.

Между тем Елена блистала в венском обществе. Она вошла в моду, и хотя, конечно, не могла не возбуждать во многих к себе зависти и недружелюбия, но все же это было не то, что при дворе Фридриха. Здесь она была гостья - сегодня она здесь, а завтра умчится далеко. Венские дамы находили, что против ее, хотя и чересчур ярких и обидных для них, но все-таки временных успехов нечего принимать крутые меры.

В течение года своей деревенской жизни Елена как-то особенно развилась и созрела. Она была уже несколько иною, чем при дворе Фридриха, она уже иначе относилась ко всему, что ее окружало. Она спокойно и беспристрастно вглядывалась в людей, в их отношения, характеры и нравы. Она начинала узнавать действительную жизнь, и ей бросались в глаза такие явления, каких она совсем даже не замечала в первое время своей брачной жизни. Теперь перед нею уже вставали вопросы о нравственной и общественной морали, о судьбе женщины в семье и обществе, о ее действительных обязанностях и правах. Перед нею, наконец, встал роковой вопрос о правах сердца, о любви. В первый раз она сознательно отнеслась к своему сердцу и поняла, как пусто в этом сердце, как мало в нем тепла и счастья. Поняла она также не воображением, не холодными доводами рассудка, а всею кровью, всем существом своим, что ей недостает этого тепла и света, недостает солнца. Она узнала, что не только может, но должна любить, что это ее право, ее назначение. Любовь - это солнце жизни. За что же она лишена его? Неразрешимая загадка встала перед нею. Да, она имеет право на любовь, но не имеет права любить. А если бы и имела это право, то кого и как ей любить?

До сих пор она только смеялась над всеми своими светскими поклонниками; иногда они ее забавляли. Теперь она начинала в них вглядываться и их оценивать. Сразу вычеркнув тех, кто при первой же перекличке оказался недостойным ее внимания и не мог ровно ничем заинтересовать ее, она все же очутилась лицом к лицу с довольно многочисленной толпой более или менее интересных, стоящих внимания людей. Каждый из этих людей (она не могла этого не чувствовать) глядел на нее особенными глазами. Каждый из них приходил в особенное состояние от малейшего знака внимания с ее стороны и малейшей ее улыбки. Она была

слишком хороша и блистательна, чтобы могло быть иначе, слишком умна, чтобы на этот счет ошибаться.

Она внимательно разглядела своих поклонников, и первый вывод, ею сделанный, был в их пользу. Все они, от первого до последнего, оказывались несравненно интереснее, несравненно ей симпатичнее ее мужа. С каждым из них она, наверное, была бы несчастлива, но достаточно спокойна.

Однако этот первый вывод, сделанный ею, не мог ее заставить хоть сколько-нибудь серьезно увлечься кем-либо. Для нее уже давно стало ясно и очевидно, что не только в Вене, не только в Италии, в Риме, где она уже прожила полгода, но даже и в патриархальном обществе берлинского двора женщины, за весьма малыми исключениями, очень легкомысленны, очень испорчены и легко смотрят на нравственность. Даже с виду необыкновенно чопорные, холодные и неприступные молодые дамы под сурдинкой позволяют себе все, что угодно. Она знала много интимных историй, знала много самых грубых нарушений супружеской верности и видела, что все общественное мнение сводится единственно к требованию прятать концы в воду, не бросаться в глаза, не переходить известной, очень тонкой, едва заметной черты, за которой начнется скандал.

Перейти за эту черту, которую и разглядеть-то можно разве при особенно изощренном зрении, - и не только действительный проступок, настоящее нарушение нравственности, но и всякая неловкость, всякая поправимая ошибка превращается в громадную вину и вызывают общественную кару. Оставаться в пределах этой черты - и даже преступление извиняется, можно делать что угодно безнаказанно, не вредя себе во мнении строгого общества, оставаясь на своем месте, со всеми своими правами и преимуществами. Ровно ничего не значит, что все шито белыми нитками и составляет le secret polichinel. Общество посмеивается, пожимает плечами, тихомолком злословит, а все же

допускает, извиняет, смотрит сквозь пальцы. Тут взаимное молчаливое согласие в интересах друг друга, взаимные уступки.

Графиня Елена долго и серьезно вдумывалась в это, вспоминала все, что видела и слышала, и перед нею проходили минутные капризы, увлечения, ошибки, грубая безнравственность, обман и ложь. Но она не знала ни одного примера истинной, беззаветной и всепоглощающей страстной любви, того чувства, которому, как она думала и верила, многое и многое может проститься.

Она хорошо знала, что на ее месте, в ее обстоятельствах, большинство известных ей молодых женщин, не задумываясь, выбрали бы из среды своих поклонников более подходящего, увлеклись бы им, потом перешли бы к другому, к третьему - и оправдывали бы себя, и оправдали бы. Но она никак не была в состоянии поступать таким образом. Граф мог быть ею очень недоволен, мог считать ее испорченной натурой, а между тем в ней было истинное и редкое качество: она сохранила в себе ту нравственную чистоту, то гордое чувство собственного достоинства, которое составляет высшую силу и прелесть женщины.

Она могла глубоко страдать от своей испорченной жизни, но не могла совершить того, что заставило бы ее перестать уважать себя. Она чувствовала, что в таком случае была бы еще несчастнее, что лишилась бы уже последнего своего достояния. Она находилась именно в таком положении, когда женщину легко увлечь, когда всего удобнее завладеть ею, когда у нее всего меньше средств для защиты. А между тем, несмотря на все это, завладеть ею было очень трудно. Для того чтобы она забыла свою чистоту, свое чувство собственного достоинства и гордость, чтобы она на падение взглянула как на счастье, надо было заставить ее полюбить всеми силами души, заставить преклониться перед человеком, признать его достойным всех жертв. Если бы она встретила такого

человека, то и принесла бы ему все жертвы. Но такого человека она до сих пор не встречала, такого не было в окружавшей и силившейся ее соблазнить толпе. Она была слишком тонка и художественно развита, слишком умна и слишком хорошо владела собою, чтобы ошибиться. К тому же ведь она знала, что такая ошибка будет для нее роковою, будет равняться смерти...

XI.

Граф и графиня проводили осень в Риме.

Кажется, никогда еще ясное небо Италии не было так прекрасно, как в том году. Все художественные инстинкты пробудились в Елене. Всю свою неудовлетворенную страсть, всю теплоту своей души она отдавала царственной, окружавшей ее природе и бессмертным памятникам искусства, когда-то созревшего среди этой природы. Рим предоставлял молодой, талантливой женщине много эстетических наслаждений. Она часто скрывалась от общества и проводила целые часы в музеях и древних развалинах умершего великого города.

Когда спадал дневной зной, нередко ее экипаж останавливался у Колизея и она скрывалась в этих развалинах, и долго там оставалась одна, среди мертвой тишины тысячелетних воспоминаний. Это были часы приятного забытья, отрывочных, причудливых мыслей и ощущений, часы истинного поэтического уединения.

В один из таких таинственных вечеров среди бледного мерцания, тепло и мягко лившегося с неба, графиня столкнулась с незнакомым ей человеком. Она и до того изредка встречалась в Колизее с разными путешественниками и путешественницами, но до сих пор ни разу между нею и этими встречными не было произнесено ни одного слова. А этот незнакомый человек прямо подошел к ней, заговорил с нею, и она ему отвечала.

Он был молод, не отличался выдающейся красотой, но его бледное и тонкое лицо, его светлые и блестящие глаза невольно произвели на Елену сильное и какое-то особенное впечатление. Потом, после этой первой встречи, она не помнила ничего, не могла себе представить ни его фигуры, ни его одежды. Но перед нею так и стояли неотступно его удивительные глаза.

Он заговорил с нею по-итальянски, предупредил ее, что, обходя Колизей, он заметил несколько человек очень подозрительного вида, что на днях уже здесь был случай ограбления запоздавшего путешественника. Он советовал ей прекратить прогулку и вызвался вывести ее из Колизея.

Она не испугалась, как-то даже не сообразила, что можно испугаться, и позволила ему проводить себя. Она приняла его за итальянца. Но вот в разговоре он сказал ей, что он иностранец, что он русский. Она оживилась. Ей довольно редко приходилось встречаться с соотечественниками: граф очень искусно всеми мерами отдалял от нее подобные встречи; те же русские, с которыми она все же встречалась, оказывались неинтересными.

Он назвал ей себя, но фамилия Заховинова ничего не сказала ей. Она не знала, никогда даже не слыхала ни о ком, кто бы носил такую фамилию. Он объяснил ей, что это немудрено, так как имя его ничем не знаменито, да и сам он постоянно живет за границей, переезжая из страны в страну, из города в город. На ее вопрос: "Чем он занимается?" - он очень просто сказал, что у него нет никаких определенных занятий.

Между тем разговор, помимо воли графини, завязывался. Она поинтересовалась узнать, где именно, в каких странах он путешествовал, и узнала, что он по целым годам жил в Германии, Англии, Франции. Он объездил всю Европу, был в Испании, в Греции, в Турции. Был он также и в Египте, да и мало ли где...

Он довел ее до экипажа, почтительно раскланялся перед нею и исчез. Ее застоявшиеся лошади рванули с места, и она успела только в знак благодарности кивнуть ему своей прелестной головкою. Она думала, что этот человек, которого она мысленно назвала "странным", появился перед нею на мгновение, что эта первая и последняя с ним встреча. Но с этого дня их встречи были довольно часты. Заховинов попадался ей то здесь, то там. Он заинтересовывал ее все больше и больше.

Наконец она пригласила его бывать у нее, и он воспользовался этим приглашением. Между ними установились совсем особенные отношения, каких у нее не было до сих пор еще ни с кем.

Заховинов нисколько не ухаживал за нею. При посторонних он держал себя со скромным достоинством, даже старался как бы стушеваться, не обращал на себя внимания. Но вместе с этим он, видимо, чувствовал себя непринужденно. И странное дело, никто не знал его, его общественное положение было неопределенно, а между тем он ни в ком из окружавших графиню не возбудил ни любопытства, ни изумления. Его присутствие у Зонненфельдов было молчаливо принято и признано как свершившийся факт. Скоро Заховинов сделался членом самого интимного кружка графини, появлялся в ее доме почти ежедневно, но на это никто, даже сам граф, не обращал ни малейшего внимания. Впоследствии это обстоятельство стало казаться Елене очень странным, оно было почти неестественным; но тогда, в Риме, она об этом совсем не думала, да и вообще она не задумывалась над своим новым знакомством и смыслом этого знакомства. Она просто пользовалась всем, что давал ей Заховинов.

Оставаясь с ним наедине (а и это случалось очень часто), она нетерпеливо и жадно вслушивалась в его рассказы, во все, что он говорил ей.

Она не видела в его присутствии, как идет время, будто читала самую интересную книгу. И в

каждой новой главе этой книги она находила именно то, что могло заинтересовать ее в данную минуту. Она свободнее и глубже думала с Заховиновым. Он будил в ней все новые мысли; иной раз он заставлял ее останавливаться над такими вопросами, о самом существовании которых она прежде даже и не подозревала. Мало-помалу он начинал выводить ее из материального мира, среди которого она жила. Он уводил ее в иной, таинственный, мистический мир, полный великих грез, светлых и смелых гипотез. Он говорил ей о тайнах мироздания, о чудесах природы, о могучих силах бессмертного духа. С каждым разом он поднимал ее все выше и выше, и она испытывала блаженное замирание всего своего существа на этой ослепительной, таинственной высоте, с которой то, что она до сих пор считала единственной "действительной" жизнью, казалось таким ничтожным, почти призрачным.

Он уходил - и долго она оставалась как в чаду, под обаянием слов его, и тяжело ей было возвращаться к действительности.

Он уходил, и она ждала новой встречи, но ждала без тоски - ее вечная, всюду преследовавшая ее тоска теперь затихла...

Как-то Заховинов пришел к ней и объявил, что уезжает. Она даже как бы равнодушно отнеслась к этому известию, не придала ему значения, просто не поняла его.

Она простилась с ним любезно и без всяких признаков душевного волнения.

Он сказал ей, что они скоро встретятся.

Она засмеялась и стала доказывать ему, что это невозможно, что он едет в одну сторону, а она в другую.

Но когда он ушел, ее тоска возвратилась.

Едва он исчез из ее кружка, в этом кружке произошло нечто странное. О Заховинове заговорили, и заговорили недружелюбно... Его вдруг признали недостойным занимать то место, которое он

занимал в этом избранном, высокопоставленном обществе. Кто он? Никому неизвестный, темный человек, без имени, без положения. Как он сюда втерся? Каким образом на него глядели, как на равного?

Да и сама графиня задала себе вопрос: кто же он в самом деле? Но ей пришлось оставить вопрос этот без ответа.

Ее тоска возрастала с каждым днем. И вдруг на нее налетела буря. Она сразу сделала то, о чем до сих пор и не думала.

Она пришла и объявила мужу, что не может больше жить с ним.

Граф остановил на ней свои бледные, широко раскрытые глаза. Он заставил ее повторить. Он не верил ушам своим.

- Да что же это значит? Отчего? - растерянно спросил он.

XII.

Сухое, желтое лицо графа побагровело. Бесцветные глаза его налились кровью, на лбу выступила жила, острый его подбородок как-то странно запрыгал. Он сидел не шевелясь и только почти беззвучно повторял:

- Что это значит?.. Я, верно, не так вас понимаю... объяснитесь, графиня!..

Она стояла перед ним во всей своей ослепительной красоте с побледневшим и застывшим лицом. Глубокие глаза ее грустно, но в то же вре-мя решительно сияли из-под длинных черных рес-ниц.

- Я думаю, что говорю ясно и просто! - наконец произнесла она. - Один Бог знает, сколько я терпела, сколько я вынесла! Но я человек, а не камень... у меня сил больше нет... освободите меня, я не могу жить с вами.

Граф изо всех сил стиснул ручку кресла и спокойным голосом сказал:

- Что я вам сделал, в чем провинился перед вами? Я не знаю за собою вины. Но, быть может, между нами недоразумение... в таком случае надо его выяснить...

- Да поймите же, наконец, что я не люблю вас! - вырвалось у Елены.

Граф вздрогнул, ручка кресла хрустнула под его рукою. Но через мгновение он был опять спокоен, только на лбу его еще сильнее выступила толстая жила.

- Вы не любите меня... вашего мужа?! Так скажите же мне опять-таки: за что, чем я заслужил это?

Она молчала.

- Разве я совершил какой-нибудь поступок, недостойный честного человека, недостойный моего имени? Или, может быть, я нарушил свой обет, может быть, я изменил вам? Что же вы молчите? Говорите... отвечайте!

- Мне нечего говорить, я уже сказала.

Даже огонь вспыхнул в его глазах. Порывистым движением он было приподнялся с кресла и опять упал в него.

- Так, значит... что же? - Вся краска схлынула с его лица, и оно сделалось мертвенно бледным. - Значит, это вы недостойны имени, которое я вам доверил, которое я подарил вам перед людьми и Богом. Значит, вы допустили в себе какую-нибудь преступную страсть... и меня опозорили...

Он так и впился в нее. Он был страшен.

Теперь в свою очередь вспылила Елена.

- Нет, - сказала она, не опуская перед ним глаз, - я ничем не опозорила вашего имени. Я никакой преступной страсти в себе не допустила. Я не изменила вам, и вы должны мне верить.

Он глядел на нее, весь превратился в зрение. Он жадно и мучительно читал в ее глазах. Нако-

нец он ей поверил, не поверить ей было бы для него таким невыносимым ударом.

- Так что же? - растерянно воскликнул он.

- Граф, увольте меня от этого тяжелого для вас и для меня объяснения, позвольте мне уйти... я вам все сказала... мое решение неизменно. Сделаем же все это спокойно, мирно, без огласки... Граф, поймите, я ничего не имею против вас, я знаю, вы честный и хороший человек... Благодарю вас за ваше внимание, я знаю... вы всегда мне его оказывали, благодарю за ваши заботы обо мне... Но освободите меня ...

- Нет, не уходите! - властно сказал он.

Он ничего не понимал. Он смутно начинал бояться за ее рассудок. Что такое она говорит? Ведь это безумие, ведь это ни с чем не сообразно.

- Не уходите и одумайтесь! Какое противоречие в ваших словах! Вы уверяете меня, что верны мне, - и я вам верю. Вы признаете, что я всегда был для вас внимательным мужем, заботился о вас, что я достоин уважения... и вы объявляете мне, что не можете жить со мною, требуете разлуки!.. Елена, жена моя, одумайся, садись, дай мне руку, успокойся...

Он взял ее руку своей холодной, как лед, рукою.

Но это его прикосновение, последние слова его, в которых она расслышала даже что-то похожее на ласку, подняли в ней целый ад. В одно мгновение перед нею встали все эти пять лет мучительной жизни с этим чужим, теперь уже совершенно отвратительным для нее человеком.

Она вырвала свою руку и, задыхаясь от негодования, произнесла:

- Да поймите же, наконец, что я никогда ни на одну минуту вас не любила!

- Что?! - воскликнул он, подымаясь с кресла. - Что?!.. Никогда не любила?!..

Она думала, что он убьет ее, - так он вдруг стал страшен. Но он только гордо поднял голову и окинул ее презрительным взглядом.

- Никогда не любила! Но если это правда, как же вы смели выходить за меня замуж и меня обманывать? Разве я силой женился на вас, силой вас взял? Разве я унижался перед вами, вымаливал ваше согласие? Я сделал вам предложение - и вы его приняли тотчас же, с видимою радостью... Или я лгу? Не так оно было?

Она не смутилась под его презрительным взглядом.

- Это было так, но вы забываете одно: я была ребенком...

- Вам было семнадцать лет. Девушка в эти годы не ребенок. Если бы вы были тогда ребенком, вас бы за меня не выдали замуж. Выходят и раньше этого. Вы были взрослая, созревшая девушка; кругом говорили о вашем уме, о вашем большом образовании... Если бы вы были ребенком, я бы и не остановил на вас моего выбора, я бы на вас и не женился... Ну теперь, во всяком случае, вы не ребенок. Отвечайте же мне, что вы сделали с моей жизнью? Теперь вы не ребенок и должны понимать все. За что я должен выносить этот позор, какого никогда еще не случалось в моем роду?

- Позора для вас я не вижу тут. Это большая ошибка с вашей и с моей стороны - и только. Я не виню вас ни в чем, не вините же и вы меня. Я верю и понимаю, что вам теперь тяжело, но ведь и мне было тяжело целых пять лет... и согласитесь, что я слишком долго берегла вас. Верьте, я боролась до последнего... я не могу больше, не требуйте же невозможного, освободите меня, освободитесь сами... Мы не созданы друг для друга. Может быть, еще не все потеряно, вы еще будете счастливы. Ведь вы меня тоже не любили, а если и любили, то теперь уж любить не можете...

Граф ее не удерживал. Он остался недвижимый на своем месте, подавленный неожиданностью случившегося. В первый раз в жизни он совсем растерялся. Он понял, что все кончено, разрыв совершился. У него нет больше жены. Да если бы теперь она и вернулась, он уже не может принять ее после всего, что она сказала. Она нанесла ему сразу все оскорбления, какие только можно нанести человеку.

Нет, это ложь, что он не любил ее, нет, он любил ее, даже чересчур много. Он был слишком слаб с нею. Если бы он не любил ее, то поступал бы иначе, не прощал бы ей ее капризов, причуд, не выносил бы всего, что ему пришлось вынести и выслушать. Он не простил бы ей ее пренебрежение к матери, не заботился бы о ее здоровье, не устраивал бы ради нее так, а не иначе жизнь свою. И вот благодарность!

Граф искренно забывал, что он любил ее, во всяком случае, не для нее, а для себя, что он любил ее главным образом ради тех целей, достижение которых он наметил себе с ее помощью, на которых стоял упрямо. Но как бы то ни было, она права: он любил ее, но теперь любить не может. Он никогда не забудет и не простит ей всех этих оскорблений, не простит как муж, а пуще всего как граф Зонненфельд фон Зонненталь.

Да, конечно, не пропадать же ему из-за этого позора! Да, это позор, но он должен выйти из него с честью. Не пропадать же ему из-за того, что он сделал непростительную глупость, доверив свое имя и свою жизнь чужеземке дикого татарского происхождения, неспособной понять и оценить все, что для него свято и дорого, надсмеявшейся над всем, перед чем он преклоняется.

Граф заперся у себя, никуда не выезжал до следующего дня и никого не принимал. Затем он вышел из своих комнат спокойный, с величественным, гордым видом и принялся за свою обыч-

ную деятельность. Он не хотел видеть графиню и переслал ей свое решение на письме.

Он писал ей, что согласен разойтись с нею, но не иначе, как разведясь формально. Он берется устроить лютеранский развод, для которого не может встретить препятствий. Но она православная, она обвенчана с ним не только в лютеранской, но и в православной церкви. Он советует ей немедленно ехать в Петербург и там решить это дело. С его стороны не будет никаких затруднений.

Графиня прочла это письмо, перечла его несколько раз и долго сидела неподвижно. А слезы одна за другою так и катились из глаз ее. Но это были ее первые счастливые слезы.

Конечно, она не стала мешкать с отъездом.

Через месяц она была уже в Петербурге, уже представилась императрице и получила надежду на скорое окончание своего дела. Остановка была только за неизбежными формальностями, и эти формальности затягивались вследствие медленности сообщений между Петербургом и Веной, где теперь находился граф.

Графиня Елена снова вошла хозяйкой в петербургский дом своего отца. Она застала этот дом в печальном запустении и беспорядке, но он все же был ей мил и дорог. Ей казалось, что она проснулась после долгой болезни, после мучительного бреда. Ей казалось, что она снова вернулась к счастливым дням своего детства и отрочества.

Она застала отца не по летам одряхлевшим, осунувшимся. Она почти не узнала этого красивого франта, победителя женских сердец, превратившегося в добродушного и тупого старика, который с видимым затруднением вникал даже в самые простые вещи.

Отец охал и ахал, слушая признания дочери. Но он решил, что все к лучшему. Он рад был ее видеть, так как чувствовал себя совсем одиноким и покинутым. А теперь, с ее приездом, он уже не

будет больше одинок. Теперь у него есть добрая сиделка.

XIII.

Давно прошло то время, когда обстановка жизни самого богатейшего русского вельможи и сановника представлялась заезжему иностранцу темной и бедной, когда богатый и тароватый русский человек ютился в низеньких, крохотных покойчиках и довольствовался самыми незатейливыми вещами, зная, что даже и государь великий в своих царских палатах живет немногим лучше его. Давно прошло то время, когда чудесною, невиданною и неслыханною представлялась царская обстановка двора Алексея Михайловича, где появилось при сближении с Европою много чуждого, заморского.

Уже со времени Петра Великого европейские понятия о роскоши и стремление к этой роскоши стали проникать в русское общество. Великий царь любил для себя простоту и сам довольствовался малым, но и он находил необходимым не ударить в грязь лицом перед иностранцами.

Многие же из русских вельмож и государственных людей того времени жили очень широко и своею пышностью поражали даже иностранных резидентов.

В царствование Анны Ивановны роскошь двора и домов именитых русских людей была необыкновенна. Многие полагают, что временщик Бирон даже нарочно всеми мерами развивал эту роскошь и требовал от влиятельных русских лиц безумных расходов именно с целью разорить все богатые и известные русские фамилии.

При императрице Елизавете эти безумные траты на обстановку и на жизнь как бы несколько сократились. Но это происходило не потому, что появилось в высшем обществе сознание ненужности таких трат, а просто все чересчур истратились, за-

путались в своих делах и поневоле должны были на некоторое время кое-где и кое в чем сокращать расход.

Но до каких бы размеров ни доходила роскошь высшего русского общества в первой половине восемнадцатого века, все же в этой дорогостоящей жизни было много противоречий: рядом с чрезмерным блеском напоказ даже и не для особенно внимательного взора выступала неприветливость и неприглядность прежних грубых нравов и привычек. Часто бывало золото снаружи, а грязь внутри.

Только с воцарением императрицы Екатерины Второй высшее русское общество стало уметь жить не только богато, но и со всеми удобствами, выработанными жизнью в Западной Европе. Блеск двора Екатерины мог спорить только с французским двором и далеко оставлял за собою все прочие европейские государства. Как жила государыня, так старались жить и ее приближенные, а равно и все богатые люди, считавшие себя принадлежащими к высшему кругу.

Русская старина со всеми ее темными и светлыми сторонами, со всем, что в ней было не только достойно порицания и требовавшего изменения, но также и со всем, что в ней было хорошего и своеобразного, что следовало сохранить в полной неприкосновенности, подверглась окончательному изгнанию и забвению. Французский язык стал модным и любимым языком общества, и вместе с этим языком вторглись и все заполонили французские моды. Русские люди высшего круга иной раз по виду представлялись всесовершенными французами, к счастью, только по виду, говору, привычкам и обстановке. В последние пятнадцать лет были обновлены, переделаны и перестроены до неузнаваемости не только царские дворцы, но и чертоги всех вельмож. Все это сияло новым блеском. Европа то и дело отсылала в Петербург за дорогую, иной раз безумно дорогую цену лучшие произведения своей промышленности. Но

этого мало - она высылала в Петербург и лучшие произведения своего искусства, своего гения.

Богатейшие русские дома начинали наполняться как старинными, так и современными картинами знаменитых иностранных мастеров, творениями знаменитых ваятелей. В русских домах появились дорогие коллекции, музеи, библиотеки.

По недавно еще глухим, плохо застроенным и еще плоше мощеным петербургским улицам возвышались теперь величественные здания, заключавшие в себе настоящие сокровища всякого рода...

Богатство, роскошь, причуды утонченного вкуса!.. Но вот здесь, в этих чертогах, уже не богатство, не роскошь - здесь что-то почти невероятное, сказочное, далеко оставляющее за собою все ожидания, слухи и толки. В этом громадном жилище, в этом длинном ряде обширных зал и галерей веет каким-то особенным воздухом. Попав сюда, сразу переносишься в совсем сказочный мир, здесь забывается действительность, наплывает будто туман. Это не Петербург, это нечто заколдованное, существующее вне пространства и времени. Это дворец Черномора, это осуществление самой страстной, самой дерзновенной мечты тоскующего по земной красоте воображения.

Все, что может дать золото, которому нет и счета, все, что может создать искусство человека, - все здесь собрано. Но собрано не в последовательности, не в порядке, не по выработанному плану. Напротив, здесь всякое отсутствие плана, здесь величайший, почти хаотический беспорядок. Но именно в этом хаотическом беспорядке и есть какая-то особенная, художественная и тонкая гармония. Неожиданные и смелые смешения самых разнообразных предметов, необыкновенное сочетание капризных форм - все это и кладет отпечаток сказочности на чудное жилище, все это и поражает взгляд, очаровывает и смущает...

Кто же владетель этих богатств? Кто создатель этих волшебных чертогов? Кто сумел сочетать здесь

блеск Запада с горячей фантастической роскошью Востока? Чья причудливая мечта нашла себе здесь осуществление, создала наяву горячую ночную грезу? Кто здесь хозяин? - Потемкин...

Мысль бытописателя, утомленная всяческой злобою дня, любит порою уноситься в прошлое и вызывать из глубины его былые полузабытые образы. В тихие часы уединения забывается настоящее со всем, что ему "довлеет", и пробужденная память предлагает запас света, полученный ею из сокровищницы истории. И этот свет, проникая сквозь туман и мрак протекших лет и веков, мало-помалу озаряет полные движения, полные жизни картины. Нужды нет, что картины те были, что люди, в них действующие, жили! В нашей власти снова оживить и воскресить их, ибо ничто из того, что было - не пропадает, не исчезает в природе.

Да, перед нами живые люди, действительные события, и только наблюдая их на вековом расстоянии, можно видеть их спокойнее и яснее, понимать их глубже и судить лучше, беспристрастнее.

Не тень и не призрак - Потемкин. Он жив и ясно виден среди пестрой, переливающей всеми цветами, блестящей жизни, его окружающей. От него отошло и рассеялось все, что его затуманивало, все, что было ему навязано плохо его понимавшими, чуждыми беспристрастия современниками. Он освобожден теперь от всего, ему не принадлежащего, и является таким, каким создала его природа. И влечет он к себе невольно, этот чародей, этот могучий русский человек, один из славнейших и достойнейших сынов России, великан - выразитель лучших качеств человеческого духа и интереснейших слабостей человеческой плоти.

Над его гордой и печальной головою ярко горит звезда, горит прекрасным, но переменчивым светом. То звезда его судьбы, звезда истинных избранников, любимцев природы. В ясных и чистых лучах ее - победа, в кровавых - падение...

Чуял ли он ее над собою, эту чудно прекрасную, заманчиво страшную звезду судьбы, когда вырастал и креп для жизни в бедной смоленской усадьбе отца своего? Нет, он, конечно, был таким же ребенком, как и многие другие дети, - бойким, понятливым, живым, но иногда и мечтательным ребенком. Вряд ли думал он о своей звезде-судьбе и тогда, как отец привез его, по шестнадцатому году, в Москву, определил в дворянскую гимназию, учрежденную при только что открытом тогда Московском университете, и в то же время зачислил рейтаром в лейб-гвардии Конный полк. Юноша был здоров и крепок, в молодом, сильном теле развивался сильный дух. Живость, любознательность, блестящие способности и удивительная память делали ученье легким и приятным. Золотая медаль за успехи через год, через два - поездка с директором университета в Петербург, представление в числе лучших учеников и студентов куратору университета Ивану Ивановичу Шувалову. Потемкина с товарищами везут во дворец. Императрица Елизавета встречает их ласкою и приветом. "Для лучшего ободрения и поощрения учащегося юношества" их награждают чинами, хотя и оставляют в университете до окончания курса. Потемкин пожалован в капралы. Он опять в Москве, на ученической скамье...

И вот тут, быть может, впервые юноша почуял звезду-судьбу свою, она озарила его всеми своими прекрасными, соблазнительными, переменчивыми лучами. Он сразу преобразился. Он понял или, вернее, почувствовал, что чудная звезда снова влечет его туда, откуда он только что вернулся, туда - на чертоги роскоши, власти и славы, к самым ступеням трона. Он уже видел блеск и величие и не мог уже больше жить без них. "Все это должно быть моим!" - страстно хотел он всем своим существом. "Все это будет твоим!" - в нем и над ним шептал ему таинственный голос.

Он совсем перестал учиться, из первых стал последним. Зачем это ученье? Разве он не знает, что ему стоит только захотеть и без всяких трудов и усилий он будет знать все, что угодно, станет ученее первейших ученых? Но теперь ему не надобно университетской науки. Теперь он томится иною жаждой. Дух его страждет, и алчет, и жаждет, в нем кипит могучая борьба созревающих, рвущихся к деятельности живых сил. Что облегчит его, что успокоит, что его насытит? Не в забавах, не в разгуле, не в пьяном чаду ищет он утоления своей жажды, забвения тревог и мук своих - он ищет этого в вере, ходит по монастырям, беседует с монахами, читает священные книги, молится. Жаркая молитва, религиозные и философские размышления, духовный и мистический мир со всеми своими могучими и святыми образами, со всеми своими высокими вдохновениями спасают юношу от уныния и отчаяния, поднимают его в те области, где легко и свободно дышится его духу.

Но звезда-судьба жарче, яснее горит над ним, и настойчивее, соблазнительнее звучит таинственный голос: "Все это будет твоим!" И он не в силах больше противиться влекущему зову. "Туда! В Петербург!" У него нет денег на дорогу - отец беден и высылает ему из деревни очень мало. Он идет к московскому архиепископу Амвросию, говорит: "Я должен ехать в Петербург, там ждет меня моя судьба!" Архиепископ не возражает, очевидно, не сомневается в словах юноши, находится под его обаянием, проникается мыслями его и чувствами и дает ему на дорогу пятьсот рублей.

Потемкин в Петербурге, принят в действительную службу в полк, произведен в вахмистры. У него нет ни денег, ни связей, ни знакомства. Но звезда горит над ним. Он сходится с молодыми людьми из лучших фамилий. Он становится горячим приверженцем великой княгини Екатерины Алексеевны.

Знаменательный день 28 июня 1762 года. Потемкин в Петергофе, в числе окружающих государыню. Она принимает присягу от гвардии, подъезжает на коне, по-мужски, в мундире, к Конному полку. Она обнажает шпагу и вдруг видит, что на ней нет темляка. Это ее смущает. Тогда молодой Потемкин, который не спускает своих восхищенных глаз с государыни, во мгновение подъезжает и, ловким движением сорвав свой темляк, подает его Екатерине.

Темляк принят с ласковой улыбкой. Молодой вахмистр хочет отъехать, но его конь, несмотря на все усилия и боль от вонзаемых шпор, останавливается, как вкопанный, рядом с конем императрицы. Звезда-судьба горит ярко и пламенно и сливается с подобной же лучезарной звездою. Две знаменательные судьбы отныне сошлись, и с этого дня начинается почти волшебное исполнение всего, о чем неясно и смутно грезилось бедному московскому студенту...

С тех пор прошло семнадцать лет, и, кажется, ничего уж не осталось от прежнего Потемкина. Теперь это первый человек в России, всесильный, могущественнейший вельможа, перед которым все склоняется, трепещет. Один его знак - и решается судьба людей, изменяются почти уже совершившиеся события, "творится история". Почести, титулы, знаки отличия, богатство без счета и меры - все, чего только может желать честолюбие и славолюбие человека, все это пришло к нему, пришло само собою, без усилий, почти без борьбы, достигнуто средствами, не смущающими его совесть.

Великая царица великой России приобрела в нем человека, себе равного, Россия приобрела в нем великого и славного работника. Он был прав, когда думал и знал в юные свои годы, что ему стоит захотеть - и он будет все знать, стоит захотеть - и он все сделает. Теперь он знал и делал все, что надобно было его родине, ее славе, крепости и могуществу.

Пройдут века, а значение славных подвигов и дел чародея Потемкина не исчезнет, не забудется, ибо он делал именно то, что нужно для России.

Если проследить шаг за шагом его знаменательную, плодотворную и всестороннюю деятельность, то естественно представится, что этот удивительный человек должен был работать не покладая рук, с утра и до позднего вечера, должен был всецело отдавать себя государственной работе. А между тем этого не было - он действовал по вдохновению, мгновенно, магически. На что другому потребовались бы месяцы, то он свершал в минуты и часы. Его озаряла счастливая мысль, и тотчас же, как по волшебному мановению, перед ним развертывалась во всех мельчайших подробностях самая сложная и яркая картина. Он видел перед собою все обстоятельства, все комбинации, все неизбежные последствия дела, бывшего еще за минуту перед тем чуждым ему и незнакомым делом. Он видел, а потому и не мог ошибаться.

А когда он видел и знал, что такая-то мысль, такое-то дело полезны и нужны для России, он хотел их немедленного осуществления. Он бессознательно владел тайною такого хотения, перед которым падают и исчезают все препятствия. Его воля была законом, но вовсе не потому, что он был временщиком, любимцем царицы. Его фавор кончался, сердечное отношение к нему Екатерины изменялось, она бывала им недовольна, серьезно на него сердилась, даже негодовала, хотела высвободиться из-под его влияния, не желала больше его слушать. Но он являлся со своей мыслью и волей - и могучая властительница Екатерина, твердо приготовившаяся с ним бороться, невольно уступала его мысли и воле.

При такой магической работе, при таких исключительных средствах у чародея оставалось много свободного времени, и пока не призывал его высший голос, требовавший его работы для России, он

предавался лени, праздности, погоне за удовольствиями и томился.

Бывали дни, недели, когда он представлялся окружавшим олицетворением всех человеческих странностей, причуд и капризов, доходивших иногда до таких крайностей, что люди, не понимавшие его сложной, исключительной природы, имели все основания или опасаться за его рассудок, или считать его мелочным гордецом, опьяневшим от власти и могущества.

Сын смоленского помещика, почти нищий студент купался теперь в золоте, и никакая роскошь не могла удовлетворить его. У него то и дело являлись самые необыкновенные желания, и гонцы мчались за сотни и тысячи верст добывать для него какую-нибудь редкую вещицу, какое-нибудь странное кушанье и возвращались с требуемым им предметом тогда, когда он уж забывал о своем капризе и желал чего-нибудь иного.

Задавались дни, когда он вдруг исчезал для всех, никого не впускал к себе и бродил немытый, полураздетый, с мрачным лицом по своим сказочно роскошным чертогам. Все становилось тихо вокруг него, будто вымирало, и среди этой тишины раздавались только его тяжелые шаги и глубокие вздохи...

XIV.

Среди художественного беспорядка обширной комнаты, назначение которой определить было невозможно - такое в ней царствовало смешение самых разнородных предметов, на низеньком и широком восточном диване, окруженный мягкими, причудливо расшитыми подушками, лежал Потемкин.

Время близилось к полудню, но "светлейший князь" не думал о времени, забыл о нем. Неумытый, непричесанный, в мягком шелковом халате, в туфлях на босу ногу, он повертывался то на один

бок, то на другой, ища удобнейшего положения. Наконец он нашел самое удобное, самое ленивое положение. Тогда он раскрыл книгу церковной печати, лежавшую рядом с ним, и устроил ее на по-душках так, чтобы без помощи рук она сама держалась на должном от глаз его расстоянии, чтобы ее удобно было читать, не изменяя найденного ленивого положения. Устроив все таким образом, он внезапно и всецело углубился в книгу.

Потемкину исполнилось сорок лет, и года положили на него свой отпечаток. На открытом, своеобразно красивом лице его с длинным и тонким горбатым носом теперь установилось совсем особое выражение. В этом выражении, сразу поражавшем всякого и на всякого производившем сильное, неизгладимое впечатление, соединялись, по-видимому, самые разнородные, несоединимые свойства: проницательность и рассеянность, гордость и простодушие, надменность и доброта. Но надо всем этим преобладал ум, глубокий, ясный, блестящий, соединенный с могучей, всепокоряющей силой.

Когда Потемкин являлся среди толпы сановников и царедворцев в шелку, бархате и золоте, усыпанный бриллиантами и звездами, от него веяло почти царственным величием; взглянув на него, нельзя было ни на минуту усомниться в его исключительности и в его могуществе. Никто, как он, не умел одним взглядом уничтожить и стереть самого высокомнящего о себе человека. Никто, как он, не умел одним взглядом оттолкнуть от себя или привлечь к себе. Каждый день, каждое его появление среди людей и соприкосновение его с ними доставляли ему новых врагов и новых поклонников. Но враги его пока были бессильны, а в поклонниках он не нуждался.

Тут, на этом диване, неумытый и раздетый, Потемкин, конечно, был иным. Его большая и сильная, но слишком рано отучневшая фигура, не скрашенная блестящей одеждой, заспанное лицо с резче выступавшими на лбу, около глаз и у рта

морщинами, не могли не лишать его значительной доли обаяния и величия. Но все же художник и теперь остановился бы с восторгом над его косматой, львиной головою и следил бы за игрой чувств и мыслей на его чертах, в его взгляде, углубленном в чтение.

Все, что он почерпал из книги, очевидно, глубоко его интересовавшей, выражалось в лице его. Он читал сильное по духу и мысли творение одного из отцов церкви. Он начал с простого внимания к чужим мыслям, перешел в сомнение, в недоверчивость, затем началась борьба духа с материей, материя готова была осилить и возмутиться; но внезапно дух восторжествовал: жажда правды, света, любви... молитвенные слезы... скорбь о грехах и слабостях плоти... и потом вдруг откуда-то опять сомнение...

Потемкин оставил книгу, запрокинул голову и закрыл глаза.

Когда он открыл их, то заметил в глубине комнаты человеческую фигуру. Тишина стояла полная, фигура не двигалась, и он сразу узнал в ней своего секретаря. Он долго глядел на него все еще под обаянием далекого от действительности, наполнявшего его мира чувств и мыслей.

Наконец он произнес сердитым голосом:

- Это ты, Фомич? Чего тебе?.. Что лезешь?

Секретарь, человек неопределенных лет, с неглупым костлявым лицом, вылощенный, олицетворявший собою скромность, умеренное подобострастие, но в то же время, очевидно, не очень легко терявшийся, тихо произнес:

- Ваша светлость приказать изволили доложить о князе Захарьеве-Овинове... Они тут-с...

- Кто такой? - раздраженно переспросил Потемкин.

- Князь Захарьев-Овинов... По приказу вашей светлости вчерашний день я приглашение писал... за собственноручным вашим подписом. Назначено

явиться на сегодня и в сей час... А мне от вашей светлости наказано доложить немедля.

Проговорив это, секретарь ждал, оставаясь неподвижным.

Прошла минута, затем другая.

- Да! вспомнил!.. зови! - наконец совсем сердито крикнул Потемкин.

- Куда прикажете?

- Сюда... Что ж мне, одеваться, что ли?

Секретарь исчез.

"Вот еще... очень нужно! - думал Потемкин. - Отдохнуть, подумать не дадут... Царица просила не откладывая разглядеть этого нового князя из чужих краев... Разглядеть без пристрастия, расспросить и доложить... Интересен очень показался... Эх, да мне-то это куда не интересно!.."

Мысль его о вчерашнем свидании с императрицей оборвалась, и он вдруг жадно схватился за книгу. Слово, другое, третье - фраза. Так и брызнуло от этой фразы таинственным светом. "Не здесь, а там! Здесь - тление, там - жизнь, правда, любовь..." Кругом все так же тихо; но вот Потемкин чувствует, что кто-то вошел, что кто-то остановился в нескольких шагах от него.

Он с неудовольствием закрыл книгу, полуобернулся на диване и мельком взглянул на вошедшего.

- Князь Захарьев-Овинов? - произнес он зевая.

- Да, я Захарьев-Овинов... я получил письмо ваше, князь, и в назначенный мне вами час, как видите, являюсь.

Слова эти были произнесены спокойным, ровным, как будто металлическим голосом, в котором не звучало никакого выражения, никакого чувства.

- Здравствуйте! - опять зевнул Потемкин.

- Здравствуйте, князь! - прозвучал тот же невыразимо спокойный голос.

Потемкин совсем повернулся, несколько приподнялся с подушек, спустил одну ногу с дивана, туфля с другой ноги упала на ковер.

Теперь он с удивлением глядел на вошедшего. Он не удивлялся в нем обыкновенной моложавости, о которой ему говорила императрица, его поразило нечто другое, поразило особенное спокойствие этого человека, и в этом спокойствии он сразу почувствовал гордую, самоуверенную силу.

Он никогда не видал таких людей, а теперь вот уже немало лет все склонялись перед ним и если не трепетали, то, во всяком случае, обдумывали каждый шаг свой, каждое движение, слово. Он привык, что каждая фраза, обращаемая к нему, непременно начиналась с "вашей светлости".

Так никто не входил к нему, не здоровался с ним, так никто не говорил ему. Он видел ясно и безошибочно, что этот человек не только не смущен, но чувствует себя как дома и что эта непринужденность его совсем естественна.

Потемкин заинтересовался не на шутку. И вдруг, сам того не замечая, он грузно поднялся с дивана, сунул свою босую ногу в валявшуюся на ковре туфлю, запахнул халат, подошел к гостю и протянул ему руку. Его будто обожгло прикосновение нежной, почти женской, но сильной руки гостя.

- Прошу вас, садитесь! - сказал он, указывая на кресло.

Князь сел с легкой, едва заметной улыбкой, настолько легкой и едва заметной, что Потемкин не мог решить, была ли она в действительности или ему только показалось.

Затем они несколько мгновений молчали и пристально глядели друг на друга. Это была какая-то немая, страшная борьба без всякой враждебности. Наконец светлый, могучий взгляд гостя победил хозяина. Потемкин опустил веки. На его щеках вспыхнула краска.

Но он сам себе не отдавал никакого отчета в своих ощущениях.

XV.

Захарьев-Овинов первый прервал молчание.

- Князь, - сказал он, - я приехал в Петербург, вызванный письмом моего отца. Отец мой болен, и хотя болезнь его не угрожает жизни, но параличом он прикован к постели. Он потерял почти одновременно жену и дочь три года тому назад, и это несчастье было причиной его болезни. У него оставался сын, единственный после него представитель старого имени князей Захарьевых-Овиновых. Теперь ровно полгода как жестокая горячка в несколько дней унесла этого тридцатилетнего человека, полного сил и здоровья. Вы его знали, князь, он служил под вашим начальством и пользовался, как мне кажется, вашим вниманием.

- Да, я знал довольно близко вашего брата, он был способный и хороший человек, и я думал, что ему предстоит хорошая дорога, - произнес Потемкин, поднимая на собеседника свой уже успокоенный, полный всегдашней силы взгляд.

- Но суждено было другое, - продолжал Захарьев-Овинов, - отец едва перенес это новое горе, но все же перенес его. Он остался совсем одиноким. Тогда он вспомнил обо мне, своем старшем, но непризнанном, незаконном сыне... впрочем, он никогда не забывал обо мне, только мы не видались около пятнадцати лет... Он обратился к государыне с прошением о передаче мне всех прав и родового имени и титула. Государыня исполнила это желание. Я ничего не знал и был очень далеко. Письмо отца, извещавшее меня обо всем происшедшем, совсем изменило и значительно расстроило мои планы. Но я не мог отказать отцу в его настоятельной просьбе приехать... Я здесь и поэтому - ибо в природе нет ничего, что не вытекало бы одно из другого как следствие и причина - я нахожусь теперь в сфере неизбежных причин и следствий, образующихся уже помимо моей воли...

- Что вам угодно этим сказать? - довольно небрежно проговорил Потемкин.

- Только то, что я уже сказал: единственным моим свободным действием - из нежелания оскорбить отца, из желания хоть несколько примирить его с судьбою и успокоить был мой приезд в Петербург. Все последующее, пока не произойдет чего-либо нового и серьезного, пока я нахожусь в сфере влияния моего свободного действия, то есть приезда сюда, уже не мое дело, а дело обстоятельств, вытекающих одно из другого...

- Вы, государь мой, философ! - улыбнулся Потемкин.

- А вы сами разве не философ?

- Да, и моя философия должна сказать мне, что все ваше обстоятельное, философски повествовательное слово вы вели к тому, чтобы объяснить мне нижеследующее: приятностью видеть вас я обязан не вашему желанию, а только силе обстоятельств?

- Совершенно так.

"Светлейший" не хотел сердиться, но он решительно не привык к таким разговорам, и ему невольно становилось не совсем по себе.

- Я вас не держу, коли так! - неопределенным тоном проговорил он.

- Нет, князь, - и блестящий, смущающий взгляд Захарьева-Овинова остановился на Потемкине, - нет, если я подчиняюсь обстоятельствам, подчинитесь и вы. Вы должны по обещанию, данному вами государыне, разглядеть меня хорошенько, расспросить и передать ей свои заключения. Исполняйте же это, а я буду помогать вам.

Потемкин сделал быстрое движение и отбросил от себя подушку. В нем поднималась нервная возбужденность, он начинал заинтересовываться, хотя и не мог еще определить чем именно. Этот новый русский князь, этот бывший господин Заховинов, так не похожий на других людей,

повторил сейчас слова государыни, которых не мог ни слышать, ни знать. Странная случайность!

Захарьев-Овинов между тем продолжал:

- Скажу вам прямо, ибо с вами я хочу говорить прямо: я подчинялся неизбежности ехать к вам с некоторым неудовольствием. Но теперь я чувствую себя хорошо и доволен, что я у вас и с вами. Несмотря на то, что я жил очень далеко и своей собственной жизнью, я в эти последние годы не мог не встретиться с вашим именем - оно слишком громко. Я не раз останавливался на вас мыслью, но долго останавливаться мне было некогда, и потому я плохо знал вас. Вижу теперь, что и вообще вас очень плохо знают...

"Странно! странно! - думал Потемкин. - Что он такое говорит, как может он так говорить, и зачем я его слушаю? Это какой-то дерзкий маньяк... какой-то глупец с претензиями..." Однако он его слушал с все возраставшим интересом и невольно любовался его лицом, прекрасным в своем ледяном спокойствии, его светлыми глазами, из которых изливались непонятные лучи. Его влекло к этому дерзкому маньяку, и в то же время он чувствовал в себе что-то как бы даже страшное.

Князь Захарьев-Овинов продолжал:

- Да, вас очень плохо знают... Но это так и нужно... таких людей, как вы, всегда плохо знают...

- Вы говорите, как будто вы-то меня вдруг, мгновенно узнали! - перебил Потемкин и засмеялся. Но это был не самый искренний смех.

- Я теперь вас знаю, Григорий Александрович, - очень твердо и очень спокойно сказал Захарьев-Овинов.

"Григорий Александрович!" Кто же теперь осмеливается так называть его? Но Потемкин этого даже и не заметил.

- Как же вы меня понимаете, государь мой?

- Я понимаю вас как очень несчастного человека.

Потемкин ничего не сказал. Он весь превратился во внимание.

- Вы очень несчастный человек, - продолжал Захарьев-Овинов, - и сами хорошо знаете это. У вас есть все, что вы считали за счастье, а счастья все же нет и никогда не было. Ибо можно ли назвать счастьем краткие мгновения удовлетворенного самолюбия и гордости, преходящие чувственные удовольствия? Все это может быть счастьем для многих, но не для таких, как вы. Ведь вы знаете, что за такими краткими мгновениями всегда наступают часы и дни пущей тягости и томления... Достигнуто, выпито до дна - и ничего кроме горечи, ничего кроме сознания, что достигать не стоило! Так ли это, князь? Верно ли я понимаю?

- Верно, - мрачно произнес Потемкин.

- А если верно - значит, я не дерзкий маньяк, не глупец с претензиями, как вы меня сейчас назвали!

- Помилуйте, князь, когда же я ... так называл вас?

Лицо "светлейшего" побледнело.

- Все равно - подумали.

Потемкин порывисто встал с дивана и тяжелыми шагами стал ходить по комнате. Брови его сдвинулись, на лбу выступила глубокая морщина. А в голову среди наплывавшего тумана так и стучало: "Что же это? Я сплю?.. Я брежу?.."

Странный гость говорил:

- Почему же вы несчастны? У вас есть все, что имеет цену в глазах людей; того, что у вас есть, достаточно с избытком на целую толпу людей, жадных до земного блеска, почестей и славы. Чего же вам надо? Чего вы ищете? Я жду ответа.

И Потемкин ответил:

- Я не знаю, чего ищу, не знаю, чего мне надо; но мне надо чего-то - и я что-то ищу всю жизнь...

- Какое жалкое бессилие при такой силе! - воскликнул Захарьев-Овинов. - Как же вы, человек

глубокого разума, не знаете, чего вам надо? Разгадка проста. Если ничто земное не дает удовлетворения, не может напоить и насытить, если голод и жажда остаются те же, значит, надо искать пищи и питья не на земле, а где-нибудь в ином месте...

- На земле у человека есть обязанности, есть долг... назначение! - сказал Потемкин.

- Правда, но я не хочу сказать, что вы должны покинуть землю, я только говорю, что и на земле не все - земля. И вы хорошо понимаете это, доказательством тому - эта читанная вами книга... Но не в книгах дело! Если вы хотите чего - умейте взять! Вы часто думаете, что вам все доступно. Вам доступно многое, но вы захватили слишком много излишнего и ненужного, и эта ноша вас давит... Сбросите ли вы ее когда-нибудь? Погибнете ли под ее тяжестью?..

Потемкин тяжело дышал. В лице его изображалось смущение, тревога.

- Остановитесь! - глухим голосом произнес он, хватая руку Захарьева-Овинова и крепко сжимая ее своей сильной рукою. - Довольно!.. Это тяжело!.. Но кто же вы, читающий в душе человека, видящий его мысли? Откуда вы пришли, где научились всему этому?.. Кто вы?

- Я человек, которому ничего не надо... Так и скажите обо мне государыне...

XVI.

Проходили минуты, прошел час, уже кончался другой, а Потемкин не замечал времени, увлеченный беседой со своим странным гостем.

Теперь он уже перестал смущаться необычностью этой беседы, перестал бороться с нежданным влиянием на него человека, осмелившегося не только прийти к нему как к равному, но даже глядеть на него, "светлейшего, всемогущего Потемкина",

как-то сверху вниз с какой-то дерзновенной, смущающей и непонятной высоты.

Привычка властвовать, повелевать, видеть как должное и естественное общее преклонение и подобострастие забылась. Потемкин уже не думал о том, что он - Потемкин. Он был теперь только человеком, глубоко неудовлетворенным в своей высшей жажде, томившей его всю жизнь, и жадно впитывал в себя странные, таинственные речи, казавшиеся ему именно той живящей влагой, какую он до сих пор напрасно искал. "Тот, кому ничего не надо", после первых минут борьбы сразу победил его, кому так много было надо и в ком так нуждались. "Маньяк" заворожил его и овладел всем его существом так же всецело, как овладел, даже помимо своей воли, юной и чистой душой "весталки" праздника в Смольном, как овладел томящейся по жизни и счастью душой красавицы графини Зонненфельд.

Потемкин, наконец, забыл, где он, с кем. Он будто беседовал со своею собственной душою, от которой у него не было и не могло быть никаких тайн. Он переживал снова всю свою внутреннюю жизнь и, остававливаясь на некоторых, особенно памятных ему, мгновениях этой жизни, вопрошал, требовал разъяснений. И всякий раз он получал эти разъяснения и оставался ими совершенно удовлетворенным. Он не имел теперь никакого сомнения в том, что тот, кого он вопрошает, знает все, что ему нечего рассказывать, сообщать какие-либо подробности. Тот, кто говорил с ним, действительно, знал всю его внутреннюю жизнь как свою собственную, только знал ее глубже, совершеннее, чем он сам.

Когда наконец чары рассеялись и Потемкин вернулся к материальной действительности, увидел себя среди знакомой обстановки, в халате и туфлях на босу ногу, а пред собою князя Захарьева-Овинова, ему показалось, что он только что проснулся. Что такое было все это? Может быть, действительно,

сон? Да и разве это не могло быть сном? Он уж почти хотел спросить об этом своего гостя, хотел перед ним извиниться, что заснул... Он взглянул на часы. Однако этот сон продолжался более двух часов! И гость все здесь, он не изумлен нисколько; его интересное бледное лицо с ясными, жутко блестящими глазами все так же спокойно...

Нет, то был не сон! Но что же? И вдруг Потемкин почувствовал, что не следует, нельзя останавливаться на этом вопросе. Да он и не имел силы на нем остановиться. Его поглотило другое ощущение, другое сознание: он, так многих презиравший, холодный, равнодушный, одинокий, и самого-то себя любивший как будто только по привычке, из необходимости, полюбил этого странного человека всем своим мгновенно отогретым сердцем. Он будто возродился, будто вернулся ко дням своей мечтательной юности.

С него вместе с этой вспыхнувшей любовью, спала вся тягость лет, почестей, славы, гордости, величия. В его любви была и нежность, и робость, почти поклонение. Произошла сцена, действительности которой вряд ли поверил бы посторонний свидетель. Но такого свидетеля не было и не могло быть - в апартаменты "светлейшего" никто не смел являться без зова.

Потемкин раскрыл свои могучие объятия и с преображенным, прекрасным лицом привлек к себе на грудь князя Захарьева-Овинова.

- Брат! - шептали его губы. - Тебе ничего не надо, но мне надо, чтобы ты был братом, чтобы ты спас меня от тоски, отчаяния и зла.

Захарьев-Овинов спокойно ответил:

- Да... ты брат мне; но вряд ли я спасу тебя...

- Разве ты видишь мою неминуемую гибель?

И голос Потемкина невольно дрогнул, и сердце его почти перестало биться в ожидании ответа.

Ответ был:

- Мы всегда стоим над бездной... один неверный шаг - и бездна может поглотить нас... и чем выше

мы поднялись, тем гибель наша ужаснее. Я не могу спасти тебя, ибо не я повелеваю судьбою... Я могу только предостеречь тебя и предостерегаю: опасность близка, она стучится у раззолоченных дверей твоих. Тебе предстоит роковая встреча. Ты еще раз обольстишь себя чарами женской красоты, забудешь, что такое эти чары и чего они стоят, что скрыто за ними... Но в самую опасную минуту я буду с тобою... Это я тебе обещаю... Только захочешь ли тогда моей помощи?

- Князь, такая опасность, сдается мне, для меня не очень опасна? - сказал Потемкин, и улыбка скользнула по его лицу.

- Ошибаешься и напрасно столь надеешься на свои силы: цепи, сплетенные из цветов, труднее разорвать, чем железные цепи.

- В таком случае, я буду ждать тебя, по твоему слову, в самую опасную минуту... А государыне так и скажу, что ты "человек, которому ничего не надо". Или нет, не скажу ей этого: она таких не встречает и не знает, а потому почувствует в тебе большую необходимость. Ты же должен оставаться вполне свободным. Так ведь?

- Если мне ничего не надо, то, значит, я равнодушен и к рабству, и к свободе. Делай, как знаешь, я полагаюсь на твой разум...

Они обнялись еще раз, и князь Захарьев-Овинов вышел.

XVII.

Перед подъездом "светлейшего" дожидалась карета, дверцы которой были украшены гербом с княжеской короной. Захарьев-Овинов молча сел в эту карету. Кучер на мгновение замешкался, ожидая приказания, но так как приказания не последовало, он решил, что, значит, надо ехать домой. Вороные кони тронули быстро, ровною рысью, и минут через пятнадцать карета остановилась перед домом внушительного и барского вида. Старый

почтенный камердинер, очевидно, дожидавшийся у входных дверей, стал было сходить с каменных ступеней, чтобы отворить каретную дверцу, но Захарьев-Овинов уже предупредил его и быстро поднялся по ступеням. Камердинер едва успел распахнуть перед ним тяжелые дубовые двери и в то же время доложить:

- Их сиятельство изволили дважды вас спрашивать и приказали доложить вашей милости, что они ждут вас.

- Хорошо! - сказал Захарьев-Овинов, передавая свой плащ и шляпу камердинеру и направляясь к широкой парадной лестнице, ведшей во второй этаж, где находились парадные комнаты и где также помещался хозяин.

В доме царила глубокая тишина, да и вообще этот красивый, богато обставленный дом производил впечатление покинутого, опустевшего жилища. Здесь прошла смерть, унесла одну за другою три жизни, и это, как и всегда, чувствовалось, если только было кому отдавать себе отчет в своих тонких, но тем не менее не мнимых, а действительных ощущениях.

Захарьев-Овинов прошел обширную залу, где с белых лоснящихся стен глядели старинные, по боль-шей части искаженные неумелой кистью, лики ро-довых портретов, прошел еще несколько комнат, от-куда так и веяло на него следами недавно прерванной и чуждой ему жизни, и постучался у запертой двери.

- Кто там? - расслышал он изнутри.

- Это я, батюшка.

- Войди.

Он вошел, и его взгляд остановился на старике, погруженном в огромное, обложенное подушками кресло. У старика было изнеможденное, желтое, как старый воск, лицо, с почти потухшими глазами, с чертами, уже, очевидно сильно измененными жизнью и страданиями, но все же не лишенными большой привлекательности. Почти вся правая сто-

рона тела старика была парализована. Нога совсем не действовала, рука с трудом поднималась. Несмотря на то что в комнате было жарко, почти душно, старик кутался в меховой халат.

- Здравствуй, сын, - произнес он слабым голосом, кладя на стол книгу, читанную им перед тем.

Сын подошел, наклонился и приложил свои губы к холодной, старческой руке отца.

- Я полагал, что ты уже давно вернулся, - заговорил старик, - и посылал за тобою... Ведь ты сказал мне, что съездишь только к Потемкину... Где же ты был все время?

- Я и был только у Потемкина и теперь прямо от него...

- И то правда... я чаю, у него народу видимо-невидимо... не доберешься до его новозданной светлости...

- Сегодня у него ни души...

- Так ты, что же, - все время с ним беседовал? - как-то недоверчиво спросил старый князь.

- Да, все время.

Отец поднял на сына свои потухающие глаза и долго глядел на него с неопределенным выражением. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец старик прервал его:

- Если тебе тяжело со мною, уйди, оставь меня, - сказал он, и голос его задрожал, и в этом голосе послышался вздох.

Сын придвинул себе кресло и сел рядом с отцом. Его спокойное и холодное лицо осталось неизменным, хотя он понял и взгляд отца, и вздох его.

- Батюшка, - произнес он, - мне нисколько не тяжело с вами; тяжело не мне, а вам, и я очень бы желал снять с вас эту тягость.

- Так сними же ее с меня! - и глубокое страдание изобразилось на старом лице князя. - С тех пор как ты со мною, мы еще ни разу не оста-

вались долго наедине... не было времени. Знаю я это... но сегодня я приказал никого не принимать... я хотел бы говорить с тобою и объяснить тебе многое... Да, сними с меня тягость... дай мне почувствовать, что меж нами нет никаких средостений... что ты прощаешь мне свое прошлое.

- Батюшка, мне нечего прощать вам... я благодарен вам за все...

- Нет, не то это, не то! - внезапно оживляясь, забывая свою слабость, свои страдания, воскликнул старый князь, - это слова, я слышу их, но не чувствую...

Сын пристально, своим, как сталь, блестящим и холодным взглядом глядел на отца.

Старик продолжал все с тем же возбуждением:

- Конечно, ты можешь, не зная многого, обвинять меня... Я никогда и ни о чем не говорил с тобою... мы не видались пятнадцать лет, да и последнее свидание наше было кратко. Ты мало знаешь меня, и я мало тебя знаю.

"Кто же виновен в этом?" - пронеслось в мыслях сына и замерло. Он слушал:

- Что было, того не вернуть и не изменить. Оправдываться перед тобой я не могу и не стану. Но я скажу тебе, как все было. Давно, далеко это! Я был молод и жил одними лишь удовольствиями. Проказам моим и счет терялся... Был близок ко двору. Покойница государыня Елизавета Петровна ко мне благоволила, и был я в ее близком кругу еще в трудное ее время, при Анне Иоанновне... Повздорил я как-то с Алешей, ну, знаешь, Разумовским... он, певчий, хохленок, зазнался больно предо мною. Я и отчестил его как подобало... Он бы и ничего, да нашлись другие... доложили. И получил я такое повеление: "Коли не желаю впредь лишиться милостей, отъехать мне в мою новгородскую вотчину Заселье, сидеть там смирно в одиночку, ни с кем не сноситься, одуматься, остынуть и ждать милостивого разрешения вернуться..." Вот я и отъехал, и сидел смирно, ни

с кем не сносясь. Как ехал, думал помру с тоски да скуки. А не прошло и десяти дней - началась моя радость. В доме у нас, в Заселье, еще при матушке вырастала Аленушка, дочка покойного отца Никиты, нашего сельского священника. Помнил я ее малым ребенком, а как приехал тогда, вижу: девица красоты несказанной. И как взглянул я на нее, так с той самой минуты ничего другого кругом и не видел. Она и она, везде и во всем она! Полюбили мы - я ее, а она меня - без оглядки, не разлучались ни на час один. И так шли недели, месяц, другой, третий, прошло пол-года...

Старый князь остановился весь преображенный. Он даже выпрямился в своем кресле, даже в тусклых глазах его загорелся огонь жизни. Лицо сына оставалось спокойным, только оно как бы слегка потемнело, как бы постарело даже.

Отец продолжал:

- Через полгода пришло ко мне писание за подписью: "Елисавет". Приказано прибыть. Я отписал, что болею... Через месяц новый приказ. Я опять пишу: "Болен-де зело, а как поправлюсь - буду". Еще через месяц третий приказ, строжайший. Нельзя было не ехать. А разлучаться нам с Аленушкой тяжело. Везти ее хотел с собою да надумал, что обождать надо... не таково было тогда ее здоровье. Тосковал я без нее в Петербурге и дни считал... Вот уже недолго!.. А тут гонец из Заселья: Аленушка родила мне сына, а сама при смерти... Света я не взвидел. Добрая матушка наша Елисавета Петровна как узнала о моем горе, да его увидела, так сама меня послала в Заселье, а тебе крестной матерью быть вызвалась... Не застал я в живых мою Аленушку...

Голос старого князя оборвался. Далекое прошлое встало как живое. Глаза померкли, и из них по желтым высохшим щекам катились одна за другою слезы.

Сын взял руку отца и держал ее в своей, и тепло разливалось по старому, больному телу. Это пожатие сыновней руки возбуждало жизнь, смягчало тоску.

- Вот и спадает тяжесть! Ведь так, батюшка?

- Спадает, друг мой! - прошептали бледные губы.

Сын продолжал:

- Да будет же навсегда кончена между нами беседа о прошлом. Все, что вы можете сказать мне, я знаю... Вы любили мать мою... ей не суждено было жить - не ваша в том вина. Вам суждено было жить. Вы утешились, женились, воспитывали детей... Перенесли тяжкие испытания. Теперь исполнили свой долг относительно меня...

- Исполнил ли? Исполнял ли его как следует? - заговорил, снова одушевляясь, князь. - Не смею, не могу таиться пред тобою: до этих тяжелых утрат, до этой моей болезни я очень мало о тебе думал. Судьба лишила тебя матери, но у тебя мог быть отец, а у тебя никого не было. Только теперь я понял это. Ты вырос на чужих руках, ты жил вдали от меня... на чужбине... я забывал даже иной раз посылать тебе деньги... быть может, ты и нуждался...

Сын улыбнулся и покачал головою.

- Я никогда не нуждался. Мне не в чем винить вас, батюшка. Знайте, что если бы я с рождения был князем Захарьевым-Овиновым и жил с вами, в этом доме, окруженный нежными заботами моих кровных, моя судьба была бы не в пример хуже. Знайте, что я доволен своею судьбою и то, что для другого было бы зло и горе, для меня обращалось в благо...

- Твоя речь темна для меня и непонятна! - печально произнес старик. - Да и сам ты мне непонятен. Я знаю, что ты имеешь большую книжную мудрость, большие познания, но я слишком мало знаю о твоей жизни... А хотелось бы знать, хотелось бы знать, отчего ты такой?

- Какой?

- Не такой, как все... не такой...

Но старый князь не мог уже окончить своей мысли. Сын встал и медленно поднял руку. Глаза отца закрылись в то же мгновение, он откинул голову на подушки и заснул крепким, спокойным сном.

XVIII.

Еще несколько минут Захарьев-Овинов держал свою руку над головой отца, и черты старого князя принимали все более и более спокойное, какое-то даже блаженное выражение. Вот слабая улыбка мелькнула на старческих губах, вот желтые, иссохшие щеки покрылись легким румянцем. Старик сделал во сне движение и положил руку себе на сердце. Он прошептал что-то, но что - того нельзя было расслышать.

А в это время перед мысленным взором сына ясно и отчетливо рисовались картины... Ясные летние дни... вековые клены и липы... воды широкой, быстрой реки... таинственная душистая глубина темного соснового бора... бледные вечера, полные неизъяснимой тишины, завораживающей душу... Свет и сиянье юной, доверчивой красоты... молодая любовь - земная, горячая, безумная и могучая, как вся эта природа...

"Переживай былое свое опьянение - оно все же было самым сладким из всех твоих опьянений, переживай его снова и отдыхай от страданий бедной, износившейся плоти... вот тебе дар мой! - и он для тебя во сто крат драгоценнее, чем для меня все то, что ты теперь дашь мне!"

Так подумал Захарьев-Овинов и, еще раз устремив свой холодный, властный взгляд на спящего отца, вышел из комнаты. Он снова прошел пустыми парадными покоями и спустился с лестницы в нижний этаж, в занимаемое им помещение. По приезде из-за границы в отцовский дом он сам се-

бе выбрал эти три комнаты, небольшие и довольно темные, выходившие окнами в маленький, но густо заросший садик. Эти комнаты чуть ли не с самого основания дома никогда не были жилыми и всегда предназначались для приезжающих. Захарьев-Овинов выбрал их именно оттого, что они не были жилыми. Да и то он их три дня проветривал, держа окна настежь и приказав хорошенько топить печи, несмотря на теплую весеннюю погоду. Затем он сам по нескольку раз в день окуривал каждую комнату каким-то очень ароматическим курением и опрыскивал все стены и всю мебель какой-то душистой зеленого цвета жидкостью. Теперь, несмотря на открытые окна, в комнатах стоял пропитавший все несколько одуряющий и странный запах, очевидно, приятный и привычный хозяину. Захарьев-Овинов, придя к себе, снял в спальне свое нарядное одеяние и надел черный бархатный кафтан, бывший его любимой домашней одеждой. Затем он вышел в первую комнату, более обширную, чем две другие и служившую ему для занятий, которым он с первого дня своего приезда посвящал немало времени. Здесь стоял большой дубовый стол; на столе несколько книг, шкатулка чудесной мозаичной работы, чернильница и пенал с гусиными перьями.

Захарьев-Овинов присел к столу, отпер шкатулку, вынул из нее объемистую тетрадь и принялся писать.

Но не пришлось ему исписать и полстраницы, как в дверь раздался стук. Он поднял голову, прислушался, досадливое чувство мелькнуло на его лице, но оно тотчас же и пропало. Он взял свою рукопись и спрятал снова в шкатулку. За дверью вместе с повторенным стуком раздался голос:

- Князь, ваш слуга не виноват, я не допустил его докладывать... Коли заняты - скажите прямо, а коли можете - впустите меня к себе без церемонии... Узнаете мой голос?

- Узнаю, милости просим, граф! - ответил Захарьев-Овинов, подходя к двери и отпирая ее.

Пред ним в золоте и регалиях, сиявший довольством стоял граф Александр Сергеевич Сомонов. Они поздоровались. Граф поспешно вошел, будто боясь, что хозяин не впустит к себе, а попросит в парадные комнаты, тогда как он именно, даже не думая о своей назойливости, вовсе не бывшей в его характере, постарался проникнуть сюда. Быстрым любопытным взглядом в одно мгновение граф оглядел всю комнату. Но этот первый осмотр не мог удовлетворить его. Он не увидал ровно ничего необыкновенного и особенного, чего, по-видимому, ожидал.

Комната "нового князя" была самой обыкновенной комнатой с тяжелой кожаной мебелью, большим книжным шкафом и несколькими картинами по стенам. Вся эта обстановка, очевидно, была здесь и прежде, до приезда нового хозяина, и ровно ни о чем не говорила.

Захарьев-Овинов предложил своему гостю кресло.

- Зачем же вы меня обманули, князь? - начал граф Сомонов. - Обещались приехать ко мне третьего дня обедать, да и не пожаловали.

- Я сам очень жалел о том, - отвечал Захарьев-Овинов, - но в письме моем я изложил причины невозможности быть у вас: неотложные дела, связанные с моим новым положением, а также здоровье отца... Он с утра чувствовал себя очень дурно и просил меня не выезжать; весь день меня задерживали.

- Да, конечно, - протянул Сомонов, - я все это понимаю и не претендую, только жаль, я так ждал вас... да и не я один.

Захарьев-Овинов улыбнулся.

- Вы чересчур любезны! Мое присутствие, пожалуй, бы только испортило настроение и ваше, и ваших гостей. Потерял я, а не вы.

- Однако, князь, - перебил его Сомонов, - дело вовсе не в комплиментах. Мне и моим друзьям вы крайне нужны - и сами знаете почему.

Захарьев-Овинов еще раз улыбнулся.

- В этом-то и дело, граф, что я не знаю, или, вернее, я знаю, что вы возлагаете на меня такие ожидания, каких я удовлетворить не могу.

Сомонов даже вспыхнул.

- К чему мистификации! - воскликнул он. - Ведь я не один год имел о вас известия. Да и вы же привезли мне из-за границы письма, тоже доказывающие, что я на ваш счет не заблуждался. Я знаю, что вы занимаетесь великой и единой наукой природы, которая составляет высший интерес моей жизни, и я имею все основания предполагать, что в вас мы можем и должны найти человека для нас крайне нужного, по всем данным, опытного руководителя.

Захарьев-Овинов пожал плечами.

- Уверяю вас, граф, вы заблуждаетесь... Великая наука природы! Мне незачем скрывать, что я вообще не чужд любознательности... Скитаясь по свету, я учился всему, чему мог, я искал встреч с учеными людьми, водил с ними знакомства, беседовал, поучался от них, немало с ними спорил. В числе моих знакомых и даже друзей есть франкмасоны. Я знаю, что вы всем этим интересуетесь, всякими мистическими вопросами. Слыхал, а теперь убеждаюсь, что вы занимаетесь каббалистикой и вообще древними, давно отвергнутыми науками. Я всегда буду рад случаю беседовать с вами обо всем этом, так как вопросы эти и меня в достаточной мере интересуют... Но вот и все. Я не могу принять на себя той роли, какую вам угодно придавать мне, не могу потому, что это не моя роль.

Сомонов пытливо глядел на него, но ровно ничего не мог прочесть в его холодном, неопределенно улыбающемся лице.

- Однако, - запинаясь, произнес он, - как же это? Положим, в доставленных мне письмах нет указаний... но по прежним письмам...

- Что же, граф, говорили обо мне эти прежние письма ваших заграничных корреспондентов?

Сомонов начинал волноваться. Он почувствовал себя в каком-то неловком, странном положении. "Зачем он меня дурачит, - думал он, - что нужно, чтобы заставить его быть откровенным?"

- В прежних письмах, - воскликнул он, - нас извещали о скором вашем приезде и обещали нам многое от вашего приезда. Я и небольшой кружок моих друзей, преданных общим интересам и занятиям, ждали вас, как манны небесной...

- Не меня вы ждали и не обо мне вас извещали, - совсем просто сказал Захарьев-Овинов.

- Как! - Сомонов не знал, что думать, он окончательно растерялся.

- В скором времени, действительно, должен сюда приехать тот, кого вы ждете и о ком вам писали. Согласитесь же, что мне не пристало быть самозванцем и что вы, граф, ставите меня в неловкое положение.

Сомонов едва верил ушам своим.

- Кто же это должен приехать? - прошептал он, почти бессмысленно глядя на Захарьева-Овинова.

- Кто? Великий чародей, каким его считают многие в Европе... человек, имеющий много названий, но более всего известный под именем графа Калиостро.

При звуке этого имени Сомонов вскочил с кресла , и вместо неприятного смущения, в каком он до сих пор находился, на лице его изобразилась радость , чрезмерная, восторженная.

- Возможно ли это?.. К нам едет сам божественный Калиостро! - вскрикнул он, - le divin Gagliostro!.. Dieu, quel bonheur!

Захарьев-Овинов глядел на него серьезно и спокойно, но, очевидно, не замечал его, не слышал - мысли внезапно ушли очень далеко.

- Князь, вы его знаете? Вы с ним близко знакомы?.. Князь, да что же вы?

Захарьев-Овинов очнулся.

- Да... вы про Калиостро... нет, я не знаком с ним, никогда не встречался...

- Не может того быть!.. Я не в силах понять, зачем вам надобно от меня скрываться?

- Уверяю вас, что я с ним не знаком, ни разу не пришлось встретиться... по слухам же я, конечно, его хорошо знаю.

- И он сюда едет? Это верно?..

- Не едет еще, но скоро приедет, если вы его позовете... От вас зависит... только уверены ли вы, что его приезд вам нужен и принесет какую-нибудь пользу?

Сомонов ничего не ответил, а только посмотрел на князя с сожалением.

- В таком случае пишите ему, приглашайте его, и я вам ручаюсь, что он не замедлит воспользоваться вашим приглашением... Но...

Захарьев-Овинов остановился, не докончив фразы, он видел, что всякое "но" теперь бесполезно.

- Я сегодня же, сейчас же буду писать ему... пошлю мое письмо с курьером, - взволнованно и уже сам с собою повторял Сомонов и стал поспешно прощаться.

Захарьев-Овинов проводил его, вернулся, запер дверь на ключ и снова вынул свою тетрадь из мозаичной шкатулки.

"Бабочки!.. мошки!.. - думал он, - так и летят на свечу... и опалят свои слабые крылья... и погибнут... да и свеча сгорит и исчезнет бесследно, хоть и возжена была от вечного, животворного огня мира... Вам открыть великие тайны природы!.. Для вас нарушить священный обет молчания!.. Нет, не к вам я пришел и мне некуда вести вас... Перед вами я останусь в одежде, данной мне теперь,

быть может, именно затем, чтобы вернее скрыть себя от очей ваших..."

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

Огромное богатство, крепкое здоровье, привлекательная внешность, любовь к добру и красоте - всем этим благосклонная судьба в избытке наделила графа Александра Сергеевича Сомонова. С первых дней его жизни перед ним была расчищена широкая дорога всяких благополучий и наслаждений, всего, о чем бесплодно мечтают не только пасынки судьбы и природы, но иной раз и законные, истинные дети той же судьбы, той же природы.

Все сложилось так, что графу легко было не только самому жить привольно, весело и счастливо, но и разливать вокруг себя довольство и веселье. Врожденные склонности к этому его и побуждали. Придя в зрелый возраст и став обладателем огромного наследственного состояния, первые основы которого были положены не Бог знает в какой древности трудом его предка, вышедшего из русского крестьянства, граф озаботился прежде всего своим весельем и весельем своих ближних.

Ему пришло в голову выстроить на одной из окраин Петербурга роскошную дачу, окруженную огромным садом, где могли бы гулять и отдыхать не только его знакомые, но и вообще все жители Петербурга.

Граф любил искусства и был достаточно глубоким знатоком их. Он не только покупал в Европе художественные произведения, но и мечтал о русском искусстве. Присматривая русских талантливых людей и найдя человека, казавшегося ему талантливым, он всегда покровительствовал такому челове-

ку. Так он воспитал и вывел в люди, между прочим, молодого способного архитектора, по фамилии Воронихин. Этому-то архитектору он и поручил постройку своей дачи. Работа закипела, и на удивление всем быстро воздвигался огромный дом превосходной внушительной архитектуры.

Затем граф скупил смежные земли, покрытые густым леском, спускавшимся к самой речке, и менее чем в год мечта его осуществилась - запущенный лесок превратился в прекрасный, разбитый по плану того же Воронихина, сад.

В саду этом среди беседок, киосков и всяких живописных уголков, посвященных отдохновению и мирной беседе, возвышались драгоценные скульптурные произведения, вывезенные из-за границы. Свободно пускаемая в графский сад публика могла дивоваться и любоваться на сфинксов, центавров, на огромные и грациозные мраморные вазы, наполненные душистыми цветами.

Посреди обширного пруда, окаймленного ярко-зеленым бархатистым газоном, возвышалась гигантская фигура Нептуна с трезубцем.

По сторонам графской террасы сверкали своей мраморной белизной чудной работы статуи, изображавшие Геркулеса и Флору Фарнезских.

В зимнее время графский сад бывал обыкновенно наглухо заперт. Но едва весна вступала в свои права, он отпирался и становился всем доступным. Летом граф жил вместе с двором в Царском Селе, но накануне праздников и воскресных дней он неизменно приезжал на свою дачу, и тогда здесь наступало с утра и до вечера великое пирование. Музыка всюду оглашала древесные своды. Петербургские жители стремились в графский сад и зачастую проводили со своими семействами весь день. Никакого ресторана тут не было, а между тем каждый мог получить и кушанье, и всякие крепкие напитки за самую дешевую цену. Огромная графская дворня устроила себе из продовольствия посетителей весьма выгодное занятие. И кушанья, и

напитки получались даром. То есть на счет графа, и таким образом, всякая, хотя бы и самая дешевая плата, взимаемая с гулявших, была чистой прибылью для графской прислуги.

Насытясь, напившись и наслушавшись музыки, каждый мог идти к самой террасе дачи и присутствовать в качестве свободного зрителя на графском пиршестве.

Граф Александр Сергеевич и его многочисленные гости нисколько не смущались, превращаясь, так сказать, в актеров и становясь средоточием бесчисленных взглядов толпы. Эти взгляды ничуть не мешали им пировать и веселиться. С террасы несмолкаемо доносился смех, шумный разговор, оживленные споры.

А весьма часто случалось и так, что по знаку добродушного хозяина вдруг раздавались звуки веселой плясовой музыки. Граф посылал всем посетителям сада приглашение потанцевать на расчищенной площадке перед террасой.

Это приглашение тотчас же принималось, устраивались танцы и, наконец, кончалось тем, что сам именитый хозяин присоединялся к танцующим, предлагал руку первой приглянувшейся ему даме или девице и начинал с нею танец.

Популярность графа Александра Сергеевича была велика. В Петербурге его почти все знали в лицо. Он приветливо отвечал на обращаемые к нему почтительные поклоны, ласково улыбался всем красивым женщинам, ласкал детей. Но в то же время никогда не терял он своего достоинства. Доброта, ласковость и простота его обращения, запанибратство с людьми самых различных классов общества нисколько не мешали каждому и каждой видеть и чувствовать в нем настоящего вельможу и уважать его. В то же время его простота и эти праздники, в которых он принимал участие, многим давали возможность обращаться к нему лично со всевозможными просьбами о помощи. Граф принимал все просьбы, и широкая его благотворитель-

ность иной раз граничила просто с расточительностью. Он помогал без всякого разбору, сыпал деньгами направо и налево.

Это, во всяком случае, давало ему возможность видеть довольные, радостные лица и знать, что он причиной этих радостей и довольства. Он находил, что не может быть жаль никаких денег, заплаченных за такие впечатления, и с добродушной улыбкой выслушивал замечания императрицы, упрекавшей его, что в конце концов даже и его громадного состояния не хватит на такие меценатовские причуды.

- Хватит, ваше величество, смею уверить вас, что хватит! - твердо повторял он и был прав: его состояния, добытого когда-то в недрах земли мозолистыми мужицкими руками, хватило не только на его век, но и на широкую жизнь его потомства...

Казалось бы, чего еще было искать графу Александру Сергеевичу, как было не довольствоваться ему такой привольной, широкой жизнью? Но оказывалось, что всего этого ему было мало. Все давалось слишком легко, стоило чего-нибудь захотеть, и оно являлось как в сказке, "по щучьему велению". И вот повлекло его неудержимо к такому, чего нельзя было купить ни за какие деньги, чего не могли дать ни имя, ни положение, ни связи. Ему недолго пришлось задумываться над тем, что это такое, чего ему так хотелось. Он много читал и был сыном своего времени. А в его время было немало умов, настроенных мистически, томившихся и скучавших среди видимой действительности. Эти умы, увлекаемые жаждой чудесного и не умевшие найти удовлетворения своей жажды в слишком для них высокой и великой чистоте и простоте христианского учения, вернулись к древним и средневековым мечтаниям, разыскивали остатки древних тайных наук и силились сдернуть покрывало с таинственного лика Изиды.

Занятия каббалистикой, магией, астрологией были в ходу. Встречались по всей Европе ученые

и серьезные люди, без всяких видимых признаков помешательства, глубоко верившие в возможность найти "жизненный элексир", посредством которого можно продлить человеческую жизнь чуть что не до бесконечности, и "философский камень", с помощью которого можно превращать грубые металлы в чистое золото. Эти люди посвящали все свое время и все свои средства на "великое дело", то есть на алхимическую процедуру, в результате которой получались, однако, вовсе не "философский камень" и не "жизненный эликсир", а нечто другое, очень интересное, но все же не удовлетворявшее искателей.

Рядом с людьми искренними и серьезно увлеченными являлось немало шарлатанов и грубых обманщиков, эксплуатировавших доверчивых любителей таинственного и обиравших их самым глупым образом.

Одновременно с "тайными" науками, начали входить в моду и животный магнетизм, или "месмеризм", названный так по имени его провозвестника, немца Месмера, заставившего говорить о себе всю Европу...

Граф Александр Сергеевич Сомонов увлекался и "тайными" науками, и месмеризмом, и всякою таинственностью. Он и кружок его друзей делали всевозможные "опыты", разыскивали лиц, способных впадать в "таинственный сон". Про них, и главным образом про графа, то и дело в петербургском обществе рассказывали всякие истории, дававшие обильную пищу насмешкам. Императрица нередко забавлялась над тем, что граф "магнетизирует" дам и девиц и "варит из камней золото". Она даже задумала писать комедию, героем которой явился бы расточительный алхимик.

Граф ничем не смущался, все больше и больше увлекался своими таинственными занятиями и только ждал руководителя, великого адепта, который бы ввел его и его друзей в храм Изиды и открыл бы для них лик богини природы.

II.

Прошло около месяца с тех пор, как граф Сомонов приезжал к Захарьеву-Овинову и как тот сначала смутил его, а потом порадовал известием о скором приезде Калиостро.

Во все это время в жизни Захарьева-Овинова, по-видимому, не произошло ничего выдающегося. Он, очевидно, делал все, чтобы не обращать на себя внимания, не заставлять говорить о себе. Многие из старых друзей и родственников его отца, до сих пор едва знавших о его существовании и нисколько им не интересовавшихся, теперь очень желали знакомства и сближения. Старый князь, безнадежно больной, того и жди, умрет. Этот новый сын - единственный наследник его большого состояния, единственный узаконенный теперь носитель его старого имени. После милостивого внимания, оказанного ему государыней, не о чем более задумываться. Сразу и молчаливо, как бы по данному знаку, всеми было решено забыть прошлое, признать нового князя своим родным. Особенно женщины, и главнейшим образом молодые женщины, сильно заинтересовались молодым князем. Ему стоило только отдаться течению, и он сразу стал бы самым модным человеком в Петербурге. Но он вовсе не хотел этого и в первое время легко мог скрываться, не обращая внимания на это, не возбуждая толков. Тяжкая болезнь отца, с одной стороны, летнее затишье - с другой, позволяли ему не бывать в обществе.

Потемкин не звал его больше к себе, а государыне доложил о нем в таком духе, что это человек, действительно, интересный и ученый, что его, конечно, можно с большою пользою приурочить к какому-нибудь делу, но до осени, ввиду семейных обстоятельств, недавнего приезда и всяких домашних дел надо оставить его в покое.

Императрица не возражала.

Таким образом, Захарьеву-Овинову была предоставлена полная свобода, и он пользовался ею в том смысле, что все дни проводил в своих трех комнатах или в маленьком садике за чтением и письмом. Впрочем, часа три, четыре в день он бывал с отцом. Старик дал ему все нужные объяснения, сдал ему все дела, счеты и расчеты, передал ему все фамильные документы. Иногда между ними завязывался разговор, иногда сын своим металлическим голосом рассказывал отцу очень интересные вещи о своих путешествиях по разным странам. Старик слушал внимательно, с видимым интересом, задавал вопросы. Но едва эти вопросы касались личной, внутренней жизни сына, обстоятельств его личного прошлого неизменно происходила одна и та же сцена: по едва заметному мановению сыновней руки, по первому властному сыновнему взгляду старый князь засыпал на несколько часов и пробуждался подкрепленный и оживленный, но совершенно забыв разговор, предшествовавший его внезапному сну, забыв на некоторое время свое горячее желание проникнуть в прошлое сына...

Был конец июня. Захарьев-Овинов получил от графа Сомонова приглашение на его дачу. В приглашении этом значилось, что тот, кого так ждали, приехал и временно остановился у графа. Граф заканчивал свою записку так: " Льщу себя надеждой, что уже никакие обстоятельства не помешают вам быть у меня и насладиться беседой нашего знаменитого, столь долгожданного гостя".

Захарьев-Овинов, прочтя эту записку, покачал головою, но решил, что поедет. Он даже на мгновение вышел из своего холодного спокойствия и почувствовал, что завтрашний день его несколько интересует. В назначенный час его экипаж остановился у ограды сомоновского сада. Погода стояла довольно свежая и ненадежная. С утра поднявшийся ветер наносил тучи, и вообще в воздухе

чувствовалось приближавшееся ненастье; поэтому, несмотря на праздничный день, графский сад не представлял обычного оживления. Гуляющие встречались, но их было немного.

Да и сам дом не имел своего постоянного открытого, так сказать, сквозного вида. С первого взгляда можно было заметить, что в этом доме совершалось нечто исключительное и важное. Даже графская прислуга казалась довольно торжественной и важно настроенной. Многочисленные экипажи на обширном дворе указали Захарьеву-Овинову, что он будет присутствовать на очень многолюдном пиршестве и собрании.

Так оно и оказалось. В приемных комнатах он застал толпу гостей - мужчин и дам. Многие из них его уже знали, и появление его было замечено.

Он обменялся любезными приветствиями со знакомыми и спешил вперед, к ожидавшей его встрече - не с хозяином, не с "божественным Калиостро", ради которого собралась эта жадная до новых впечатлений толпа, он теперь забыл и хозяина, и Калиостро. Он ощущал, отчетливо и ясно, присутствие кого-то, кто был соединен с ним тайными и крепкими узами, быть может, гораздо более тайными и крепкими, чем это ему самому казалось.

"Она здесь! - подумал он. - Значит, пришло время нам встретиться снова... значит, именно теперь я ей нужен... Да, конечно, именно теперь, именно сегодня..."

Графиня Зонненфельд, стройная и прекрасная, шла к нему навстречу. Но она еще не заметила его, взгляд ее глубоких глаз не то задумчив, не то рассеян.

- Графиня, - проговорил он, и в его голосе прозвучали, казалось, несвойственные ему мягкость и даже ласка.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули. Что блеснуло в ее взгляде - испуг или радость?

- Господин Зах... князь! - с легкой улыбкой сказала она, протягивая ему руку. - Я думала, что вы уже уехали, что вас нет здесь...

- Вы этого не думали, графиня...

- Во всяком случае, я хотела так думать... Отчего я вас нигде не встречала?.. Отчего вы не навестили меня, вашу старую знакомую? Разве вы не знали, что я буду рада вас у себя видеть?

- Нет, я знал, что вы будете рады меня видеть, - спокойно отвечал он, - но до сих пор я вам не был нужен... И у меня, и у вас были свои дела... Вы должны были окончить развод, и это вас поглощало, вы только об этом и думали. Я не хотел мешать вам, а быть вам хоть сколько-нибудь полезным в таком деле не мог...

- Да, вы правы... правы, как и всегда, - задумчиво сказала графиня, - но теперь мои дела кончены... я ...

- Вы свободны, - перебил ее Захарьев-Овинов, - вы можете успокоиться... хладнокровно взглянуть на прошлое и подумать о будущем... Или, быть может, вы не хотите о нем думать?

- Я еще не имела времени решить этот вопрос... Этот месяц прошел так быстро, в хлопотах... я его не видела!

Он взглянул на ее чудно прекрасное, полное какой-то особенной благородной прелести лицо, взглянул в ее глаза, из глубины которых ему виднелся заманчиво разнообразный, полный неразгаданных еще тайн мир ее томящейся души, и выражение участия, сострадания, жалости мелькнуло и исчезло на его холодных чертах.

- Да, время идет быстро, - сказал он, - быть может, даже слишком быстро для вас - и надо им пользоваться. Вы теперь как в тумане, вы сами себя не сознаете... не сознаете, что значит, какой смысл имеет эта полученная вами свобода...

- В таком случае, придите ко мне и объясните. Ведь там, в Риме вы многое мне объясняли и объяснили... с тех пор у меня немало явилось во-

просов и, я думаю, только вы их можете решить. Придите ко мне и взгляните, как я теперь живу... Я живу лучше, чем в Риме, спокойнее, тише...

Она остановилась и посмотрела на него с таким выражением, какого было трудно ожидать от этой светской красавицы, привыкшей встречать всеобщий восторг и поклонение. Это было то самое выражение, с каким испугавшиеся и заблудившиеся дети глядят на человека, явившегося для того, чтобы успокоить их и привести домой... Дети глядят прямо в глаза, всецело покоряясь, всецело доверяясь - и протягивают руки без слов, говоря: "Бери... веди..." И тот, кто берет и ведет, принимает на себя всю ответственность за беззаветно покорившуюся ему, передавшую ему себя детскую душу.

Так и бывшая графиня Зонненфельд протянула руку Захарьеву-Овинову, и ее глаза ему сказали: "Бери... веди!"

Он без смущения принял ее руку и проговорил:

- Я скоро теперь приду к вам.

Она отошла, и в дверях соседней комнаты он увидел заметившего его и направившегося к нему хозяина.

III.

Граф Сомонов был в возбужденном состоянии. В нем замечались и озабоченность, и радость, и восторженная торжественность - все вместе.

Он крепко сжал руку Захарьеву-Овинову и шепнул ему:

- Как хорошо, что вы приехали вовремя, мне необходимо нечто сообщить вам... прошу вас, следуйте за мною, пока меня не задержали.

Он провел князя в комнату, где никого не было, запер за собою дверь и взволнованным голосом начал:

- Скажите мне, Бога ради, князь, вы кому-нибудь, кроме меня, сообщали о скором приезде в Петербург графа Калиостро... и вообще с кем-нибудь говорили о нем?

- Кроме вас ни с кем не говорил и никому не сообщал. И вообще мало с кем все это время виделся.

- Слава Богу, - перебил его граф Сомонов, - впрочем, я так и думал, вы лучше чем кто-либо знаете, что в делах подобного рода следует быть осторожным. О существовании графа Калиостро, кроме меня, моего друга Елагина и еще двух человек, здесь никто не знает. Я сегодня буду представлять моим гостям иностранца графа Феникса с его супругой... Понимаете, он - граф Феникс, а не Калиостро. Так надо... это его желание. Под этим именем он путешествует.

- Я это знаю. Он и в Курляндии, где был недавно, так назывался, - сказал Захарьев-Овинов.

- Ну да, ну да, и мы должны оберегать его от всяких случайностей и всяких неприятностей, свято хранить его тайну.

- Такая тайна, граф, небольшой важности. Если Калиостро желает называться Фениксом, имея на то какие-нибудь причины или даже вовсе их не имея - это его дело. Что же касается до неприятностей, могущих с ним быть, мне кажется, нам нечего заботиться оберегать его и охранять - человек, столь могущественный, как Калиостро, или Феникс, сам может охранять не только от неприятностей, но и от всякой опасности.

Сомонов пристально взглянул на князя.

- Да, конечно, - проговорил он, - только, извините меня, но в вашем тоне, к моему изумлению, я замечаю нечто как бы почти враждебное знаменитому человеку, к нам приехавшему. Скажите мне, что я ошибаюсь!

Захарьев-Овинов улыбнулся.

- Конечно, ошибаетесь, граф, - сказал он, - никакой враждебности во мне нет и быть не

может. Я заинтересован графом Фениксом не менее вашего, и был очень доволен, получив ваше приглашение. Но скажите, что вы сами думаете об этом человеке? Вы, конечно, уже успели разглядеть его?!

Граф Александр Сергеевич внезапно оживился, лицо его приняло почти даже вдохновенное выражение.

- О, какой это человек! - воскликнул он, - да что об этом толковать - сами судить будете... Он приехал уже с неделю, но просил дать ему возможность отдохнуть и оглядеться. И он приехал не один ведь, а с женою, графиней Лоренцой... Боже мой, какая женщина! Какая в ней необычайная прелесть! Она воистину достойная супруга своего божественного мужа!

- Что же вы знаете о его планах? Долго ли он здесь останется?..

- По счастью, долго. Сегодня он разрешил собрать всех, кого я более или менее считаю способными интересоваться не одной грубой материей. Он обещал показать нам нечто такое, чего мы еще не видали. Но, конечно, понимаете, это только первое начало... не станет же он всем открываться! Он просил созвать как можно больше гостей, мужчин и дам. Изо всех собравшихся он сам изберет тех, кто достоин видеть большее. Из этих избранных потом окажутся достойнейшие. Таким образом, естественно, само собою, образуется действительная цепь. Я вам говорю все это, так как знаю, что вы окажетесь одним из звеньев этой цепи...

- Отчего же вы так полагаете, граф? - сдерживая улыбку, спросил Захарьев-Овинов.

- Оттого, что я уже говорил ему о вас, заинтересовал его вами и он сказал мне, что будет очень рад с вами познакомиться и что надеется найти в вас друга и человека преданного, полезного делу. Однако, не пора ли...

Граф Сомонов поспешно вынул из кармана своего камзола часы и решил:

- Пора! Остановитесь, князь, в зеленой гостиной и дожидайтесь меня, я хочу, чтобы вы один из первых познакомились с графом Фениксом и очаровательной графиней.

- С большим удовольствием исполню ваше желание! - с поклоном ответил Захарьев-Овинов.

Они вошли в зеленую гостиную, и Сомонов поспешно скрылся.

В гостиной из соседних комнат то и дело появлялись, но почему-то тотчас же и скрывались, мужчины и дамы. Никто из них, казалось, не замечал Захарьева-Овинова, присевшего к окну и задумчиво глядевшего прямо перед собою в глубь сада.

Мысли "нового" князя улетели далеко. Ему представлялась мрачная комната старинного замка в южной Германии. Он видел ветхие, покрытые пылью веков фолианты с начертанными на них странными знаками, таинственными иероглифами, цифрами, формулами и символами. Два старца объясняли ему эти знаки, открывали ему смысл цифр и символов.

Как звон торжественного благовеста над ним звучали слова: "Omnia cum pendere, numero et mensura!" Таинственные знаки превращались в светлые мысли, в живые силы и открывали ему, пораженному, исполненному блаженным трепетом, дивные, вечно неизменные тайны природы. Часы, дни, недели проходили в стенах старого замка, и он не замечал жизни и не нуждался ни в каких впечатлениях внешнего мира. Беседы ветхих, почти безжизненных, но сильных разумом и знанием старцев составляли все его существование, насыщали его и укрепляли. И когда он покинул старый замок, то почувствовал себя новым человеком, и весь мир представлялся ему новым, не имеющим ничего общего с тем миром, какой ему был знаком прежде.

"И ты был там же! - подумал князь, возвращаясь к настоящей минуте. - Был в той же великой школе! Погибший брат! Покажись, дай мне взглянуть на твое падение!"

Как бы в ответ на эту мысль его одна из дверей зеленой гостиной растворилась и пропустила хозяина в сопровождении того, кого Захарьев-Овинов назвал "погибшим братом".

Это был человек лет тридцати, хорошего среднего роста и крепкого сложения, наклонный к полноте, но быстрый и ловкий в движениях. Черты его лица, хоть и не отличавшиеся правильностью, были, однако, очень привлекательны. Широкий умный лоб, огненные глаза, в которых светилась проницательность, быстрота мыслей и большая сила - все это не могло не обращать на него общего внимания, не могло не выделять его сразу из толпы.

Человек этот так и сиял золотом и драгоценными камнями, но в то же время вовсе не казался чересчур нарядным. Блеск и богатство шли к нему, как-то сливаясь с ним, составляли с ним нечто общее, нераздельное. Его даже трудно было себе представить в скромной одежде, без золота и бриллиантов.

Рядом с ним, опираясь на руку Сомонова, грациозной и легкой походкой, будто едва касаясь пола скрытыми под драгоценными кружевами платья, но, наверное, прелестными ножками, появилась молодая женщина лет двадцати четырех. Ее нельзя было назвать красавицей, но нельзя было также не залюбоваться ею с первой же минуты. Она казалась воплощением той очаровательной женственности, которая неизмеримо прелестнее строгой и правильной красоты. Художник, поклоняющийся классическому идеалу, быть может, и нашел бы в ней некоторые недостатки, нашел бы, например, что она могла бы быть немного повыше ростом, что у нее чуть-чуть велик рот, несколько мал нос и еще что-нибудь в этом роде, - но этот же самый строгий художник, наверное, влюбился бы в

нее без памяти, если бы она того захотела. Ее большие черные глаза были из тех глаз, которые в какую-нибудь минуту времени могут передать самое противоположное ощущение, могут и оживить, и умертвить человека. Никакая кисть, никакие краски не могли бы передать матовой белизны и нежности ее прелестного лица, оттененной густыми, темно-каштановыми волосами. Наряд ее был роскошен, бриллианты, сверкавшие на ней, великолепны. Но в противоположность своему мужу без этого богатого наряда, без этих бриллиантов она, наверное, была бы еще лучше.

Граф Александр Сергеевич остановил свой торжествующий взгляд на Захарьеве-Овинове.

- Граф, графиня! - воскликнул он. - Вот человек, о котором мы только что говорили. Он первый вас здесь встречает, и я имею все основания думать, что это хорошая встреча!

Графиня Феникс кивнула своей прелестной головкой, быстро и смело взглянула на Захарьева-Овинова и улыбнулась ему. Он почтительно ей поклонился, но едва ее заметил - он глядел на графа Феникса. Тот подошел к нему с протянутой рукой и заговорил по-французски, бойко и правильно, но с довольно заметным итальянским акцентом.

- Князь, я знаю, вы почти такой же иностранец здесь, как и я, знаю, что вы ученый человек, одним словом, все, что я знаю о вас, а знаю я, быть может, гораздо больше, чем вы полагаете, заставляет меня считать за особенное удовольствие возможность познакомиться с вами, и я надеюсь, что наше знакомство не будет мимолетным.

Все это было произнесено самым любезным, но в то же время несколько как бы покровительственным тоном.

Захарьев-Овинов опустил глаза; лицо его внезапно застыло, заледенело в самом неопределенном выражении.

- Граф, - ответил он, - если вы обо мне знаете более, чем я предполагаю, то я вас, вероятно, знаю меньше, чем вы думаете. Но и я, во всяком случае, надеюсь, что наше знакомство не мимолетное.

"Что он хочет этим сказать?" - подумал граф Феникс, сжимая его руку.

Захарьев-Овинов ответил крепким пожатием, поднял глаза, и их взгляды встретились. Несколько мгновений они пристально глядели друг на друга, и "божественному" Калиостро становилось как-то не по себе. Он ожидал встретить совсем другое, а главное - не понимал, что он такое встретил, не понимал он, умевший сразу разгадывать людей, сразу давать себе о них верное заключение.

"Что это за человек, что в нем особенного? - мысленно повторял он. - Мы с ним никогда не встречались, насколько я знаю; но, наверное, он предубежден против меня, или, быть может, он близок с кем-нибудь из врагов моих, или ... просто мне завидует!.. Я разгляжу все это и покорю тебя, русский князь, как покорял многих, тебе подобных... Никогда еще не чувствовал я в себе такой силы, как теперь..."

"Ты рассчитываешь разглядеть и покорить меня, ты считаешь себя теперь особенно сильным... Ты сильнее, чем я думал, но все же я не дам тебе возможности даже и бороться со мною..."

Граф Феникс вздрогнул. Он не слышал этих слов, мысленно произнесенных Захарьевым-Овиновым, но он их почувствовал, неопределенно, неясно, однако, все же настолько, чтобы смутиться тем, что он принял за свою собственную, внезапно мелькнувшую мысль.

Он пристально взглянул на своего нового знакомого, глядевшего на него просто и прямо, и успокоился. Он не понял и не почувствовал, что русский князь усилием воли лишил в эту минуту свой взгляд всей его обычной силы.

Сомонов ничего не замечал и не видел, всецело поглощенный своей очаровательной дамой, задававшей ему певучим голоском на довольно странном французском языке самые разнообразные вопросы.

В зеленую гостиную вошло несколько дам и кавалеров. В дверях показалась графиня Зонненфельд, а за нею длинная, комичная фигура князя Щенятева. Он быстро-быстро, захлебываясь и шепелявя, нашептывал ей что-то.

Хозяин решил, что пора начать церемонию представления петербургского общества графу Фениксу и его супруге.

IV.

Пиршество было в полном разгаре. Граф Александр Сергеевич был, действительно, создан для роли амфитриона. Никто как он не умел быть именно хозяином такого дома, где каждый и каждая чувствовали себя свободно и приятно, где часы проходили незаметно в легкой и оживленной беседе, где любители кулинарного искусства и поклонники Бахуса, чудесное изображение которого красовалось на плафоне огромной графской столовой, могли предаваться самым разнообразным удовольствиям. Удовольствия эти предвкушались уже при первом взгляде на художественное меню, разложенное на всех кувертах и никогда не обманывавшее даже самых капризных гастрономов.

Таким образом, приглашения графа Александра Сергеевича очень ценились, и все спешили ими пользоваться, несмотря даже на значительные для них неудобства, сопряженные с поездкой на его дачу. В этот же раз графское приглашение было особенно заманчиво. Он сумел заинтересовать общество приездом графа Феникса, сумел пустить молву о таинственном иностранце, от которого все ожидали чего-нибудь особенного и необыкновенного. Конечно, в числе лиц, приглашенных графом Сомо-

новым, было немало и насмешников, утверждавших, что приезжий Феникс вовсе не "феникс", а просто шарлатан и фокусник; только ведь и шарлатана интересно послушать, и фокусы приятно посмотреть в роскошной обстановке, среди изысканного пиршества.

Сам граф Феникс очень хорошо понимал всю затруднительность своего положения среди этого чуждого ему общества. Он еще недавно считал Россию совсем варварскою страною, считал русских совсем дикарями. Но он уже успел убедиться в своей ошибке. Прием, сделанный ему графом Сомоновым и кружком его близких друзей, занимавшихся "тайными" науками, не обманул его и не затуманил. Он знал, что общество северной русской столицы состоит далеко не из одних Сомоновых, Елагиных и им подобных, что вообще северяне гораздо хладнокровнее, склонее к скептицизму, рассудительнее и вдумчивее, чем его горячие соотечественники - итальянцы, увлекающиеся, легкомысленные французы и мечтательные, наклонные к мистицизму немцы.

А между тем он верил в свои силы, и трудность задачи только возбуждала его энергию. У него были широкие цели, и он решился во что бы то ни стало восторжествовать над русской холодностью. Он знал, что будет встречен как шарлатан и фокусник, но через несколько часов о нем должны изменить мнение. Борьба началась.

К концу обеда граф Феникс победил почти все собравшееся общество, сделался действительным центром, поглощавшим всеобщее внимание. Если он играл роль, то играл ее безукоризненно. Прежде всего растаяли и бесследно испарились всякие сомнения в аристократичности и истинности его происхождения. Самые недоверчивые люди отказались от предположения, что он вовсе не иностранный граф, а какой-нибудь пройдоха-авантюрист. Он был олицетворением самого изящного, прекрасно воспитанного светского человека. Сначала он держал себя

сдержанно и с великолепным достоинством, взвешивал каждое свое слово. Он заставил всех желать, чтобы он разговорился, и когда почувствовал это общее желание, стал говорить занимательно, весело, остроумно о самых разнообразных предметах.

Казалось, каждое его слово, сопровождавшееся блеском его глаз и самой милой улыбкой, показывавшей его ослепительно белые зубы, обладало особой притягательной силой. Сотни и тысячи его слов образовали тонкую, незримую, но крепкую паутину, эта паутина захватила всех и каждого, и он свободно мог потянуть за собою своих безсознательных, зачарованных им пленников.

Он так и сделал. Убедясь, что против него уже не действуют никакие враждебные влияния, что он хозяин положения, он перевел разговор на мистическую почву и смело стал действовать в этой знакомой ему и привычной области. Даже люди, совсем чуждые всего, что не относится к злобе дня и к видимой, осязаемой действительности, заинтересовались его рассказами о том, какую власть может получить человек как высшее создание Божие над природой, до какой степени он может подчинить себе законы этой природы и распоряжаться ими по своему усмотрению.

- Никто не виноват, - говорил граф Феникс ме-лодичным, ласкающим слух голосом, - никто не виноват, если люди не хотят пользоваться богатством, им предоставленным по милости Божией, если они не хотят развивать свои силы и предпочитают мрак свету.

- Как не хотят? - перебила его графиня Елена Зонненфельд, все время жадно его слушавшая. - Наверное, есть очень много людей, которые именно хотели бы, хотели бы всем своим существом; но для того, чтобы желание не было бесплодным, прежде всего необходимо иметь уверенность в том, что оно вообще может быть вполне исполнимо, что действительно существует в природе то, чего желают, чего хотят желать...

Граф Феникс так и впился в прелестную женщину своим огненным взглядом. Он уже давно ее заметил, да не только заметил, но и "наметил". Он сразу почувствовал, что эта красавица по своей организации принадлежит именно к таким существам, посредством которых может проявиться его сила. Эта красавица была ему нужна, и теперь он убеждался, что тайные, ему одному ведомые усилия, употребляемые им во все время обеда для того, чтобы привлечь ее к себе, не пропали даром.

- А вы, графиня, разве не имеете такой уверенности? - спросил он.

- Не решусь сказать, что имею... я не знаю... но, во всяком случае, я очень бы хотела иметь уверенность в том, что мы не слепые и глухие существа, по рукам и по ногам связанные временем и пространством.

Граф Феникс, не отрываясь, глядел ей в глаза, и она чувствовала невольную, внутреннюю дрожь от этого взгляда. Этот человек ей не нравился, но против воли она испытывала на себе его влияние. Она вообще вот уже несколько минут находилась в очень странном, тяжелом состоянии как человек, начинающий сильно расхварываться.

- Вы говорите, что мы слепы, что мы связаны временем и пространством, - сказал граф Феникс, - а хотите, я докажу вам, что вы ошибаетесь, хотите, я докажу вам и всем, здесь собравшимся, что вы можете видеть, не стесняясь пространством, можете, оставаясь здесь, среди нас, видеть то, что происходит далеко, где угодно, в каком хотите месте земного шара.

Все затаили дыхание и замерли, будто окаменели. Огромная, великолепная столовая графа Сомонова изобразила вдруг собою пиршественный зал заколдованного замка, куда еще не проник царевич, поцелуй которого должен пробудить от волшебного сна прекрасную царевну и все ее сонное царство.

- Конечно... хочу... - как бы в полузабытьи прошептала Елена.

- Так я вам докажу это...

Граф Феникс обвел присутствующих спокойным и в то же время властным взглядом. Он бросил вызов и принимал на себя всю ответственность.

Столовая оживилась. Обед был окончен. Общество спешило перейти в гостиную, где должен был произойти опыт. Какой опыт? Что это такое будет? - все находились в крайне возбужденном состоянии. Граф Феникс подошел к Елене и предложил ей руку. Она машинально повиновалась, именно повиновалась - она едва держалась на ногах, в голове ее был туман, мысли ее путались. Она искала глазами кого-то, искала чьей-то помощи...

Но тот, кого она почти бессознательно искала, был от нее далеко.

Захарьев-Овинов пропускал мимо себя всех, не трогаясь с места. Его бледное лицо оставалось холодным и безучастным.

V.

Огромные окна гостиной были скрыты за спущенными тяжелыми занавесями. Обширная комната с высоким лепным потолком вся сияла светом от зажженной люстры и многочисленных канделябров.

Взгляды всех сосредоточились на графе Фениксе и Елене. Таинственный иностранец подвел свою даму к креслу посреди комнаты, попросил ее сесть и затем обратился к хозяину, оказавшемуся возле него:

- Прошу вас приказать подать сюда низенький столик и графин с водою - больше ничего не надо.

Это требование тотчас же было исполнено.

Все с изумлением, а некоторые и с замиранием сердца ждали, что же будет дальше, какую роль может играть графин с водою? Елена сидела неподвижно, с застывшим взглядом широко раскрытых,

почти остановившихся глаз; руки ее были бессильно опущены, только грудь быстро и порывисто дышала.

- Прошу вас смотреть пристально в этот графин на воду! - громко сказал граф Феникс. - Задумайте что-нибудь такое, что вы желали бы увидеть, или, вернее, подумайте о ком-нибудь, кого вы желали бы видеть. Остановитесь на этой мысли, забудьте все остальное и смотрите на воду.

Сказав это, он обошел кресло, на котором она сидела, поднял руки и слегка коснулся ими плеч ее. Она сделала порывистое движение, отстраняясь, негодуя на это его дерзкое прикосновение. Но он уже был перед нею и пристально, не мигая впился в нее своими черными, как уголь, и в то же время блестящими глазами.

Она почувствовала устремленный на нее его взгляд. Она ни за что не хотела поднять глаза и встретиться с этим взглядом, неприятным для нее, просто мучительным, бросавшим ее то в жар, то в холод. А между тем против воли она все же подняла глаза и на него взглянула - взглянула и почувствовала, что она во власти этого человека.

Но ведь она не хочет этого! Какое безумие! Что это с нею? Откуда в ней такая слабость, такое отсутствие воли и что это за глупый опыт - смотреть на воду, что она может увидеть в этой воде? Шарлатан, фокусник, обманщик! Он дурачит всех. И она поддалась... и она поставила себя в такое смешное и глупое положение! Все глядят на нее, все будут смеяться над нею, все... Нет, нет, она сейчас встанет и уйдет.

Но она не встала, не ушла. Она как зачарованная, бессильная и безвольная глядела в глаза стоявшего перед нею и владевшего теперь ею человека.

- Глядите на воду! - произнес он повелительным голосом.

Она послушно исполнила его приказание, стала пристально, не отрываясь, глядеть в графин с водою.

- Думайте о ком нибудь! - еще повелительнее, еще властнее потребовал он.

И в это же самое мгновение она стала думать о графе Зонненфельде.

Все общество мало-помалу сдвинулось к середине комнаты, окружило Елену и глядело на нее.

Наступила полная тишина, никто не шевелился.

Елена забыла все и всех, не помнила, где она, не замечала теперь, что на нее обращено более полсотни взглядов, только думала о Зонненфельде и глядела в графин с водою.

Так прошло три, четыре минуты. Вдруг Елена вздрогнула всем телом. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Странным, будто чужим голосом она крикнула:

- Вижу!

Она действительно видела. Теперь перед нею была не прозрачная вода, а ясно и отчетливо, как действительность, на которую глядит в уменьшительное стекло, вдруг обрисовалась комната, и она узнала эту комнату. То был кабинет ее бывшего мужа в Вене. Вот он сам, только уменьшенный до размеров марионетки. Он сидит за бюро и пишет, время от времени почесывая своей красной рукою кончик длинного, горбатого, покосившегося на сторону носа. Вот он обернулся и взглянул... и ей кажется, что этот крошечный граф Зонненфельд ее видит и глядит на нее своими бледными глазами. Он встал и прошелся по комнате...

И вдруг все исчезло. Она уже не думала о нем. Она внезапно вся наполнилась мыслью о другом человеке. Человек этот близко от нее, в той же гостиной графа Сомонова, где и она. Но она ведь не помнит, где она, и совсем забыла, что он здесь, так близко. Она только думает о нем... Снова гладкая, неподвижная поверхность воды начинает тускнеть, а потом вдруг загорается каким-то розовым светом, и из этого розового света выделяется что-то... Яснее и яснее... комната, только это не кабинет в Вене... Это комната, ей неиз-

вестная. Она никогда не знала и не знает такой комнаты. Комната небольшая и просто убранная: большой стол, на столе чернильница, свечи под абажуром, большая открытая мозаичная шкатулка, наполненная бумагами. Дальше - широкий диван, несколько тяжелых кресел, покрытых темной кожаной обивкой... Он, тот, о ком она думает, сидит перед столом и будто ждет кого-то. Да, она чувствует, понимает, что он ждет. И вот дверь тихо отворяется... перед нею женщина. Она вглядывается в эту женщину. Она как будто где-то, мельком видела это прелестное юное лицо, эти ясные глаза, эти чудные белокурые волосы... Она наверное видела где-то эту женщину или, вернее, эту юную девушку... Но где? когда? Она того не может вспомнить. Она только невольно поражена ее красотою, особенно чистой, особенно ясной красотою.

Она с остановившимся сердцем ждет, что будет дальше... да, что будет дальше? Как она здесь, эта юная красавица? откуда она?.. кто она? зачем? для чего он так ждет ее?..

Вот он ее увидел... он встал ей навстречу... он идет к ней... они в объятиях друг друга!..

Елена слабо вскрикнула и отшатнулась от графина, в изнеможении склонила голову на спинку кресла. Она закрыла глаза, но тотчас же повелительный голос графа Феникса заставил ее очнуться.

- Что же, графиня, убедились ли вы в том, что можно видеть, не стесняясь ни пространством, ни временем?

Но она ничего ему не ответила. Она не могла прийти в себя. Сердце ее ныло мучительной, тяжкой тоскою, и она чувствовала, как в этом тоскующем сердце поднимается еще неведомое ей и непонятное, невыносимо мучительное, острое и жгучее ощущение.

- Графиня, успокойтесь! - между тем говорил граф Феникс. - У меня не было в расчете пугать

вас и смущать. Я только хотел доказать вам истину моих слов...

- Быть может, вы и доказали это графине, но согласитесь, что нам пока еще ничего не доказано...

Граф Феникс обернулся и взглянул на говорившего это. Перед ним стоял князь Щенятев, и его комичное лицо с маленьким носиком и быстро мигающими глазами выражало смесь любезности и ехидства.

- А между тем мы чересчур все заинтересованы, - продолжал князь Щенятев, - будьте так любезны, граф, произведите какой-нибудь опыт, который бы убедил всех нас, пока еще не верующих, но очень желающих уверовать... Отдаю себя вам во власть, делайте со мною, что хотите, распоряжайтесь мною как угодно... Я готов принять все страдания ради общего блага.

Граф Феникс улыбнулся.

- Ваше замечание основательно, - сказал он, - но ведь вы не дали мне докончить... Во всяком случае, вас я беспокоить не стану...

Он не досказал своей фразы, и в то же самое мгновение князь Щенятев, сам не зная как и почему, вдруг отскочил в сторону и замолчал.

- Глядите опять в воду! - приказал граф Феникс, обращаясь к Елене.

Без всяких рассуждений, без всяких мыслей, подавляемая своим тоскливым и мучительным ощущением, она исполнила его приказание.

- Глядите и говорите громко все, что вы видите.

Снова все замерли в комнате. Прошла минута, другая.

- Теперь вы видите! - своим громким, повелительным голосом объявил он. - Что вы видите?

- Дорога... - глухо произнесла она.

- Глядите пристальнее... глядите!

- Экипаж... карета шестериком мчится...

- Кто в карете, кто? Глядите!

Она, видимо, вглядывалась, старалась разглядеть, кто в карете.

- Есть в ней кто-нибудь?

- Да... вижу... кто-то...

- Мужчина или женщина?

- Мужчина... один...

- Знаете вы его или нет?

- Погодите... вот теперь вижу... да, я его знаю... это князь Потемкин...

Между присутствовавшими произошло движение.

- Куда же он едет? - продолжал спрашивать граф Феникс. - Разглядите дорогу.

- Он едет... едет сюда... он близко... очень близко...

- Глядите...

- Карета поворачивает... карета въезжает... вот князь выходит... вышел...

В это время двери гостиной растворились, и громкий голос доложил:

- Его светлость князь Григорий Александрович Потемкин.

Некоторые дамы вскрикнули, все собравшиеся засуетились. Граф Сомонов поспешил к дверям. Елена была почти без чувств, в полном изнеможении. Граф Феникс глядел на всех торжествующим взглядом.

В дверях показалась величественная, могучая фигура Потемкина.

- Граф, - говорил он, обращаясь к хозяину, - не думал быть у тебя сегодня... Часа три как приехал из Царского, думал отдохнуть, да скучно стало, вспомнил, что у тебя сегодня представление какое-то... фокусы, что ли... ну и поехал. Что же такое у тебя происходит?

Эти громкие слова все слышали. Никому, конечно, не могло прийти в голову, что тут заговор и что светлейший в заговоре. Впечатление было полное.

VI.

Елена пришла в себя. Она уже не была больше во власти графа Феникса. Он освободил ее, даже почти забыл. Теперь все его внимание, все его мысли были обращены на Потемкина. Он видел его в первый раз и внимательно в него вглядывался, старался сразу разобрать его, понять, понять так, чтобы не было ошибки.

Он и приехал в Петербург главным образом для Потемкина. Потемкин играл первую роль в его широких планах.

В то время, как Сомонов рассказывал светлейшему в чем дело, граф Феникс был весь настороже, готовясь выступить на сцену и произвести на могущественного русского вельможу должное впечатление. Эта минута подошла; теперь ему нужна Елена. Она подготовлена в достаточной мере. Она поможет ему достигнуть сегодня всего, чего можно достигнуть на первый раз.

- Но где же она?

Он ищет ее глазами. Ее нет. Она скрылась. Но она не может быть еще далеко. Она не имела еще времени выйти из дома, уехать. Он сейчас вернет ее, вернет, не трогаясь с места. Сильная магнетическая связь установлена между ним и ею.

Он мысленно, известным ему способом, призывает ее, тянет ее к себе незримыми нитями, которыми он ее опутал.

Но ее нет. Он глядит в ту дверь, откуда она невольно и послушно должна появиться. А ее все нет! И ему внезапно становится как-то неловко, тяжело...

Он чувствует, что даром тратит нервную силу, чувствует, что происходит нечто странное, неожиданное, непонятное. Он парализован, обессилен. Но если бы он был внимательнее, если бы менее рассчитывал на свою силу, не думал исключительно о себе, Потемкине и Елене, он заметил бы, что за ним уже давно следит взгляд светлых, блестящих

глаз, что сила этого взгляда сразу оборвала все нити, какими он связал с собою Елену.

Да, она свободна, но ей и тоскливо, и неловко. Голова ее тяжела. Она не может больше оставаться в этой гостиной. Она понимает, что сейчас все должны будут снова обратиться к ней, что ей придется выдерживать допрос Потемкина. Она спешит воспользоваться предоставленной ей, быть может, на одно только мгновение свободой. Минута, другая - и она уже на крыльце... ее карета подана... она приказывает как можно скорее ехать домой.

Она дома, то есть у отца, в своих прежних девических комнатах. Какое счастье, что она вырвалась, что успела вырваться, что не чувствует здесь над собой власти этого непонятного, ужасного человека. Кто он? Но зачем ей о нем думать, надо скорее забыть о нем, надо устроить так, чтобы никто с ним больше не встречался. Она даже вздрогнула всем телом, представив себе его властный, порабощающий взгляд, его дерзкое прикосновение к ее обнаженным, покрытым только легким газом плечам. Она почти ненавидела этого человека, но к ее ненависти и отвращению примешивался страх, какой-то панический страх, от которого трепет проходил по всем членам.

А тот, другой, тоже таинственный человек?.. Ее сердце вдруг заныло тоской и болью. Но в это время к ней вошел ее отец. Старый князь Калатаров - теперь никто иначе и не называл его, как старым князем, - носил на себе все признаки преждевременной дряхлости. Спина его сгорбилась, голова будто не совсем твердо держалась на плечах и то и дело покачивалась то на одну, то на другую сторону. Он часто среди разговора вдруг замолкал и задумывался, или, вернее, просто совсем переставал думать: нижняя губа его отвисла, глаза начали бессмысленно глядеть в одну точку, по большей части прямо на лицо собеседника. Он ничего не слышал и не понимал. Через несколько мгновений он приходил в себя и всячески старался

скрыть свое забытье и рассеянность. Он, очевидно, сознавал это в себе и этим мучился.

Вообще он в последний год начинал избегать людей и, всю жизнь не умевший и часу провести в одиночестве, теперь по целым дням не выходил из дому, никого не принимая, кроме лиц самых близких. Еще не так давно считавшийся первым щеголем в Петербурге, теперь князь кутался в халат и с утра до вечера шлепал по комнатам туфлями.

Иногда в нем замечалось волнение, тревога, и никто никак не мог от него добиться их причины. А между тем причина была, хотя и очень странная: старого князя преследовали тени, ложившиеся от предметов. Повернет он кресло, сядет в него - и вдруг его поразит: отчего это тень от кресла и от него самого такая длинная и ложится именно в такую-то сторону? Вскочит он с кресла и начнет его всячески поворачивать. А тут заметит тень от стола или от иного предмета и совсем растеряется. Мучают его тени по нескольку часов, возится он с ними, всю мебель перестановит. Наконец выбьется из сил и заснет, а через день-другой опять начинают преследовать его тени - просто чертовщина! Он так и считал это за дьявольское наваждение и принимался за молитву. Но и во время молитвы иной раз бросалась ему в глаза тень от лампадки перед иконой и повергала его в полное уныние...

Князь, войдя к дочери, поцеловал ее и сел против нее, запахивая полы своего халата.

- Что же это ты так рано, Ленушка? - спросил он. - Я чаю, у графа Александра Сергеевича народу много, веселье немалое... у него всегда весело да и разъезжаются поздненько... Чего ж это ты?

- Нездоровится что-то нынче, батюшка, - ответила Елена.

- Полно, Ленушка, какое там нездоровье! Да и не годится это тебе вовсе... Ты веселись хорошенько, да жениха себе присматривай... Долго-то так, сама знаешь, быть тебе не пристало.

- Почему же?

- Как почему?.. Все говорят в один голос, что тебе беспременно замуж выходить теперь, чем скорее, тем лучше... Одной тебе быть никак нельзя, никак нельзя - это верно... Только мужа себе выбирай здешнего, Ленушка, не оставляй меня, не уезжай...

- Не уеду, - машинально прошептала Елена.

- То-то ... а ежели нездоровится, так ты ляг, да и усни покрепче - сном все и пройдет... ну Христос с тобой, моя красавица...

У князя с внезапно наступившей старостью явилась и стариковская манера говорить и выражаться. Он стал будто совсем не тем человеком, каким был всю жизнь. И эта перемена в нем была до такой степени поразительна, что Елена, несмотря на всю свою рассеянность, с изумлением на него глядела и его слушала.

Он кряхтя поднялся с кресла, подошел к ней, набожно перекрестил ее, поцеловал в лоб, еще раз повторил: "Ляг, да и усни хорошенько" - и, шлепая туфлями, вышел.

Елена не последовала его совету - не легла и не уснула. Она долго, долго, не замечая времени, сидела, прислонив голову к мягкой спинке своего любимого кресла, расшитого искусной рукой ее покойной матери. Глубокие, прекрасные глаза ее глядели уныло и печально, все лицо побледнело и выражало страдание.

Она невольно думала о словах отца; слова эти навели ее на мысли, уже не новые, но никогда еще до сих пор не являвшиеся ей так ясно, просто и определенно.

Ведь вот она, наконец, добилась того, к чему так рвалась, чего так ждала. Она разведена с мужем; он ей чужой; она свободна. Еще давно ей казалось, что именно в этом и заключается все, что огромное счастье состоит для нее в избавлении от ненавистного ей, невыносимого человека.

Но теперь, когда граф Зонненфельд стал ей чужим, он уже не казался ей ненавистным и ужасным, теперь она не питала к нему никакого дурного чувства. В ее сердце не было ни злобы, ни упреков. Она сразу получила возможность судить прошлое безо всякого пристрастия. Была совершена и с той, и с другой стороны большая ошибка. За ошибку пришлось поплатиться, пришлось страдать... Но ведь и он пострадал, хоть и по своему, а все же пострадал. И ей даже стало жаль его... Она подумала тоже, что от нее зависело сократить страдание. Зачем она раньше не освободила и себя, и его? Но, нет, значит, так было надо, значит, именно так и должно было все статься...

Она свободна! Что же дальше? Она ясно видела теперь, что эта свобода не могла быть целью, что эта свобода не иное что, как только первое средство... к чему? К счастью. А счастья нет! Никогда еще не сознавала она так мучительно ясно, что счастья нет, не было и что без него нельзя ей жить.

Прошел час, прошел другой, а она все сидела неподвижно, глядя в пространство широко раскрытыми глазами, из которых одна за другою скатывались тихие слезы, и все думала о том, что счастья нет.

Но вот мало-помалу что-то странное начинало твориться с нею. На нее находило забытье, тихое и сладкое. Будто какое-то жизненно теплое дуновение носилось над нею, и всю ее охватывало, и уносило куда-то. Глаза ее заискрились, последняя краска сбежала со щек ее. Неподвижная, прекрасная, застывшая, она, очевидно, заснула, но это был странный сон, почти сон смерти...

В это время Захарьев-Овинов сидел перед своим рабочим столом, среди обстановки той комнаты, которую Елена так ясно видела в графине с водою. Две восковых свечи горели на столе под абажуром, и их слабый свет почти пропадал и

терялся: прямо в окно глядела полная, яркая луна, наполняя всю комнату серебром и голубыми тенями.

Отблеск луны падал на лицо Захарьева-Овинова и превращал его в чудное мраморное изваяние. "Новый князь" думал о том, чему только что был свидетелем. Он думал об опыте, произведенном Калиостро над Еленой, и мысленно обращался к "погибшему брату", будто говорил с ним:

"Теперь я знаю все твои силы и все твои средства, знаю, какое громадное, несметное богатство ты мог заключить в себе... Но ты собрал только часть его и безумно, самоубийственно его расточаешь. Ты погиб для вечности, и на тебя ляжет тягость такой ответственности, какой никогда не снести и не выдержать человеку! Тебя окружил, тобой овладел мрак и влечет тебя к вечной гибели... Ты был зрячим, но ослеп и не видишь черную пропасть под своими ногами; ты думаешь, что стоишь на твердой почве и не чувствуешь, с какой отчаянной быстротой стремишься вниз, в самую глубину бездны... Мне не спасти тебя, и я за тебя не отвечаю, но я не дам тебе губить тех, кто может подняться к свету и не ослепнуть от его сияния..."

"Да, ты, так же как и я, сразу увидел и понял, какие чудные задатки таятся в этой прекрасной женщине! Ты поспешил наложить на нее свою руку. Но для чего? Для того, чтобы безжалостно погубить ее, для того, чтоб воспользоваться ею, ее свежими скрытыми силами для своих жалких, земных целей... И ты не почувствовал, безумный слепец, что на ней уже лежит печать... До тебя я запечатлел ее и поведу к спасению!..."

"Елена! - прошептал Захарьев-Овинов. - Пришло время... Я хочу лучше узнать тебя... хочу тебя видеть и говорить с тобою..."

Он поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился. Глаза его сверкнули.

"Елена! Я хочу тебя видеть! Приди!" - в глубокой ночной тишине прозвучал его голос.

Мгновения неслись, и вот перед ним в полосе лунного света появилось как бы легкое, белое облако. Оно быстро сгущалось... еще миг - и Елена стояла перед ним, вся охваченная и пронизанная лучом луны, вся сияющая ослепительной, неземной красотою. Да, это было ее лицо, живое лицо, озаренное чарующей, ласкающей улыбкой. Ее глубокие глаза с восторгом на него глядели. Это было ее живое лицо, а между тем сквозь очертания ее полной достоинства и грации фигуры, сквозь складки ее белой одежды то яснее, то туманнее просвечивали находившиеся за нею предметы. Это было непонятное существо - оживленная, одухотворенная греза...

Захарьев-Овинов оперся о стол, спокойно и торжественно глядел на нее, невольно любуясь ею.

- Елена, друг мой, видишь ли ты меня, слышишь ли? - произнес он.

- Вижу... слышу... - зазвучал в тишине слабый, но внятный голос.

- Быть может, ты недовольна, что я усыпил тебя и призвал тебя?

- Я... недовольна? О Боже мой, я так счастлива!

По лицу ее разлилась блаженная улыбка.

- Тот, кто заставил тебя видеть в воде, смутил он твою душу? Ты его боишься?

- Да, он смутил мою душу... да, я боюсь его.

- Не бойся, он не властен над тобою... я уничтожил его силу...

-Ты! Да, это ты! Милый, о если б знал ты, как я люблю тебя!

Неслышно, как легкое дуновение, она двинулась к нему, простирая свои бледные, почти прозрачные руки и глядя на него с обожанием, с восторгом, с беззаветной любовью.

Но он отступил от нее. За мгновение перед тем спокойное лицо его исказилось как бы страданием.

- Ты меня... любишь? Ты "так" меня любишь! Несчастная! - в ужасе прошептал он. - Уйди!

Ее руки опустились. На глазах ее блеснули сле-зы. Глубокий, тяжкий вздох пронесся и замер. Она хотела сказать что-то и не могла.

Она таяла, испарялась, очертания ее лица, ее фигуры сливались с лунным светом, и слились с ним, и бесследно исчезли.

Захарьев-Овинов с отчаянием сжал свою горящую голову руками.

"Она меня любит! Любит меня страстной, земной, погибельной любовью!.. А я? А я? Разве я не люблю ее? Люблю как презренный, жалкий раб плоти, люблю всем сердцем, всей душою, люблю каждой каплей моей крови!.. Так вот что это значит, вот зачем я здесь!.. Так вот оно, мое последнее испытание!.."

VII.

Но что же произошло в гостиной Сомонова после исчезновения Елены?

Граф Феникс оставался несколько мгновений пораженный. Убедившись в необыкновенной чувствительности Елены, в самых счастливых для него и необходимых ему свойствах как телесной, так и духовной ее организации, он рассчитывал произвести в этот вечер целый ряд самых интересных опытов. Эта исключительно созданная молодая женщина, так быстро и искусно им подготовленная и настроенная, была в его руках послушным орудием, которым опытный мастер мог распоряжаться по своей воле. Его деятельная мысль, его горячее воображение создали ему так сказать, целую программу представления, и он должен был непременно очаровать этим представлением всех, а прежде всего очаровать Потемкина.

И вот этой послушной, гибкой в его руках, как воск, завороженной им пленницы нет. Ее отсутствие спутывает все расчеты, изменяет программу.

Однако не это обстоятельство смущало его и поражало. Ведь еще несколько часов назад он не знал Елены, не думал о ней. Она явилась для него счастливой неожиданностью и только. Программа с ее участием была создана внезапно, по вдохновению. Значит, была другая программа. Придется вернуться к этой прежней программе. Ему будет несколько труднее. Может быть, впечатление окажется менее сильным - вот и все. А потом он так или иначе наверстает потерянное...

Но она исчезла! Какая-то неведомая сила разрушила его силу. Он знал, что нужно нечто совсем исключительное, чтобы эта связь порвалась вопреки его воле. Одно только это обстоятельство и поражало его, смущало, лишало на время свойственного ему самообладания и спокойствия.

Однако он быстро овладел собою и с полным достоинством и сознанием своей силы встретил обратившийся к нему взгляд Потемкина.

- Так вот твой фокусник? Ну, покажи мне его, посмотрим, что за птица, - говорил Потемкин Сомонову, - дай поглядеть, проведет ли он меня... а хотелось бы, чтоб провел - смерть скучно!..

Потемкин скучал весь этот день, с самого утра. Он уже и так встал левой ногой. Все его сердило, все казалось ему пошлым, глупым, надоедливым, совсем бессмысленным. Только во время долгой утренней беседы с императрицей он несколько оживился.

Он представлял ей широкие, создавшиеся в его мыслях и воображении, по мере того как он их излагал, планы относительно устройства Новороссии.

Он ушел внезапно прозревшим, озаренным оком в глубь будущих времен и горячо, красноречиво пророчествовал русской царице о громадном значении для России нового, создаваемого им края.

Он увлек за собой и царицу. Как и всегда, спокойная, рассудительная, боявшаяся увлечений, она поддалась обаянию этого дышащего огнем человека и прониклась верой в его пророчества.

Она одобрила все его решения, планы и уверенной, твердой рукой начертала на поднесенных им бумагах: "Екатерина".

Он был оживлен и доволен, но едва вышел из ее кабинета, как его жар, вдохновение, оживление мгновенно исчезли. Он снова почувствовал себя охваченным атмосферой лжи, фальши, интриг и лести. Омерзение и скука овладели его душой. Давно надоевшая, давно знакомая, противная картина! И главное - давно знакомая! Ничего в ней нового, неожиданного, оригинального! Ведь он наизусть знает всех этих людей, насквозь их видит и презирает их глубоко, до отвращения... Придворные женщины! - но ведь он их тоже слишком хорошо знает, и все они, несмотря на красоту свою и молодость, ему приелись, как однообразное, ежедневно подаваемое блюдо. Бывало, и еще не так давно, красота и молодость останавливали на себе его внимание, заставляли забывать обо всем ином, пленяли сами собою, волновали кровь, сулили минуты забвения и восторга. Теперь уже никто и ничего не сулит ему. Он глядит на этих обдуманно, искусно наряженных, кокетливых красавиц, из которых каждая готова расточать перед ним свои улыбки, из которых ни одна не решится играть перед ним роль неприступной крепости, - он глядит и видит в них только недостатки, и его пытливый, привычный взгляд сразу подмечает в них именно то, что они всеми мерами стараются скрыть...

Потемкин рассеян. Он смотрит исподлобья, как нахмурившаяся туча, он невежлив, даже груб. Ему душно, дышать нечем...

Он уехал. А скука преследует, а тоска сосет. Хоть бы найти что-нибудь, что-нибудь совсем глу-

пое, дикое, даже безобразное, но только новое, незнакомое, неожиданное - лишь бы развлечься!

Он здесь, и ему как будто обещают что-то. Сомонов в волнении, восторженно передает ему об удивительном опыте: под влиянием иностранца бывшая графиня Зонненфельд объявила здесь, сейчас, всем, о его приезде... Да, конечно, она не могла знать, что он приедет. Но ведь это одна только случайность, да и, наконец, что тут интересного? Что тут для него интересного? Ну, угадала и все тут... К тому же это было без него: он ничего не видел и не слышал...

Разряженный в пух и прах, осыпанный дорогими каменьями человек перед ним раскланивается. Сомонов представляет ему заезжего фокусника.

"Граф Феникс - черт знает что такое!.."

Потемкин взглянул, увидел красивое, энергичное лицо, живые и проницательные черные глаза, смело на него глядевшие. Он небрежно кивнул головою на почтительный поклон иностранца, презрительно усмехнулся и подумал:

"Однако, должно быть, шельма!"

Граф Феникс нисколько не смутился, хотя смысл усмешки Потемкина и даже сущность его мысли были ему ясны. Своим мелодическим голосом, в красивых фразах он выразил русскому вельможе, что гордится честью быть ему представленным и что сделает все для того, чтобы не на словах, а на деле доказать ему свое глубокое уважение.

Потемкин не находил нужным церемониться и на любезность отвечать любезностью. Какое ему было дело до "этой шельмы" и до мнения, какое о нем составит себе "эта шельма". Ему было скучно. Если ему покажут что-нибудь интересное - отлично! А если нет, он и уедет скучать где-нибудь в ином месте...

Он почти так и выразил это прямо, потребовав, чтобы ему показали что-нибудь интересное. Тогда

граф Феникс приступил к осуществлению своей первоначальной программы.

- Ваша светлость, - сказал он Потемкину, - вы напрасно принимаете меня за фокусника или что-нибудь в этом роде, вы очень скоро убедитесь в своей ошибке, за которую я во всяком случае не претендую. Вы желаете увидеть нечто выходящее из ряду привычных, ежедневных явлений. Если захотите, я вам покажу очень много такого, но во всем необходима постепенность, последовательность: не я начну показывать, а моя жена.

- Ваша жена... графиня Феникс... где же она? - произнес Потемкин с такой улыбкой, которая могла бы уничтожить всякого.

Но графа Феникса она нисколько не уничтожила. Изящным и полным достоинства жестом он указал Потемкину на Лоренцу, сидевшую неподалеку и спокойно глядевшую на говоривших.

Потемкин взглянул и увидел прелестную женщину. Он сразу, во мгновение ока, сделал ей надлежащую оценку. Она была совсем в его вкусе. Он именно любил подобную неправильную, капризную красоту. Он быстро подошел к Лоренце... еще минута - и он уже сидел рядом с нею. Выражение скуки и горделивого презрения сбежало с лица его...

Она щебетала ему что-то на своем странном, смешном и милом французском языке, а он внимательно слушал. Он любезно, покровительственно, ласково улыбался ей. Хорошенькая волшебница заколдовывала его с каждой минутой все больше и больше.

- Что же, ваша светлость, угодно вам, чтобы моя жена показала что-нибудь интересное и достойное вашего внимания? - спросил граф Феникс.

- Она уже мне показала самое интересное и прелестное - показала себя, - проговорил Потемкин, не отрываясь от Лоренцы.

Граф Феникс поклонился, благодаря за комплименты. И теперь уже на его губах мелькнула насмешливая и презрительная улыбка.

- Вы очень любезны, князь, - засмеялась Лоренца, в то время как бархатные глаза ее загадочно и странно глядели на "светлейшего", - но если мой муж что-нибудь обещает, то он выполняет обещанное, а когда ему нужна моя помощь, я ему помогаю... Друг мой, - обратилась она к мужу, - если тебе угодно, ты можешь приступить к опыту.

Слово "опыт" мигом облетело гостиную. Как перед тем Елена, так теперь Лоренца сделалась средоточением всех взглядов.

Произошло нечто внезапное. Граф Феникс наклонился к жене, положил ей руки на плечи. Затем Потемкин и все, стоявшие близко, расслышали как он тихо, но повелительно приказал ей: "Спи!" Он прижал ей глаза указательными пальцами, потом открыл их снова и отступил.

Лоренца будто умерла. Глаза ее были открыты, но взгляд их сделался очень странным. Муж подошел к ней снова, приподнял ее с кресла. Она оставалась неподвижной, как статуя, окаменевшей. Она произвела такое особенное и жуткое впечатление и в то же время была как-то так жалка, что многим стало тяжело и неприятно.

Граф Феникс почувствовал общее впечатление, быстро посадил жену в кресло и закрыл ей глаза. Он обратился к Потемкину, Сомонову и всем окружавшим:

- Прошу вас, - сказал он, - на мгновение оставить ее и следовать за мною.

Все прошли в соседнюю комнату, за исключением двух дам, как бы прикованных к месту от изумления и не сводивших глаз с Лоренцы, да Захарьева-Овинова, неподвижно сидевшего в самом дальнем и менее освещенном углу гостиной. Он с самого появления Потемкина оставался в стороне, и никто не обращал на него внимания.

Между тем граф Феникс запер за собою дверь и сказал:

- Мы оставили ее спящей, но это особенный сон, во время которого у человека являются такие способности, каких он во время бодрствования не имеет. Вы убедитесь, что жена моя, хотя, по-видимому, и спит, но все видит с закрытыми глазами, что она может читать даже мысли человека.

- Будто бы? - воскликнул Потемкин.

- Так как вы первый громко выразили сомнение в словах моих, ваша светлость, то вас я и попрошу убедиться. Будьте так добры, придумайте что-нибудь, решите, что должна сделать моя жена, и она угадает ваши мысли, исполнит все, что ей будет мысленно приказано вами. Что вам угодно приказать ей?

- Это уж мое дело! - усмехнулся Потемкин.

- Да, но в таком случае никто кроме вас не примет участия в опыте и вообще, как мне кажется, опыт будет менее убедителен. Предупреждаю вас, что я не пойду за вами, я останусь здесь, и пусть кто-нибудь сторожит меня.

Потемкин сдался.

- Хорошо! - сказал он. - Решим так: графиня Феникс прежде всего должна нам что-нибудь пропеть, у нее, наверное, прелестный голос...

- Вы будете судить об этом, она вам споет...

- Я вовсе не желаю утруждать ее, а потому пусть она, окончив пение, выйдет из гостиной на балкон, сорвет какой-нибудь цветок и даст его мне... Видите... все это очень нетрудно. Только вы, господин чародей, оставайтесь здесь.

- Не только останусь здесь, но разрешаю связать меня и сторожить хоть целому полку - я не шевельнусь... Идите, ваша светлость, подойдите к ней и спросите, видит ли она вас и ваши мысли? Потом дуньте ей в лицо. Она очнется и все исполнит.

- Это интересно, - сказал Потемкин, - государи мои, пойдемте, пусть кто-нибудь останется с чародеем.

Однако никому не хотелось оставаться. Но Потемкин взглянул на всех, нахмурив брови, и осталось несколько человек. Затем все вышли, заперев за собою двери. Потемкин подошел к Лоренце и, любуясь ее прелестным, застывшим лицом, сказал ей:

- Belle comtesse, me voyes vous? Видите ли вы меня?

- Да, я вас вижу! - прошептали ее побледневшие губы.

Тогда он подумал о том, что она должна сделать и спросил:

- Видите ли вы мои мысли?

- Вижу...

Он дунул ей в лицо, она сделала движение, открыла глаза и несколько мгновений с изумлением глядела вокруг себя. Наконец она, очевидно, совсем очнулась, поднялась с кресла, хотела идти, но внезапно остановилась и запела.

Голос у нее был не сильный, но звучный и нежный. Она пела старинную итальянскую баркароллу. Все слушали ее с наслаждением. Потемкин стоял перед ней выпрямившись во весь свой могучий рост и любовался ею.

Баркаролла окончена. Последний звук замер. Лоренца взялась за голову, будто вспомнила что-то, затем быстро направилась к балкону, отворила стеклянную дверь и через несколько мгновений вернулась с цветком в руке.

Она подошла к Потемкину, прелестно улыбнулась, заглянула ему в глаза своими соблазнительными глазками и подала цветок. Он поцеловал ее маленькую, почти детскую руку...

В гостиной началось шумное движение. Все изумлялись, восхищались, почти все дамы были просто в ужасе. Потемкин задумался, отошел от Лоренцы и грузно опустился в кресло.

"Да, это интересно!.. Это Бог знает что такое!" - растерянно прошептал он сам с собою. В то же мгновение что-то заставило его обернуться - и он увидел рядом с собою Захарьева-Овинова. Он невольно вздрогнул.

- Князь! - воскликнул он, - ты здесь?

- Минута близка! - произнес спокойный, так памятный ему голос.

Потемкин хотел сказать что-то, но будто сразу не мог сообразить. Глаза его опустились. Когда он снова их поднял, Захарьева-Овинова уже не было возле него. Его уже не было и в гостиной.

VIII.

Программа удалась блистательно. Граф Феникс одержал полную победу. Не только общество было заинтересовано в высшей степени, но и сам Потемкин позабыл свою скуку.

Он уже не называл мысленно иностранца "шельмой" . Он не называл его никак, но с видимым интересом и оживлением задавал ему вопросы и беседовал с ним, время от времени поглядывая на прекрасную Лоренцу, окруженную теперь дамами, несколько как бы томную и уставшую, но от этой томности и усталости только еще похорошевшую.

Граф Феникс говорил, по-видимому, с одним Потемкиным, однако настолько громко, что и все могли слышать слова его. Он говорил спокойным, самоуверенным тоном; красивое лицо его дышало особенным оживлением и становилось все более и более привлекательным.

О чем он говорил?

Собственно ни о чем и об очень многом. Если бы написать слова его, то это оказались бы только отрывки, намеки какие-то, полуоткровения. Он

намекал на свои таинственные знания, которым, казалось, нет и предела, на свое полное тайн и исключительного значения прошлое. Хладнокровный и спокойный слушатель из этих слов должен был бы вывести такое заключение, что этот граф Феникс или полупомешанный, или шарлатан-обманщик, или существо, хотя и в человеческом образе, но стоящее превыше людей.

На чем же, однако, остановиться, под какую из этих трех категорий подвести его? Полупомешанный? Но в нем заметна необыкновенно тонкая наблюдательность. Он поразительно владеет собою. В среде, окружающей его, немало людей и спокойных, и разумных. И, наконец, первый его слушатель - светлейший князь Потемкин - не таков, чтобы дать себя одурачить полупомешанному. Одним словом, если он и помешан, то таким помешательством, какое увлекает за собою людей здравомыслящих.

Шарлатан-обманщик? Так на него смотрели здесь почти все и прежде всего Потемкин. Но ведь он сумел победить это мнение. Он показал с помощью двух женщин такие чудеса, какие невозможно было подделать никаким образом. Что же, неужели он, действительно, великий чародей, победитель природы? ..

Вопрос оставался открытым. Час был уже поздний, и гости разъезжались, унося с собою смутное, неопределенное, но сильное впечатление, уезжали как бы опьяненные, отуманенные.

Наконец в гостиной Сомонова осталось всего несколько человек. Потемкин все сидел, развалясь на кресле. На лице его блуждало задумчивое, неопределенное выражение. Вот он обратился к графу Фениксу:

- То, что вы и ваша прекрасная жена показали нам, и то, что вы говорите, - очень интересно, но подумали ли вы о том, где вы все это показали и кому показали?

Граф Феникс с улыбкой глядел ему прямо в глаза.

- О чем же тут думать? - проговорил он.

- А вот о чем, милостивый государь, ведь мы варвары, а потому опасны. Мы заинтересованы, и не можем остановиться до тех пор, пока не почтем себя удовлетворенными. Полагаете ли вы, что мы дозволим вам уйти, исчезнуть, только подразнив наше любопытство, только смутив нас?

- Нет, я этого не полагаю, и если вы вспомните, ваша светлость, то я начал с того, что я могу показать вам очень много интересного и что хочу не на словах, а на деле доказать вам мое глубокое уважение к вашей особе. Я готов исполнить все ваши требования, обещаю ничего не скрывать от вас. Но, согласитесь, не могу же я удовлетворить все ваши желания в один час, в один вечер, сразу? К тому же спросите нашего достоуважаемого хозяина, о чем я говорил с ним сегодня.

- О чем он говорил с тобою, граф? - спросил Потемкин Сомонова.

Тот, хотя и не особенно охотно, объяснил все относительно предположенного составления цепи.

Потемкин с интересом слушал.

- Ну, и что же, сделали вы ваш выбор? - обратился он к графу Фениксу.

- Выбор сделан, - спокойно ответил чародей. - Цепь образовалась естественно, само собою. Все, что было излишним, все, что мешало, - ушло. Здесь теперь в этой комнате собраны именно те люди, с которыми я могу и должен быть откровенен, которых могу и должен посвятить во многое. Желаете ли вы составить цепь, необходимую для проявления некоторых сил?

Конечно, все громко и поспешно изъявили свое желание.

- Здесь недостает только одного человека, - невольно и почти бессознательно воскликнул граф Сомонов, - одного звена в нашей цепи нет.

Глаза графа Феникса блеснули.

- Я уже заметил, - произнес он даже как бы несколько резким голосом, - что цепь должна была образоваться естественно и свободно. Никто никого не заставлял ни уезжать, ни оставаться. Остались именно те, кто должен войти в цепь, уехали только лица или бесполезные, или даже вредные для составления действительной или сильной цепи.

- Я здесь! - вдруг прозвучал какой-то странный голос.

Все невольно вздрогнули и обернулись. В дверях гостиной показалась фигура князя Захарьева-Овинова. Неспешно, спокойным шагом он приблизился к говорившим. Легкая краска вспыхнула на лице графа Феникса и исчезла. Легкая краска вспыхнула тоже и на лице Потемкина. Оба они почувствовали тревогу, оба встрепенулись и оба не отдали себе отчета в своих ощущениях.

- Итак, я в вашем распоряжении, господа, - говорил граф Феникс, - когда же мы соберемся, где соберемся?

- Зачем откладывать! - воскликнул Потемкин. - Надо ковать железо, пока оно горячо! Сегодня, действительно, поздно, всем пора спать, а завтра вечером мы соберемся, и, я думаю, здесь, у тебя, граф Александр Сергеевич, так что ли?

Сомонов был в восторге. Он именно боялся, что Потемкин велит всем приехать к нему и тогда выйдет гораздо хуже.

Граф Александр Сергеевич вовсе не рассчитывал на Потемкина. Он его пригласил только вследствие требования своего "божественного гостя". Потемкин в деле мог быть помехой, а между тем с ним ничего не поделаешь. Хорошо еще, что он в каком-то особенном, почти несвойственном состоянии духа... Пусть же будет все как должно быть, как предназначено...

Таким образом, было решено собраться на следующий вечер, и все разъехались. Впрочем, перед расставанием граф Феникс вдруг решил, что цепь

все же неполна и что следует пригласить графиню Зонненфельд.

Все согласились с этим, особенное же удовольствие выразил князь Щенятев. Он себя не помнил от радости, что попал в цепь.

IX.

На следующий вечер в назначенный час все были в сборе в кабинете Сомонова. Даже Потемкин не заставил себя ждать. Казалось, он был совсем новым человеком; от его привычной небрежности не осталось и следа. Он превратился в радушного простого человека, был приветлив и ласков со всеми и особенно ласков был с прекрасной Лоренцой.

Она казалась несколько рассеянной и задумчивой. Что касается графини Зонненфельд, то она, напротив того, была, очевидно, в каком-то возбужденном нервном состоянии.

Князь Захарьев-Овинов явился после всех уже в то время, когда всеобщее внимание было обращено на графа Феникса. При входе его Елена побледнела, но тотчас же справилась с собою. Даже рука ее не дрогнула, прикоснувшись к его руке.

Он отошел, и она продолжала беседовать поитальянски с Лоренцой.

Потемкин, так сказать, открыл заседание.

- Вот мы все и собрались! - воскликнул он. - И каждый из нас, конечно, страдает большим нетерпением. Господин чародей, для чего же вы собрали нас?

Граф Феникс сидел, задумчиво опустив голову. При этом обращении Потемкина он поднял на него свои черные, блестящие глаза и не то иронически, не то печально усмехнулся.

- Господин чародей! Какая насмешка в этом названии! - воскликнул он.

- Нисколько! - перебил его Потемкин. - Поверьте, что если бы я намерен был насмехаться,

то не приехал бы сегодня сюда. Со вчерашнего дня я много думал о том, чему мне пришлось быть свидетелем, и, назвав вас чародеем, я назвал вас так, как называю вас в своих мыслях. Для меня вы чародей и только. Да мы все ведь и не знаем, кто вы.

Лицо графа Феникса побледнело, и на этом красивом, энергичном лице мелькнула как бы печаль, как бы страдание.

- Князь, - сказал он, - какой вопрос вы мне задаете! Но ведь именно с этого вопроса и необходимо нам начать, отвечая на него, я только и могу доказать, как серьезно смотрю я на сегодняшнее наше собрание. Я в чужой стране, среди людей, еще вчера бывших мне совсем чуждыми. Но и я, и жена моя - мы хорошо знаем, что находимся здесь не случайно. Вы спрашиваете меня, кто я? А если мне самому перед собою трудно ответить на вопрос этот? Я могу говорить только искренно, без всяких стеснений. И эта искренность, я знаю это и чувствую, свяжет и соединит меня с моими новыми друзьями. Слушайте же мою исповедь и сами судите о том, кто я. Где я родился, кто были мои родители, я не помню. Этот вопрос, конечно, не мог не занимать меня, но я никогда не узнал ничего определенного. У меня есть только смутные предположения, настолько смутные, что нечего и говорить о них. Первые годы детства я провел в Медине, в Аравии. Там я был воспитан под именем Ашарата. Я жил во дворце муфти. Я хорошо помню, что со мною всегда было трое слуг: один белый и двое черных. При мне был также наставник-воспитатель по имени Альтотас. Я его помню всегда старым, но крепким и бодрым. Этот Альтотас был для меня самым близким человеком, и я всегда очень любил его. Позднее на все мои расспросы Альтотас говорил мне, что я остался сиротою с трехмесячного возраста и что мои родители были высокого и благородного происхождения и христиане. Но я никогда не мог от

него добиться, чтобы он назвал их имя, а также место моего рождения. Впрочем, по нескольким вырвавшимся у него намекам я могу предполагать, что родился на Мальте. Альтотас много заботился о моем образовании. Сам он был настоящий ученый и обладал самыми разносторонними и глубокими познаниями. У меня были хорошие способности, и я все очень быстро усваивал; но более всех наук мне были по сердцу физика, ботаника и медицина. В этих науках я делал быстрые успехи. И я, и Альтотас - мы носили мусульманскую одежду и для виду казались принадлежавшими к магометанской религии. Но это было только по внешности, а в действительности мы исповедывали истинную религию, начертанную в сердцах наших. Муфти часто навещал меня. Он относился ко мне с большой добротою и, кажется, очень уважал моего воспитателя. Альтотас научил меня большинству восточных языков. Он часто говорил мне о египетских пирамидах, об этих громадных подземельях, вырытых древними египтянами для того, чтобы сохранить там и оберегать от оскорбления времени сокровища человеческих знаний. Мне минуло двенадцать лет, когда Альтотас объявил мне, что мы должны покинуть Медину и начать наше путешествие. Мы прибыли в Мекку и остановились во дворце шерифа. Меня облекли в великолепные одежды, и на третий день после нашего прибытия мой воспитатель представил меня шерифу, который был со мною до крайности ласков. При виде этого властителя со мною произошло что-то особенное. Я почувствовал необыкновенное волнение и нежность; стал плакать от радости и заметил, что шериф едва удерживается от слез. Три года я оставался в Мекке, и почти не проходило дня, чтобы меня не звали к шерифу, и каждый день доказывал мне, что он все сильнее и сильнее меня любит. Но почему он меня так любит, почему я его так люблю - я не знал, и никто мне ничего не мог объяснить... Мне почему-то казалось, что негр, приставленный ко

мне и спавший со мною, много знает, и я стал от него допытываться. Но негр молчал и только однажды сказал мне, что если я должен буду покинуть Мекку, то мне следует опасаться огромных несчастий и что пуще всего я должен опасаться города Трапезунда.

Один раз ко мне вошел шериф. Я крайне был изумлен, потому что до тех пор этого никогда не бывало. Он обнял меня с особенной нежностью, сказал мне, что я всегда должен поклоняться Богу и что в таком случае в конце концов я буду счастлив и узнаю свою судьбу. Затем он горько заплакал, еще раз обнял, обливая меня своими слезами, и вышел, проговорив: "Прощай, несчастный сын природы!" В этот же день мы с Альтотасом покинули Мекку и отправились в Египет. Я посетил эти знаменитые пирамиды, которые в глазах поверхностного наблюдателя ничто иное, как громадная масса мрамора и гранита. Я ознакомился с хранителями и служителями различных храмов и вообще проник туда, куда закрыт доступ всякому путешественнику. Я многому научился, узнал и испытал многое, затем в сопровождении моего воспитателя я путешествовал три года по различным государствам Африки и Азии. В 1766 году я прибыл на остров Родос и затем скоро сел на корабль, отправлявшийся на Мальту. Там мы были встречены с большой предупредительностью, и великий магистр Пинто поместил меня и Альтотаса в своем дворце. Затем, по распоряжению великого магистра, ко мне был приставлен кавалер д'Аквино, из знаменитого рода князей Кароманика. Он сопровождал меня всюду. Тогда я в первый раз надел европейское платье и получил имя графа Калиостро. Альтотас тоже превратился в европейца, и я с изумлением увидел его в одежде духовного, с мальтийским крестом. Я уверен, что великий магистр Пинто знал о моем происхождении. Он часто говорил со мною о шерифе, но никогда не хотел ясно высказаться. Он был неизменно ласков со

мною и обещал мне быстрое повышение, если я решусь вступить в мальтийский орден. Однако я не был в силах принять его предложение - мне предстояла иная судьба... На Мальте я потерял моего единственного друга и наставника, мудрого Альтотаса. Перед нашей разлукой он умолял меня бояться Бога и любить ближних. Он уверял меня, что скоро я увижу плоды знаний, приобретенных мною с его помощью. И он был прав. Мне нечего было больше делать на Мальте, и в сопровождении кавалера д'Аквино я снова начал мои путешествия. Мы посетили Сицилию, острова Архипелага и наконец очутились в Неаполе, на родине моего спутника. Отсюда я уже один отправился в Рим.

Граф Феникс остановился и блестящими глазами обвел своих слушателей, внимательно следивших за его рассказом. Потемкин собирался сказать что-то, но "чародей" его предупредил:

- Я чувствую, - воскликнул он, - что всех вас занимает вопрос, откуда я брал средства для своей жизни и путешествий? Этот вопрос никогда не приходил мне в голову до моей поездки в Рим. Мне ни разу не пришлось подумать о деньгах. Альтотас, а после него кавалер д'Аквино были моими банкирами. Если мне требовались деньги, я обращался к ним и никогда не получал отказа. Когда я собрался в Рим, д'Аквино передал мне очень большую сумму, говоря, что эти деньги принадлежат мне, но решительно отказавшись сказать, каким образом и откуда. Он прибавил, передавая мне пакет на имя банкира Беллоне, что когда мои средства истощатся, этот банкир, по первому требованию, будет выдавать необходимые мне суммы. Скоро мне пришлось убедиться, что я не был обманут... В Риме я начал вести очень уединенную жизнь и заниматься итальянским языком, но не прошло и двух месяцев, как явился ко мне посланный от кардинала Орсини и объявил мне, что его эминенция очень желает познакомиться с графом Калиостро. Я должен был явиться к кардиналу

и был им встречен со всеми знаками внимания. Через неделю я был представлен папе и с этих пор сделался очень частым гостем Ватикана...

"Чародей" опять остановился. Но на этот раз он не останавливал своего взгляда на слушателях. Казалось, он внезапно забыл всех и все. Он глядел долгим и любовным взглядом в глаза ласково улыбавшейся ему Лоренцы.

- Мне было тогда двадцать два года, - снова начал он, - счастливый случай или... нет, зачем я стану называть случаем то, что было моей судьбою! Не случай, а счастливая судьба заставила меня встретиться с прелестной девушкой, совсем еще почти ребенком... одним словом, с моей Лоренцой. Мы полюбили друг друга и сочетались браком. С тех пор мы путешествуем вместе. Мы объездили все страны Европы... Моя добрая жена наполняла в моем сердце и в моей жизни ту пустоту, которую я ощущал со времени вечной разлуки с Альтотасом. Она верный друг мой и помощница. А цель моей жизни - посвящать на пользу ближних мои познания, врачевать недуги, помогать нуждающимся, приносить всякую помощь тем, кто обращается ко мне за помощью, кто в ней нуждается. За этим же я и здесь, в пределах России. Вот внешняя история моей жизни; я не часто ее рассказываю и никогда еще не рассказывал ее с таким доверием к своим слушателям, как сегодня.

Он замолчал.

Что было особенного и поразительного в этом рассказе, который Калиостро и через десять лет повторил и письменно подтвердил перед судом папской инквизии? Ровно ничего. Рассказ этот мог казаться ничем иным, как вымыслом заезжего авантюриста. Кроме намека на таинственное и высокое происхождение Ашарата-Калиостро-Феникса, в нем не заключалось ничего, ровно ничего такого, что могло бы увлечь слушателей, а самый намек этот

способен был только окончательно уничтожить их довериę к рассказчику.

А между тем все были увлечены. А между тем этот фантастический рассказ произвел на всех какое-то магическое, чарующее действие. Даже Потемкин сидел задумчиво, мечтательно и ласково глядя на Калиостро-Феникса. Даже Елена забыла весь свой страх, все отвращение к этому человеку и не сводила с него глаз.

Только на холодном лице Захарьева-Овинова ровно ничего не выражалось, только его глаза были опущены. Но вот он их поднял, его блестящий взор скользнул по лицу Калиостро и опять как бы ушел в какую-то даль.

- Граф Феникс, - сказал он, - вы передали нам историю вашей жизни и теперь, основываясь на словах ваших, мы знаем кто вы, насколько вы сами это знаете. Но все же мы недалеко подвинулись... Позволите ли вы задать вам некоторые вопросы?

- Я жду их, - проговорил Калиостро, с бессознательным и тревожным изумлением глядя на этого человека, присутствие которого ему здесь было неприятно.

Да, очень неприятно. А между тем он, несмотря на все свои тайные средства, никак не мог избавиться от этого присутствия. Почему оно ему неприятно и почему он не мог от него избавиться - он не знал. Что-то непостижимое мешало ему останавливаться на этой мысли. Едва дело касалось князя Захарьева-Овинова, Калиостро не соображал, не рассуждал - он только бессознательно чувствовал.

- Вы говорили, что долго пробыли в Египте, - начал Захарьев-Овинов, - вы упомянули о пирамидах, о ваших занятиях, о том, что вы проникли туда, куда никому нет доступа, что вы узнали многое. Не там ли получили вы посвящение в высшие тайны природы?

- Да, там я был посвящен...

- Вы обещали быть искренним, не скрывать от нас ничего, расскажите же нам об этом посвящении.

Глаза Калиостро блеснули, краска вспыхнула на лице его. Он схватился руками за голову и в волнении даже встал с кресла. Лицо его было прекрасно, на него как будто находило вдохновение.

- Боже мой, какие воспоминания! - воскликнул он. - Слушайте, друзья мои, я вам скажу все, что можно сказать... Мой воспитатель Альтотас, великий мудрец, один из носителей высочайших знаний, собиравшихся в человечестве от начала веков и до наших дней, объявил мне, что считает меня достаточно подготовленным и достаточно крепким, чтобы проникнуть в храм познаний и выдержать там испытания, каким должен быть подвергнут всякий, кто желает доказать, что он в силах снести на своих плечах великую, драгоценную ношу. Но не он сам посвящал меня. Он представил меня другому мудрецу, великому иерофанту. Мне были даны все нужные указания. Я должен был очиститься и подготовиться к ожидавшему меня. Я долго молился и постился. И вот, наконец, настал день, когда я, по чистой совести, сказал моим наставникам, что чувствую себя готовым... В сопровождении старого иерофанта и двух посвященных еще молодых людей среди глубокой ночи мы отправились из древнего Мемфиса к пирамиде Хеопса. Я уже хорошо знал эту пирамиду и должен вам сказать, что напрасно ее называют Хеопской пирамидой: действительным ее строителем был Тот или Гермес, величайший из мудрецов мира. Он создал ее именно затем, чтобы сохранить в ней для будущих веков, для будущих тысячелетий сокровища своих великих знаний. Мы подошли к пирамиде и остановились. Ночь была достаточно светла. Я не раз уже бывал здесь и теперь не понимал, к чему наша остановка. Я знал, что мы идем в пирамиду, но с этой стороны

6 49

не было никакого входа. Однако мне не пришлось долго удивляться или, вернее, с этой минуты и началось все то удивительное и неожиданное, что я должен был испытать. Иерофант ударил молотом в один из древних камней у основания пирамиды - и вдруг камень поддался, перед нами оказалась маленькая дверца. Мне завязали глаза и повели меня. Я знаю, что мы спустились вниз по ступеням лестницы и спускались долго. Когда мне развязали глаза, я был в обширной зале, ярко освещенной откуда-то сверху. Передо мною находился значительных размеров и удивительной древней работы сфинкс. Никогда до тех пор это таинственное изваяние так меня не поражало. Я не мог оторвать от него взгляда. На меня глядело своими каменными неподвижными глазами прекрасное и страшное, холодное и загадочное человеческое лицо. Непостижимое существо: и ужасающее, и притягивающее к себе - голова женщины, тело быка, лапы и когти льва и огромные крылья!.. Иерофант подошел ко мне и положил мне на плечо руку. "Сын мой, - сказал он, - прежде чем идти дальше, остановись и вглядись в этого сфинкса. С первого взгляда он ужасен, он может представиться тебе чудовищем. А между тем это символ глубочайшей красоты и правды!Этот сфинкс не что иное, как заглавный лист той великой книги, читать которую ты желаешь. Это первая загадка, великая загадка! И не Эдип, как сказано в басне, разрешил ее - иной в ней смысл, и я решаюсь тебе его поведать, ибо рассчитываю, что ты окажешься достойным читать великую книгу. Если же нет..." Тут он замолчал - и невольный трепет пробежал по моим жилам... "Готов ли ты меня слушать?" "Готов!" - произнес я, взглянув ему прямо в глаза и выдержав взгляд его. Два посвященных поднесли мне в эту минуту длинную белую одежду. И вот с их помощью я сбросил с себя мое одеяние, и на мне не оказалось ничего, кроме этой длинной туники и

сандалий на ногах. Тогда иерофант подвел меня ближе к сфинксу и заговорил: "Гляди, ты видишь человеческую голову, голову женщины. Она олицетворяет человеческий разум, который, прежде чем выйти на арену будущего, должен изучить цели своих желаний, средства их достигнуть, препятствия, каких следует избегать, и предстоящие испытания... Тело быка означает, что человек, вооруженный знанием, должен подобно сильному и крепкому быку неустанной волей и беспредельным терпением прокладывать шаг за шагом путь, ведущий к успеху или падению... Когти льва обозначают, что для того чтобы достигнуть цели, намеченной разумом, недостаточно хотеть, а надо сметь, недостаточно работать, а надо иной раз биться и силою прокладывать себе дорогу... Орлиные крылья, гляди, они не приподняты, они опущены и прикрывают собой сфинкса - так вот, такими же орлиными крыльями, как густым и непроницаемым покровом, следует скрывать свои планы до тех пор, пока настанет время действовать решительно, и в дерзновенном орлином полете вознестись на беспредельную высоту! Умей же, сын мой, видеть верно и желать справедливо, умей дерзать на все, что дозволяет тебе твоя совесть, умей молчать о твоих планах... И если перед твоим упорством и терпением завтрашний день не что иное, как продолжение усилий, сделанных тобою сегодня, - иди твердо, иди к своей цели... Семь гениев, хранителей священного ключа, запирающего прошедшее и открывающего будущее, возложат на твою голову венец "властителей времени", и ты сделаешься преемником великого Гермеса, таким же, какими были Пифагор, Платон и все мудрые маги, стоявшие некогда здесь, на том же месте, где находишься теперь ты". Сказав это, иерофант завязал мне глаза, и я слышал, как он удалялся. Кто-то взял меня за руку, и мы пошли. Опять лестница. Голос у самого уха шептал мне: "Считай ступени!" Я сосчитал двадцать две.

Мы остановились. Я слышал, как отперлась тяжелая дверь и заперлась за нами. Прошло несколько мгновений - мы все шли. Вдруг тот, кто вел меня за руку, остановил меня и воскликнул: "Стой, ни шагу, иначе ты полетишь в бездонную пропасть! Эта пропасть окружает со всех сторон "храм тайн" и защищает его от вторжения непосвященных. Мы пришли слишком рано, наши братья еще не собрались, подождем их. Но если ты дорожишь жизнью - оставайся неподвижным, скрести руки на груди и не снимай повязки с глаз до тех пор, пока тебе не будет сказано это сделать. Помни, что ты теперь в нашей власти, что ты уже не принадлежишь себе и обязан нас слушаться беспрекословно; только исполнив это и доказав нам, что ты действительно владеешь собою, ты можешь избегнуть погибели и достигнуть всего, к чему стремишься". "Я уже знаю это и готов ко всему", - произнес я. Прошло несколько мгновений. Потом мне было сказано: "Сними повязку!" Я снял ее, и сердце мое невольно дрогнуло. Передо мною стояло два существа в таких же длинных белых одеяниях, как и я, только один из них был опоясан золотой лентой, а другой - серебряной. У одного из этих существ была голова льва, а у другого - быка. Я не успел еще в них вглядеться, как почти у самых ног моих разверзлась земля с ужасным шумом, заклубился дым, и среди этого дыма я увидел поднимавшегося скелета. Но скелет этот был как бы живой, он двигался и в своих костяных руках держал огромную косу, острие которой блестело, по-видимому, направляясь мне прямо в грудь. В то же мгновение из-под земли раздался глухой, ужасный голос: "Горе непосвященным, дерзающим нарушать покой мертвецов!" Но я уже ничего не боялся, я чувствовал в себе подъем духа, чувствовал во всем существе своем силу и крепость. Я готов был на какие угодно испытания, на какие угодно зрелища. Я спокойно глядел на скелет, страшно

кривлявшийся передо мною и скаливший мне зубы, на острие косы, почти уже касавшейся моей груди... Не знаю, сколько прошло времени; только вдруг дым из-под земли стал подниматься еще гуще, и когда он рассеялся, ни скелета, ни косы, ни чудовищ уже не было. Со мною были только два посвященных, и один из них ласковым голосом сказал мне: "Ты почувствовал холод смерти и не отступил, ты узрел ужас и не дрогнул! На твоей родине ты мог бы прослыть великим героем и потомство чествовало бы твою память. Но у нас храбрости и мужества еще недостаточно. Есть качество несравненно высше, и это качество - добровольное смирение, торжествующее над тщеславной гордостью. Способен ли ты одержать подобную победу над самим собою?" "Не знаю, на что я способен, но готов я на все", - ответил я. "В таком случае ты должен ползти по этому подземелью до тех пор, пока не окажешься в светилище, где наши братья ждут тебя, чтобы дать тебе знание и могущество в обмен на твое смирение. Возьми эту лампу и ползи во мраке и одиночестве". Я принял лампу. Передо мной, как бы сам собою, отвалился камень, открывая узкое отверстие. Я прополз в него. Камень с шумом закрыл отверстие. Я один, в какой-то холодной трубе, где нельзя ни встать, ни сесть, где места ровно столько, чтобы ползти человеку. Мне показалось, что я в гробу, в мрачной могиле. Земля со всех сторон окружает меня, почти сжимает. Назад возврата нет. А что впереди?! Я ползу, я уже начинаю утомляться - и никакого просвета... Глубокая тишина, спертый воздух, почти захватывающий дыхание. Слабый свет моей лампочки, то и дело готовый погаснуть, освещает только черную землю, сырую землю. Я остановился на мгновение. Какая невероятная, невозможная тишина! Скорей, скорей вперед! Я пополз снова. Когда же конец? Куда я пополз? А что если это ловушка? Мне казалось, проходят часы, и все нет конца моему мучитель-

ному пути. А если я не туда ползу? Если я пропустил какой-нибудь поворот, куда должен был направиться? Я почти остановился на этом предположении, так как земля уже положительно меня сжимала до того, что я почти не имел возможность двигаться. Вот уже едва хватает места для моего тела. А впереди все тот же мрак! Холодная, сырая земля сжимает меня своими мрачными объятиями... Я почти задыхаюсь. Сердце усиленно бьется, в голову стучит. Я погиб, мне больше некуда двигаться. Я забыт в глубокой страшной могиле. Я один, безнадежно один... никто не видит меня... никто не слышит!.. Забыт? Но ведь лампа моя не погасла, она меня озаряет. Моя лампа - это подобие Божьего ока, следящего за мною и видящего меня в глубине моей холодной могилы... Я не один, со мною Бог!.. И едва эта мысль озарила меня, я почувствовал глубокое спокойствие. Среди невозмутимой тишины раздался гул, что-то как бы обрушилось передо мною, и я увидел свет, слабый свет, идущий откуда-то издалека. Земля уже не давит меня - свод надо мною расширился. Я могу встать. Передо мною лестница. Мне предстоит спускаться еще глубже в неизмеримые бездны. И я спускаюсь по этой лестнице, считаю ступени: семьдесят восемь. Вот и конец. Но что же это? Последняя ступень - и передо мною глубокий, зияющий колодец. Свет померк, только моя лампа едва-едва разгоняет мрак. Я поднялся назад на несколько ступеней и стал оглядываться. Налево я заметил какой-то проход и различил в нем опять ступени. Туда! Наверное, там есть какой-нибудь выход. Зачем же вид бездонного колодца смутил меня, разве Бог не со мною, и разве я не добровольно подвергался всем испытаниям? Я пошел вперед. И вот лестница, и я снова считаю ступени - их опять двадцать две. Передо мною чугунная решетка, за нею виднеется галерея, по обеим сторонам которой возвышаются изображения сфинксов. Я сосчитал их - двенадцать

справа, двенадцать слева. Между сфинксами стоят высокие треножники, на треножниках горит огонь. Слышны шаги. Неведомый мне человек в одежде иерофанта подходит к решетке и отворяет ее. Он глядит на меня с ласковой улыбкой. "Сын земли, - сказал он, - да будет благословен твой приход. Ты избегнул бездны, открыв "путь мудрых". Не многие из тех, кто, подобно тебе, стремились к мудрости, восторжествовали над этими испытаниями, многие погибли. Тебя охраняет великая Изида и, надеюсь, она доведет тебя невредимым до святилища, где добродетель получает свою награду. Я не должен скрывать от тебя, что многие еще опасности предстоят на твоем пути. Но мне дозволено ободрить тебя, объяснив тебе символы, смысл которых укрепляет сердце человека. Видишь ли ты эти изображения, начертанные на стенах галереи? Разглядим их. Слушай меня, и если каждое мое слово запечатлится в твоей памяти, то когда ты вернешься на землю, все могущество владык земных будет ничтожно перед твоим могуществом!.." Я глядел в лицо человека, говорившего мне это, и невольный священный трепет пробегал по моим жилам. Это строгое, но прекрасное лицо не могло обманывать. В нем ясно изображалась глубокая мудрость, соединенная с беспощадностью. Я был убежден, я знал всем существом моим, что для меня настала великая минута. Я понимал, что мне сейчас будут открыты тайны, те тайны, о которых я давно уже думал, которых давно жаждал. Проницательный взор неведомого мне иерофанта, очевидно, читал мои мысли, понимал мои ощущения. "Да, я открою тебе великие тайны, - торжественным голосом сказал он, - но прежде ты должен поклясться, что сумеешь сохранить их, что никогда никому их не откроешь. Можешь ли ты поклясться?" "Клянусь!" - прошептал я. - "Хорошо, и знай, что если ты станешь клятвопреступником, невидимое мщение будет шаг за шагом тебя преследовать. Оно настигнет тебя всюду, где бы ты

ни был, хотя бы на ступенях трона, оно настигнет - и ты погибнешь. Смотри, вот что ожидает клятвопреступника!.." При этих словах его я расслышал явственно какой-то отчаянный вопль, он раздался вблизи, но я еще ничего не видел. Вдруг в нескольких шагах от меня стена мгновенно разверзлась, и я увидел огромного сфинкса, мявшего своими железными лапами человека, который корчился в страшных муках, испуская отчаянные стоны. Что это такое было, как это было - я ничего не мог понять, я только с чувством жалости и ужаса глядел на отвратительное зрелище. Сфинкс был неподвижен, а между тем гигантские лапы двигались, кровь несчастной жертвы струилась, и скоро передо мною был бездыханный труп, на лице которого, широко раскрытыми, вышедшими из своих орбит глазами, застыло выражение неизъяснимого ужаса и страдания... И мгновенно все исчезло - ни сфинкса, ни трупа, ничего. Передо мною стена. "Так погибает всякий, кто нарушает клятву, данную в этом месте! - произнес иерофант. - А теперь слушай!.." И каждое слово, приносимое им, как молотом, вбивалось в мой мозг и в мое сердце, и навсегда в них запечатлелось.

Калиостро замолчал, и все замолчали. Все сидели, затаив дыхание, пораженные этим рассказом, увлеченные в страну чудес и ужасов. Так продолжалось несколько минут.

- Граф Феникс! - сказал наконец Захарьев-Овинов. - Вы видите, мы все поражены, но припомните слова светлейшего князя: "Мы хотим знать до конца", а вы остановились на самом интересном месте. Что же поведал вам иерофант? Какие тайны открыл он вам?

Колиостро ответил:

- Я обещал сказать вам все, что могу, и я исполняю свое обещание, но ведь вы слышали, что я дал страшную клятву молчать о том, что гото-

вился узнать. Неужели думаете вы, что я ее нарушу?

- Как! - с легкой усмешкой воскликнул Захарьев-Овинов, - так вы еще находитесь под клятвой? Я полагал, слушая вас, что вы давно уже освободились от всяких уз, что вы возвысились надо всем и находитесь на такой высоте, где забываются все клятвы, где уничтожается всякий страх мщения. Если же нет, если я ошибаюсь, если то, что вы нам передаете, действительно серьезная истина и вы подлежите мщению, вспомните, ведь оно должно настигнуть вас всюду, где бы вы ни были. Почем знать, быть может, и здесь, в стране северных варваров, следит мстительное око за каждым вашим шагом...

Калиостро тревожно взглянул на него.

- Нет, князь, - сказал он, - я знаю, что делаю. Я имел право сообщить вам то, что сообщил. Но, заметьте, только вам - я не рассказываю этого направо и налево!

- К чему его перебивать! - воскликнул Потемкин, - пусть он говорит, все это очень интересно и, на мой взгляд, полно смысла. - Граф Феникс, передайте нам, не нарушая клятв ваших, о дальнейших испытаниях.

Калиостро внезапно ощутил в себе как бы новый прилив сил. Он победил ту неловкость, ту непонятную тревогу, которые в нем возбуждались присутствием и словами Захарьева-Овинова. Теперь он гордо поднял свою красивую голову и взглянул прямо в глаза тому, кто так смущал его. Он встретил светлый и ясный мучительно-проницательный взгляд. Этот взгляд как бы пробудил в нем какие-то позабытые воспоминания. Он знал этот взгляд - страшный, могучий и холодный. И он его выдержал.

- Я победил землю! - воскликнул он. - Победил первую стихию, мне оставалось победить воздух, воду и огонь и затем выдержать последние испытания, самые страшные из всех, хотя по виду

легчайшие. Все это я и расскажу вам, не страшась никакого мщения и не признавая себя клятвопреступником!..

X.

Калиостро замолчал, откинулся на спинку кресла, и по его рассеянному, блуждавшему взору можно было заключить, что он внезапно забыл все окружавшее. Но вот снова раздался его голос:

- Когда иерофант объяснил мне смысл и значение изображений, начертанных по стенам галереи сфинксов, когда мы оказались в самом конце этой галереи, он отпер железную дверь, и моим взорам представилось такое зрелище: передо мною была другая черезвычайно длинная галерея, но узкая и темная, в глубине которой ярко горело пламя. Да, передо мною в отдалении было целое море пламени!.. "Сын земли, - сказал иерофант, - я вижу смущение в твоем взгляде, это пламя страшит тебя. А между тем ты должен идти вперед и не останавливаться ни перед какими препятствиями. Знай, что испытания, препятствия и даже смерть могут устрашить только слабые существа, для которых навеки закрыт храм мудрости. Если страх может объять тебя от чего бы то ни было, зачем ты здесь? Взгляни на меня: когда-то и я прошел через этот пламень так же легко и свободно, как через цветник роз. Иди и не возвращайся, ибо возврата нет. Я запру эту дверь, и напрасно ты будешь в нее стучаться. Прощай или до свидания." С этими словами железная дверь заперлась за мною, и я остался один. Он был прав: в первую минуту это кипящее передо мною пламя, в которое я, очевидно, должен был ринуться, меня устрашило. Я никогда не был трусом, но с детских лет именно огонь смущал меня. Я быстро прошел длинную галерею и остановился в нескольких шагах от пламени. Откуда оно поднималось - я не мог себе представить, я видел только одно, что предо

мною гигантская огненная печь и что мне предстоит войти прямо в нее. Жар огня уже меня охватил, я невольно остановился. Дрожь пробежала по моим членам. Но вот спасительная мысль мелькнула в голове: к чему же был весь этот урок высшей мудрости, полученный мною сейчас в галерее сфинксов от иерофанта? Ведь урок этот был бы бесполезен для человека, приговоренного к смерти. Это только новое испытание. Как оно окончится - я не знаю. Но ведь до сих пор я вышел невредимым и с первых испытаний. Вперед! И я твердо пошел прямо к огненной печи. Еще мгновение - и я буду в огне. Но что это? Огонь как бы стихает, упадает. Передо мною сквозной железный пол. Пламя уже внизу, под этим полом. Опасность от огня, очевидно, уменьшается с каждым мгновением. Я замечаю у самых ног моих достаточно широкий каменный проход и смело ступаю на него, подобрав полы моей длинной одежды. Бегу над пламенем, бегу вперед. И по мере того, как я бегу, пламя поднимается за мною. Еще миг - и конец испытанию огнем, еще миг - и полная безопасность. Но что это? Пламя за мною в двух шагах от меня, оно поднимается все выше, и выше, и выше, а впереди, также в двух шагах, темная неподвижная вода... О, слабость человеческой природы! Я вздрогнул, я остановился, почти доведенный до отчаяния. Но это было на мгновение. Разве же достаточно было у меня доказательств моей безопасности?! Я смело вступил в воду и пошел. Вода все выше и выше. Вот она достигает мне до шеи, еще один шаг - и я должен плыть, чтобы не захлебнуться. Ну что ж, я поплыву... Вперед!.. Вперед!.. Однако мне даже не пришлось плыть - мои ноги ощутили под собою снова твердую почву, и скоро я вышел из воды. Я ощупал ступени лестницы, поднялся и очутился прямо перед дверью. Бушующее сзади пламя озаряет эту запертую дверь... Я жду. Что же это никто ее не отворяет передо мною? Попробую

отворить ее сам. Вот изображение львиной головы. В зубах у льва большое металлическое кольцо в виде змеи, пожирающей свой хвост. Я изо всех сил ухватился за это кольцо - и невольно вскрикнул: в мгновение ока я почувствовал, что пол уходит у меня под ногами. Я ухватился еще сильней за кольцо обоими руками и повис в воздухе. Пламень погас. Я в полном мраке. Мгновение, другое - все тихо. Что ж, буду так висеть, пока хватит сил. А потом? Потом что-нибудь да будет. Конечно, спасение. А если нет? Из глубины моего сознания шепнуло мне что-то: "Ну, так смерть!" Но я еще не успел докончить моих мыслей, как почувствовал какое-то прикосновение к моим ногам. Железный пол снова был подо мною. Я выпустил из моих окоченевших рук кольцо, и дверь открылась. Передо мною блеснул свет, и я очутился среди людей. Не успел я еще оглядеться, как завязали мне глаза и повели куда-то. Мы шли долго, очень долго. Я слышал, как перед нами с шумом отворялись железные двери и запирались снова. Наконец мы остановились, и мне развязали глаза. Я оказался в ярком освещенном пламенниками обширном подземном зале, в многочисленном собрании, среди которого были и старый иерофант, приведший меня в пирамиду, и другой иерофант, бывший со мною в галерее сфинксов. Я не имею права говорить вам о том, что увидел в этом зале, но могу передать смысл речи, с какою обратился ко мне старый иерофант. Он говорил мне: "Сын земли, ты почел себя ученым и мудрым и гордился своими познаниями, ты услышал, что мы обладаем сокровищами тайных наук, высшими знаниями сил и законов природы, - и в тебе загорелось желание проникнуть к нам и получить наши знания. Удовлетворен ли ты исполнением твоих необдуманных желаний. Ты между нами, в нашем святилище. Ты прошел некоторые испытания и кое-чему научился. Ты должен теперь ясно видеть, что все эти пройденные тобою испытания только

казались с первого раза серьезными, а в сущности были игрою. К чему же привело тебя твое безумное честолюбие, твоя гордость и твоя доверчивость? Вот ты здесь утомленный, продрогший, в мокрой одежде - и неужели не понимаешь, как ты смешон?! Ты наш пленник, ты в руках неизвестного тебе тайного общества, секретами и знаниями которого ты желал воспользоваться. Мы не звали тебя, ты сам пришел к нам и должен быть наказан за свою дерзость, за свое безумие. Ты в подземельи, из которого тебе нет возможности выйти. Ты слышал об испытаниях, каким мы подвергаем неофитов, и теперь, в эту минуту, ты окончательно уверен в том, что эти испытания только игра, только шутка, как я и сам сказал тебе... Но неужели ты думаешь, что это все, что ты всех победил, всего достиг и теперь высшая мудрость должна открыться перед тобою, и мы тебя примем в нашу среду как достойного, как равного нам? Если ты это думаешь, то жестоко ошибаешься: ты еще не выдержал ни одного настоящего испытания, еще ничем не доказал нам, что достоин быть между нами. Ты доказал только свое дерзновение, но этого чересчур мало! Однако мы вовсе не желаем твоей погибели и от тебя зависит доказать нам, что не одно праздное любопытство и не одно тщеславие привели тебя сюда. Действительно ли желаешь ты быть между нами?" Я ответил, что желаю, ответил от глубины моего сознания, и тон моего ответа, очевидно, произвел впечатление на всех присутствующих. Иерофант заговорил снова: "По непреложным, вечным законам иерархии я здесь призван быть властелином. Все маги, которых ты здесь видишь, несмотря на все свои посвящения и знания, ими достигнутые, подчиняются мне беспрекословно. Клянись же мне и ты, что с этой минуты мое слово будет для тебя законом, что твое послушание мне будет рабским послушанием, что ты даже не позволишь себе ни на мгновение остановиться и подумать: прав я или нет, добро

или зло заключается в моем приказании!.." "Клянусь!" - твердо сказал я. "Берегись! - воскликнул иерофант. - Если ты поклялся только языком - горе тебе! Мы читаем в сердцах, мы видим мысли - и ложь наказывается у нас смертью!" Иерофан подошел к столу, взял стоявшие на нем два золотых кубка и поднес их мне. Кубки были одинаковые, и заключающаяся в них жидкость имела одинаковый темный цвет. "В одном из этих кубков, - сказал иерофан, - самый безвредный напиток, в другом смертельный яд. Я приказываю тебе взять один из них и немедленно выпить залпом!" Я протянул руку. Мне было решительно все равно, что я выпью - жизнь или смерть. Я находился в особенном, возбужденном состоянии. Я не думал ни о чем и ничего не боялся. Я взял кубок и выпил его разом. Приятная теплота разлилась по моим устам, продрогшим членам. Иерофан с ласковой улыбкой положил мне на плечо руку. "Ты выпил жизнь, - сказал он, - да и не мог выпить смерти. Ни в том, ни в другом кубке нет яда..." Затем мне опять завязали глаза и повели. Опять какая-то дверь отворилась передо мною. Мне было сказано: "Стой неподвижно, пока не убедишься, что полная тишина тебя окружает, тогда сними повязку с глаз твоих". Дверь заперлась. Я слышал удалявшиеся шаги, и вот шаги эти замерли. Все было тихо. Я сорвал свою повязку.

XI.

Я был среди прекрасного зала, высокие своды которого поддерживались громадными, гранитными колоннами, пестревшими в вырезанных на них иероглифах. Яркий свет падал откуда-то сверху. Курильницы были расставлены на мозаичном полу, и дым их разносил по залу благоухание. Между колоннами был протянут и спущен пурпурный, шитый золотом, занавес. В нескольких ша-

гах от меня помещалось ложе, покрытое драгоценной золотой материей. Только при виде этого ложа я почувствовал всю свою усталость. Я почти упал на мягкие подушки. В это мгновение мне послышались как бы шаги. Да, это были шаги. Я увидел четырех молодых и красивых людей, несших ванну. Они поставили ванну возле меня, почтительно поклонились мне и предложили снять мою мокрую одежду и сесть в ванну. Я с наслаждением исполнил это. Теплая ароматическая влага, в которую я погрузился, наполнила меня неизъяснимым блаженством. Когда я взял ванну и уже хотел облечься в принесенную мне новую одежду, двое из молодых людей предложили мне предварительно позволить им укрепить меня тем, что они называли массажем. Они сказали мне, что после массажа все следы усталости исчезнут и я почувствую особенную силу и бодрость. Я кивнул им головой в знак согласия. И вот их быстрые искусные руки покрыли меня каким-то жирным, душистым веществом и стали растирать меня. В первые мгновения мне было даже больно. Мне казалось, что эти два сильных человека раздавят меня и переломают мне кости. Но скоро я убедился, что они правы, что их массаж действительно имеет на весь организм мой укрепляющее, обновляющее действие. Наконец массаж кончен, меня вытерли, обмыли душистой эссенцией, облекли в новую одежду. И я, незадолго перед тем чувствовавший непреодолимое желание лежать и отдыхать, теперь, напротив того, был так свеж и бодр, как никогда в жизни. Мне хотелось движения, силы жизни били во мне ключом, но в то же время я почувствовал сильный голод и жажду. Около суток я ничего не ел. Молодые люди удалились, унесли ванну, и через несколько мгновений около моего ложа, на ее месте был стол, уставленный всевозможными кушаньями и напитками. Моим прислужникам нечего было упрашивать меня приступить к трапезе: никогда с большим удоволь-

ствием не насыщал я своего аппетита. Кушанья казались мне необыкновенно вкусными. Но вот мой голод насыщен, жажда утолена. Молодые прислужники унесли стол, и я снова один на моем роскошном ложе. Какое-то особенное блаженное состояние наполняет меня. Я чувствую, как горячая, могучая кровь кипит в моих жилах и в то же время по всему существу моему разливается сладкая истома. Неясные образы роятся предо мною, в душе моей звучат как бы струны, грезится что-то обольстительное, знойное... Дух захватывает от нового голода, от новой жажды... Все, что до тех пор, в иные мгновения, заманчиво, таинственно носилось передо мною, все, что влекло меня и против чего я боролся: земная любовь, земная красота - все это снова на меня наплывает и зовет, и манит, и чарует. Вдруг неведомо откуда раздаются мелодические звуки... Музыка ближе, яснее... Эти звуки говорили то же самое, что было и внутри меня... Эти звуки звали к наслаждению, дышали всеми соблазнами - и я невольно вслушивался, и сердце невольно им вторило, звучало вместе с ними. Мысли туманились. Я забывал все, прошлое исчезло... все мудрые наставления моего воспитателя Альтотаса, все мои знания, вся моя сила - все исчезло. Я звал красоту, звал любовь, звал наслаждение! И вот пурпурный занавес взвился передо мною, и среди дыма курильниц между колоннами, покрытыми золотыми иероглифами, я увидел что-то. Да, нечто двигалось там, и хотя я не мог понять, не мог догадаться, что это такое, тем не менее я всей душою стремился к этому непонятному явлению, торопил его, ждал с нетерпением страсти. Я встал с моего ложа и стремительно кинулся туда, к широкой полосе яркого, лившегося сверху света, за которой в дыму курильниц происходило непонятное, волшебное движение... Я поднялся по мозаичным ступеням - и замер от изумления и восторга. Среди потоков таинственного света и облаков фимиама я увидел толпу таких

прелестных женщин, какие вряд ли грезились и распаленному воображению поклонников Магомета. Да, это воистину были самые соблазнительные гурии Магометова рая... Что ж это? Я брежу? Но нет, то был не бред, не сон, то были небестелесные видения... Природа создала этих дочерей соблазна из плоти и крови и одарила их всеми чарами земной, живой, дерзновенно-властительной красоты... И каждая из этих красавиц казалась высшим, любимейшим созданием природы, глядя на каждую из них, думалось, что краше, соблазнительнее ее ничего уже и нельзя придумать... А между тем рядом с нею была другая, нисколько на нее не похожая, но не менее ее прекрасная и обольстительная. И рядом с этой другой - третья, четвертая... и не было конца красоте, соблазну, очарованию. Разнообразие красоты и разнообразие одеяний: симфолический Египет, знойная и загадочная Индия, дивная в своей пластической простоте Греция - все страны мира, все этохи человечества выслали мне и показали то, что они считали прекрасным, во что они облекали любимейшую из дочерей своих... Я стоял недвижим, с безумно бившимся сердцем, с горящей головой, и жадный взор мой ненасытно следил за этим живым видением, за этой воплощенной грезой. Миг - и я был окружен роем красавиц; они глядели мне в глаза с лаской, с приветом, они опутывали меня гирляндами из душистых свежих роз. Я чувствовал их сладостное дыхание, теплоту их юного, девственного тела... Они шептали мне слова любви, слова страсти; они обещали мне все земные блаженства, никогда не изведанные мною... Голова кружилась, почва уходила из-под ног моих... еще миг - и я буду в их власти, я отдамся им, бессильный и безвольный... Но вдруг в глубине моего сознания дрогнуло что-то, и мысль, ясная, светлая и холодная, пронеслась в горящей голове моей: "В этой красоте, в этой страсти и в этом жгучем блаженстве - не счастье, а гибель, не торжество, а

унижение! Ведь я знал это, знал давно! С этим знанием я пришел сюда! Зачем же я допустил в себе весь этот ад, все эти муки? Зачем я вызвал их - эти чары соблазна? Но нет, не я вызвал их... откуда же они? Зачем они? Разве для них я здесь? Разве они обещаны мне в конце испытания? Разве в них награда победителя плоти? В них тайна высших познаний природы? Безумец! Ведь эта красота, эти чары, эти ласки, улыбки и розы - только новые испытания!.." Мгновенным усилием воли я овладел собою, и ничего, кроме презрения, не могли прочесть в моем взгляде эти ласковые, молящие, подернутые страстной влагой взоры. И я не убежал от них как трус, не скрылся от них, как бессильный. Я схватил обвивавшие меня душистые гирлянды и разорвал их, и бросил их в окружавших меня красавиц. "Уйдите, оставьте меня, вы не нужны мне... Я не раб ваш!" - твердо сказал я. Звуки музыки замерли. Одна за другою удалялись и скрывались в облаках курений дочери соблазна. Но каждая из них останавливалась передо мною вся озаренная полосой яркого света, вся сверкавшая безумной, вызывающей красотою, и молила меня страстным взором, и манила меня... Но я не двигался с места. И вот я один - их нет! Я обернулся и увидал за собою спокойную величественную фигуру седого иерофанта. В руке его сверкнула сталь кинжала. "Сын мой, - торжественным голосом сказал он мне, - на этот раз ты прошел через истинное испытание. Если бы ты не выдержал, если бы поддался соблазну, то доказал бы свою позорную и преступную слабость... Если бы ты не выдержал, то был бы жалким обманщиком в глазах наших, презренным существом, пятнающим своим присутствием святость и чистоту нашего храма... Ты был бы бесполезен для жизни, и я вот этим кинжалом лишил бы тебя жизни в самый миг твоего падения!.." Он бросил кинжал, подошел ко мне и обнял меня: "Подними голову, победитель плоти, - воскликнул он, - и

смело гляди в беспредельную область духа! Ты достоин читать великую книгу природы. Древняя и вечно юная Изида снимет для тебя свои покровы, и ты узришь всю ее нетленную красоту, и ты насладишься этой божественной красотою... Привет тебе, сын мой! привет тебе, брат мой!.."

Рассказ был кончен, и Калиостро, взглянув на своих слушателей, сразу убедился, что цель достигнута. Да, он отлично знал, что делает и к чему стремится. Нужен был именно такой рассказ, переданный этим откровенным, горячим и таинственным тоном, чтобы произвести надлежащее впечатление на единственного человека, о котором теперь думал Калиостро.

Этого человека, способного на быстрое увлечение, но так же быстро и охлаждавшегося, необходимо было увлекать постоянно и разносторонне, не давать ему охлаждаться. Мудрый ученик египетских иерофантов решился действовать именно так, со всею своей ловкостью и смелостью.

Во время рассказа, глядя на Калиостро, можно было подумать, что он ничего не замечает, никого не видит, что он всецело отдается своим воспоминаниям и перед ним восстает только то, что он изображает горячим словом. А между тем он ни на мгновение не увлекся. Его проницательный взгляд зорко следил за малейшим изменением в выражении лица Потемкина, то есть того единственного человека, которого ему надо было увлечь. И если Калиостро остановился, он сделал это не потому, что ему уже нечего было рассказывать, а потому, что его наблюдения были окончены, что он уверился в достижении своей цели.

Теперь он знал Потемкина, изучил его, теперь в его лице, как в раскрытой книге, он мог читать всю его душу - ясно и безошибочно. Он видел, что ему удалось затронуть в этом изумительном человеке, исключительность которого он хорошо понял, именно все заветные струны, могущие звучать ему в ответ. Если приступая к своему рассказу,

Калиостро еще сомневался, то теперь сомнений не было: всесильный русский вельможа прежде всего - мистик.

Его можно было изумить опытом с Лоренцой, но ненадолго. Его можно было заинтересовать рассказом о таинственном происхождении Ашарата, но лишь на мгновение. А вот эти испытания в подземельях Египта подняли в нем целый новый мир мыслей и ощущений, встревожили до самой глубины его скучающую и томящуюся душу.

"Легко вызвать могучий дух, но раз он вызван - нелегко с ним справиться и заставить его служить дерзновенному вызывателю!"- невольно мелькнуло в голове Калиостро...

Он решил, однако, что справится с вызванным им могучим духом и заставит его служить себе.

Что касается остальных слушателей - о них нечего было и задумываться. Граф Сомонов и его друг, тоже известный богач, Елагин, принадлежали "божественному" Калиостро телом и духом и готовы были за ним следовать не только в египетские подземелья, но даже хотя бы и в самую глубину ада.

Хозяйка дома, графиня Екатерина Петровна, еще молодая и красивая обходительная женщина, была, очевидно, хорошо подготовлена мужем. В первые два-три дня по приезде Калиостро и Лоренцы она отнеслась к ним хотя и предупредительно, но сдержанно. Сильно заинтересованная мужем и склонная, подобно ему, к мистицизму, она, однако, по своему характеру, была несравненно осторожнее и хладнокровнее графа Александра Сергеевича.

Она очень любила мужа, и любовь ее выражалась в том, что, во-первых, она невольно иногда ревновала его к дамам и девицам, которых он "магнетизировал", а, во-вторых, в том, что ей обидно было за то, что его увлечения и занятия всякою таинственностью возбуждают в обществе, а главное в интимном кругу императрицы, подшучивания над ним и легкие насмешки, вредят его репутации

серьезного и умного человека, каким она его считала.

Она боялась, что этот приезд таинственных иностранцев повредит мужу, будет причиной неприятностей, и, во всяком случае, породит новые анекдоты и насмешливые рассказы.

Но не прошло и двух-трех дней, как она поддалась обаянию графа Феникса и невольно любовалась красотою, грацией и прелестной наивностью Лоренцы. Теперь, после произведенных опытов, после рассказов Калиостро, она уже ни над чем не задумывалась. Она была увлечена всецело, заинтересована до последней степени, вся наполнена тем жутким страхом таинственного и неизвестного, который бросает и в жар, и в холод и притягивает к себе, и увлекает.

Графиня Елена Зоннефельд? Как она относилась ко всему, что было вокруг нее?.. Она в эти последние дни жила совсем новой, непонятной жизнью. Она жила в каком-то особом мире, отуманенная, завороженная, не знавшая, где сон, где явь, где мечты, где действительность. На нее действовали два могучих влияния. Одно из них наполняло ее блаженным трепетом, другое подавляло и мучило. Она страдала глубоко, томилась, как никогда, но не могла отдать себе отчета в своем состоянии. Она только ждала, нетерпеливо, мучительно, а чего ждала - не знала. Теперь, в этот вечер, одно из действовавших на нее влияний как бы отошло, уступило место другому, и это другое наполняло ее всецело. Она была во власти египетского мага, так как другой маг, хотя и был здесь, почти рядом с нею, но зачем-то отступился от нее, покинул ее, отдал ее во власть враждебному влиянию. Зачем он сделал это? Или ему не под силу было бороться "с погибшим братом", или он не хотел бороться?!.

Как бы то ни было, Захарьев-Овинов казался теперь самым ничтожным, невидным, почти лишним членом этого тесного собравшегося кружка. Его как

бы не замечали. О нем как бы забыли. А главное - его не замечал, о нем забыл неестественно сам Калиостро. Да, Калиостро решительно о нем не думал, он гораздо более думал о его соседе, последнем "звене" этой составленной им цепи - о князе Щенятеве.

Если князь Щенятев попал в цепь, значит, он нужен был для целей Калиостро. Но теперь, глядя на покрасневшее от волнения, комичное лицо этого длинного и тощего петиметра, трудно было решить вопрос: кто более владел им - граф Феникс или графиня Зонненфельд? Щенятев, очевидно, был сильно увлечен красавицей графиней. Впрочем, об этом уже более месяца говорили в петербургском обществе...

А Лоренца? Как относилась она и к мужу, и к его рассказам, и ко всем? Решить это было нелегко. Ее хорошенькое, нервное лицо постоянно меняло выражение. Она казалась то задумчивой и серьезной, то как бы уходила в область таинственных грез и мечтаний, то внезапно оживлялась, улыбалась всем, всех ласкала этой милой, почти детской улыбкой. И встречаясь с ее лучистым, неведомо что скрывавшим взглядом, невольно все любовались ею - так она была мила, так к себе привлекала.

Лоренца была, однако, единственным спокойным и хладнокровным членом этого кружка. Ее роль, очевидно, еще не началась. Она ничего не боялась, ни о чем не заботилась. Когда придет время - муж обратится к ней, и она вступит в его распоряжение, а пока она может наблюдать, разглядывать.

Она знала, что все дело теперь в Потемкине, он и есть именно тот человек, о котором больше всего думает ее муж. Ведь для него главным образом они сюда и приехали. Она знала это и видела ясно, что все благополучно, что все идет как следует. Да разве Джузеппе (так она мысленно называла "божественного" Калиостро) - разве он

может ошибиться? Положим, в настоящем случае она значит больше, чем Джузеппе: без ее помощи он не обойдется, он ей говорил об этом, да и она сама ведь очень хорошо все понимает... Русский всесильный вельможа должен быть прежде всего в ее власти. Он ее жертва.

Она с внутренней улыбкой сказала себе: "Как легка, однако, была победа!" Нечего было даже так готовиться к этой победе, как она готовилась. Теперь вот она как бы забыта, теперь действует один Джузеппе. Он поглощает все внимание этого великана... на нее почти и не смотрят. Но это ничего, так должно быть, когда надо, Джузеппе отойдет, и великан поступит в ее распоряжение...

И она лукавыми, светящимися глазами время от времени поглядывала на великана.

А ведь он совсем не таков, каким она представляла его себе в то время, когда с Джузеппе в Курляндии готовилась к своим наступательным на него действиям! Да, впрочем, тогда она вовсе и не думала о нем как о человеке. Он был и для нее, и для Джузеппе только силой, которая нужна, которою следует овладеть. Теперь же вот он перед нею, живой человек - и ей придется иметь с ним дело не как с отвлеченной силой, а как с живым человеком. Когда она его в первый раз увидела, он произвел на нее тяжелое, почти отталкивающее впечатление. Он так был не похож ни на кого. Он был так тяжел, велик... Она не любит таких крупных, неповоротливых, важных людей!.. А вот теперь он ей нравится все больше и больше, и она уже не думает о том, красив он или нет, стар или молод. В нем есть что-то особенное, что ее невольно привлекает, в нем есть какая-то новая, неизвестная ей еще сила - и эта сила иная, чем сила ее Джузеппе...

"Он вовсе не так страшен, как кажется сразу, решает в своих мыслях Лоренца, - а все же он страшен, но это хорошо: для всех страшен, но не для меня!.."

И она улыбается, заранее улыбается, заранее улыбается тем минутам, когда этот страшный великан, этот северный медведь превратится перед нею в послушного ягненка.

Но вот она уже о нем забыла. Она глядит теперь с маленькой лукавой улыбкой на князя Щенятева и думает:

"Вот если бы этого надо было приручить, если бы Джузеппе приказал ей овладеть этим человеком, ей очень было бы трудно исполнить такое приказание. Какой противный, какой смешной, а главное - как он влюблен в эту красавицу графиню!"

Она переводила взгляд на Елену и любовалась ею. Она говорила себе, что никогда еще не встречала такой красавицы. Сколько раз Джузеппе твердил, что Лоренца очаровательна, что ни один из мужчин не устоит перед ее прелестью. Да так оно до сих пор и было. Но что же она, Лоренца, перед этой графиней!.. Боже, какая красота, какая особенная красота! Смешной и противный князь на длинных ногах и с маленьким носиком, конечно, должен быть влюблен в нее без памяти. Но как же Потемкин глядит и не видит такой изумительной красоты, как может он в присутствии графини ласково смотреть на нее, Лоренцу, А она, графиня-красавица, отчего она так несчастна? Лоренца чувствует, что графиня несчастна. Джузеппе... он уже овладел ею, она в его власти. А что, если сам Джузеппе увлечется ею?!..

Но эта мысль мелькнула в ней и исчезла. Она уже глядела на Сомонова, на его жену, на Елагина, прозванного ею по первому впечатлению деревянной статуей и теперь всецело, без остатка, поглощенного "божественным" Калиостро. Затем она возвращалась опять к Потемкину, к Щенятеву, к Елене... Она не замечала только одного Захарьева-Овинова, как будто его и не было совсем в комнате, между ними...

Его решительно никто не замечал, никто о нем не думал; но он о себе напомнил. Он снова пер-

вый прервал молчание, наступившее после рассказа Калиостро.

- Граф Феникс, - сказал он, - какие великие мгновения вы пережили! Вы вышли победителем из всех испытаний, и эти испытания, когда вы прошли через них, должны были показаться вам легкими и ничтожными в сравнении с наградой, какую вы должны были получить как победитель природы... Но скажите, действительно ли великая Изида сняла перед вами свои непроницаемые покровы? Действительно ли она дозволила вам насладиться своей нетленной красотою?

Слова эти были сказаны спокойным тоном и в них, по-видимому, не заключалось никакой насмешки, а лишь одно естественное любопытство заинтересованного слушателя. Захарьев-Овинов выразил лишь то, что Потемкин готов был сказать, что все остальные хотели сказать, но не осмеливались. Калиостро взглянул на человека, произнесшего эти слова, на человека, о котором он забыл, не думал и который как бы внезапно очутился перед ним. Калиостро содрогнулся: для других это были естественные слова, вызванные любопытством. Но он понял их действительный смысл. Он почувствовал в них насмешку и презрение. Слова эти были для него вызовом, вызовом смелого врага, являющегося внезапно, неведомо откуда и владеющего неведомо каким оружием. И он, призвав всю свою силу и смелость, ответил этому врагу с великолепным дерзновением:

- Да, князь, великая Изида сдержала свое обещание. Я здесь не затем, чтобы хвастаться, чтобы играть перед вами роль. Я молчу лишь о том, о чем не имею права говорить, и все, что я вам рассказал, я рассказал лишь для того, чтобы вы знали, откуда мои знания, чтобы никто не мог почесть меня, как это уже не раз случалось в течение моей жизни, за человека, продавшего свою душу дьяволу. Положим, вы все далеки от нелепых суеверий, но все же мне необходимо, чтобы вы

знали, откуда берется моя сила. Каждый из вас может, если захочет и если сумеет, получить ее. Человек способен владеть природой! В ваших словах, князь, я слышу недоверие ко мне - оно законно, я не могу претендовать на него...

Он вдруг улыбнулся.

- Я победил когда-то враждебные мне природные элементы, - продолжал он, - теперь я надеюсь победить вашу недоверчивость... Вы видите, как я самонадеян, я докажу вам, что мне подвластен не только видимый мир, но и частью невидимый!

При этих словах внезапная краска вспыхнула на щеках Потемкина. Он сдвинул свои густые брови, и на лице его изобразилось негодование. Эти последние слова Калиостро его как бы сразу охладили.

- Думайте о том, что говорите! - воскликнул он своим властным голосом. Вам подвластен невидимый мир?.. Или докажите это, или... я, по крайней мере, не буду вас слушать!

Калиостро быстро поднялся, нервным движением оттолкнул от себя кресло и подошел в упор к Потемкину.

- Не я докажу вам истину моих слов - вам ее докажет ваш покойный отец... Я призову его к вам - и вы его увидите... Каждый увидит того из умерших, кого захочет видеть... Принимаете ли вы мое предложение? Желаете ли вы убедиться в том, что если невидимый мир и не подвластен мне, то, во всяком случае, слушается моего зова?.. Или вы боитесь?.. Кто боится - пусть уйдет...

Но никто не выказал страха. Все были как бы подавлены, как бы застыли на месте.

Один Захарьев-Овинов молча и спокойно глядел в лицо Калиостро, да Потемкин повторял с негодованием, к которому все более и более начинало примешиваться изумление:

- Скорей... скорей докажите! Такими вещами не шутят... такие шутки неуместны!..

XIII.

По распоряжению Калиостро занавеси на окнах были спущены, двери заперты на ключ, свечи потушены. Вся комната освещалась теперь одной только лампой, поставленной на камин и прикрытой абажуром. Таким образом, наступил полумрак, в котором, однако, можно было достаточно отчетливо различать все предметы.

- Теперь нам необходимо образовать нашу цепь! - объявил Калиостро.

Он пригласил всех разместиться вокруг стола и положить на этот стол руки. Прошло несколько минут в полной тишине, нервной, напряженной тишине, среди которой самым сильным звуком было биение человеческого сердца, смущенного, наполненного страхом и трепетом, сгоравшего от жадного, болезненного и мучительного ожидания.

- Пусть каждый задумает и сильно пожелает видеть кого-либо из умерших, - сказал Калиостро, и его голос прозвучал как-то особенно страшно и повелительно в этой тишине.

И опять ни звука. Все сидят неподвижно. Вдруг посреди стола раздался сухой, резкий стук, потом другой, третий. Не прошло и минуты, как уже по всей комнате раздавались эти странные стуки, то слабее, то сильнее. Они перебегали с места на место. Сейчас стучало в зеркале над камином; теперь стучит в книжном шкафу, в раме картины, в потолке, потом будто далеко где-то, глухо... И вот стуки бегут, бегут, они все ближе, все сильнее. В столе раздается такой удар, что женщины громко вскрикивают. По комнате без всякой видимой причины ходит все усиливающееся всеми ощущаемое дуновение...

Вдруг дверцы книжного шкафа распахиваются сами собою, и одна из книг падает на пол.

Графиня Сомонова перекрестилась и вопросительно, боязливо взглянула на мужа. Но он ее не видит, он восторженно глядит на шкаф, очевидно,

ожидая, что именно там "должно начаться". Щенятев ощущает дрожь в спине и желание вырваться отсюда и уйти, но он знает, что это невозможно, и всеми силами старается подавить свой страх и ничем его не выказать. Елагин спокоен и сосредоточен, только руки его, лежащие на столе, нервно дрожат. Потемкин покраснел, даже в полумраке видно, как горит его взгляд. Он тяжело дышит, он весь внимание, ожидание, любопытство...

"Неужели правда? неужели возможно?.. О, если бы увидеть!.." - думается ему.

Захарьев-Овинов откинулся на спинку кресла, руки его небрежно лежат на столе. Лицо в окружающем полумраке кажется мертвенно бледным и мертвенно неподвижным. Глаза совсем почти закрыты.

Что же он - спит, дремлет? Нет, его мысли ясны, и думается ему...

"К чему допускать все это, к чему дозволять этому человеку играть другими, увлекать их, овладевать ими, ослаблять, извлекая из них более или менее значительную долю жизненной силы для произведения явлений, по меньшей мере бесполезных? Зачем дозволять им, темным, непосвященным, вступать в такие области, где необходимо быть и сильным, и зрячим. Ведь они слепцы, ведь каждый неверный шаг может привести их к погибели... Что для них поучительного, важного в том, что показал им этот человек, так красноречиво говоривший о своих приключениях в египетских подземельях?.. Зачем же мне продолжать эту игру и скрываться, отвращать от себя внимание, зачем дозволять этому несчастному, так бессовестно злоупотребляющему своими знаниями и примешивающему к ним бред собственной фантазии, с сознательною уже ложью тешиться над людьми и пользоваться ими для корыстных целей, для удовлетворения своего тщеславия, земных страстей своих? Ведь один миг, одно движение всепобеждающей, крепкой воли, один могучий символ - и этот клятвопреступник будет

посрамлен и получит должное возмездие за свою дерзость!.. Но нет, не пришло еще время; ни для кого из находящихся здесь еще нет очевидной, неизбежной опасности, при которой дозволительно действовать, не беря на себя ответственности... Пусть же он тешится и пусть морочит жалких слепцов... да, жалкие!.. слепцы!.."

Он поднял глаза и увидел поразительное в своей могучей, оригинальной красоте лицо Потемкина. И этот слепец, и этот жалок! А между тем его потянуло к этому жалкому слепцу и захотелось ему крикнуть:

"Встань, уйди, тебе здесь не место! Не для тебя это праздное стучание в дверь подземелий человеческого духа. Ничего не найдешь ты в этих подземельях, ты в силах подняться выше, в область света. Воспрянь же, отряхни с себя земной прах... прозри, тоскующий брат!.."

Но он ничего не сказал ему, не подал ему никакого знака. Он отвел от него взгляд свой и остановил его на Елене. Она вся трепетала. В широко раскрытых, горящих глазах ее виднелась мучительная, ненасытная жажда...

Тень страдания пробежала по лицу Захарьева-Овинова. Сердце его сжалось тоскою и болью, и он отвел глаза свои от красавицы...

Уйти, бежать отсюда, бежать от этого соблазна, от этих чар! Но ведь он знает, что это невозможно, знает, что бегство равно падению. Он знает, что близок час последней борьбы, и в этой борьбе он или падет, или вознесется к своей заветной цели. Для того ли была вся эта борьба двадцати лет, чтобы погибнуть? Нет, впереди победа! Победа и торжество для него. А для нее? Что будет с нею?.. И еще большей тоскою сжалось его сердце при этой мысли... Теперь он уже предчувствовал, что не поднять ему ее, не очистить... Он не знал, не искал, не ждал ее тогда, когда она встретилась на его дороге. Эта встреча была неизбежна - и там, и здесь... Пусть

же действуют вечные, непреложные законы! А теперь, до поры до времени, он должен быть хладнокровным зрителем представления, даваемого "божественным" Калиостро.

Он взглянул на чародея, но мельком, и тотчас же отвел от него взгляд свой: он не хотел до срока смущать его, мешать ему... Калиостро внимательно глядел на Лоренцу... Ее роль, очевидно, начиналась... Да, теперь действовала главным образом она, но ее действие было бессознательно. Она имела вид спящей и действительно спала крепким, чересчур крепким сном, отдалась чему-то, что жадно вытягивало из нее ее жизненную силу. Вся краска сбежала с ее нежных щек... Капли холодного пота выступили на лбу ее... Побледневшие губы были крепко сжаты...

Странные стуки внезапно прекратились, и по комнатам то здесь, то там стали вспыхивать и быстро исчезать как бы слабые фосфорические огонечки. Потом от Лоренцы, с левой стороны начало вытягиваться будто что-то беловатое, как бы дымок... Дымок этот струился, сгущался и образовывал в некотором расстоянии облако. Взгляды всех были обращены на это облако, прикованы к нему. Лоренца была забыта - никто не обращал внимание на то, откуда берет начало таинственное облако.

Прошло несколько мгновений... Потемкин порывистым движением поднялся с места, роняя кресло, на котором сидел. Он был бледен, он невольно схватился за сердце... Он ясно разглядел в клубившемся перед ним облаке человеческое лицо - и это лицо было ему знакомо, он не мог не узнать в нем своего покойного отца... Да, это отец его!.. Сомнений не может быть: вот уже ясно, отчетливо обрисовалась вся его фигура, он видит его таким, каким видел в последний раз, незадолго перед его смертью...

"Да нет же! Мертвые не встают из могил!.. Это обман воображения... вот стоит закрыть глаза,

протереть их - и все исчезнет, потому что нет ничего... потому что это все только кажется..." И Потемкин закрывает глаза, протирает их, встряхивает своей львиной головою, отгоняя от себя бред, грезу, самообман. Вот он откроет сейчас глаза - и нет ничего! Он пришел в себя, он спокоен, он владеет собою... Он открывает глаза - а фигура отца перед ним, и уже теперь не может быть никакого самообмана... отец как живой... не призрак, не призрачное видение... живой человек!.. И отец глядит на него живыми глазами, с памятным ему, обычным выражением...

- Да что же это наконец? - вне себя воскликнул Потемкин. Это воистину дьявольское наваждение!

Он широко перекрестился.

- "Да воскреснет Бог и расточатся врази его"... - шептали его губы.

Но отец не исчезал, отец подходил к нему, и теперь он заметил, что за отцом еще какая-то... женщина, довольно молодая и красивая женщина... а рядом девочка лет двенадцати, в белом платьице... потом еще какая-то мужская фигура...

- Матушка! - вскрикнула графиня Елена, безумно кидаясь вперед, и появившаяся женщина приняла ее в свои объятия...

Хозяйка дома громко, истерично рыдала: она узнала в девочке свою любимую сестру, смерть которой когда-то долго оплакивала...

Высокий сухощавый старик, одетый по моде шестнадцатого столетия, подходил к Сомонову и Елагину, протягивая им руки. Но они невольным движением от него отстранялись...

Князь Щенятев, весь дрожавший, с вытаращенными глазами и перепуганным, посиневшим лицом не выдержал и закричал:

- Граф Феникс!.. Au nom du Ciel!.. ради Бога... скажите им, чтобы они ушли... исчезли... я никого не вызывал, я никого не хочу... я не могу! не могу!..

Но граф Феникс не обратил на него никакого внимания. Он стоял в горделивой позе, с лицом спокойным, с блестевшими глазами.

- Прошу всех успокоиться и вернуться на свои места! - повелительным голосом воскликнул он. - Недостаточно видеть - надо слышать... Если я вызвал тех, кого вы хотели видеть, то я разрешаю им и беседовать с вами...

Он не заметил, что в это время Захарьев-Овинов приблизился к Лоренце и на мгновение простер над нею руку. Другой рукою он как бы начертал перед собою в воздухе какой-то знак... Беловатая струйка, клубившаяся влево от Лоренцы, внезапно прервалась...

- Приказываю вам - говорите с нами! - торжественно возгласил Калиостро, обращаясь к появившимся фигурам.

Ни одна из них не заговорила. Все они сразу как бы померкли и через несколько мгновений растаяли бесследно.

Калиостро почти не верил глазам своим, в изумлении, почти в ужасе он кинулся к Лоренце... Как могла она очнуться, внезапно выйти из своего сна? Ведь это не могло случиться, это невозможно!.. Но она была неподвижна, все в том же бессознательном состоянии, все в том же глубоком, странном сне... А появившихся фигур нет. Они испарились... только кое-где раздаются слабые стуки.

Чародей склонился над Лоренцой, взял ее за руки, дул ей в лицо. Она оставалась неподвижной...

Никто не замечал этого. Графиня Сомонова продолжала рыдать, закрыв лицо руками. Елена без чувств лежала на полу. Сомонов и Елагин будто окаменели. Щенятев дрожавшими руками силился снять абажур с лампы, чтобы осветить комнату. Потемкин стоял, опустив голову на грудь и тяжело дыша.

- На этот раз довольно! - раздался над Калиостро спокойный голос, и чья-то рука коснулась его плеча.

Он быстро обернулся и увидал холодное и строгое лицо Захарьева-Овинова.

Он ничего не мог ему ответить: он был всецело поглощен Лоренцой, он не понимал, что такое с нею...

Захарьев-Овинов отошел, быстро наклонился над лежащей в обмороке Еленой. Она открыла глаза. Он ее поднял.

- Графиня, пойдемте отсюда на воздух, - сказал он.

Она пришла в себя, крепко оперлась на его руку. Запертая дверь как бы сама собою распахнулась перед ними, и они вышли.

XIV.

Все было тихо в доме графа Сомонова. Гости уехали. Огни погасли, все спали. Поздно поднявшаяся, уже на ущербе, луна заливала бледным светом дорожки сада, цветники и статуи. Одинокий запоздавший соловей робко щелкал и замирал в отцветших кустах сирени. Только он один нарушал пропитанную запахом цветов влажную тишину теплой летней ночи...

Однако в двух окнах белого, облитого лунным блеском графского дома из-за спущенных занавесей пробивалась слабая полоска света. Это были окна спальни, устроенной для графа Феникса и прекрасной Лоренцы.

Среди царственно пышной обстановки, в которой видна была вся заботливость хозяина о его таинственных гостях, на широкой золоченой кровати среди кружева подушек и мягких складок затканного розовыми букетами штофного покрывала лежала Лоренца. Она еще не раздевалась и была в том платье, в каком присутствовала на всех чудесах

7—49

этого таинственного вечера. Только ее длинные, густые волосы распустились и беспорядочно падали вокруг нее, выделяясь черными шелковистыми волнами на светлом фоне кровати.

Она лежала, очевидно, в глубоком изнеможении. Лицо ее было еще бледнее, чем во время вызывания умерших. Но теперь она не спала, глаза ее были широко раскрыты...

Калиостро нервной походкой ходил взад и вперед по мягкому восточному ковру, застилавшему спальню. Наконец он остановился перед женою, склонился к ней и взял ее руку. Эта рука была холодна, как лед.

Молодая женщина затрепетала всем телом.

- Лоренца, - сказал он, - объясни мне, что с тобою? Я не могу прийти в себя... ведь до сих пор никогда не случалось ничего подобного!.. Постарайся сообразить, понять, что случилось с тобою?

Она провела рукою по своему холодному лбу, будто собираясь с мыслями, но рука ее снова бессильно упала, губы едва слышно прошептали:

- Мне так дурно, я так слаба... мне кажется, что я умираю! Я ничего не могу вспомнить и не знаю, о чем ты меня спрашиваешь, Джузеппе... знаю только, что было что-то, но что - не могу вспомнить... Джузеппе, дай мне сил!..

Он положил ей руки на плечи и пристально стал глядеть ей в глаза своими горящими глазами.

- Джузеппе, мне больно! Ты заставляешь страдать меня еще больше, - простонала Лоренца.

Тогда он отвел от нее глаза, но руки его еще продолжали лежать на ее плечах. Затем он медленно приподнял их и положил ей на голову. Потом отошел на шаг и стал, не касаясь ее, проводить руками от ее головы и до самых ног. Он производил эти движения медленно, но безостановочно, минут десять.

Мало-помалу легкая краска выступила на щеках Лоренцы. Она, видимо, оживлялась. Еще минут

пять - и она поднялась с кровати. Ее утомления, дурноты, страдальческого выражения лица уже не было. Она снова превратилась в здоровую, крепкую, сиявшую красотою Лоренцу.

- Теперь мне хорошо, Джузеппе, теперь из моей головы вышел этот странный, непонятный туман. Теперь я все поняла... начинаю вспоминать...

- Так скажи же мне, наконец, что это было с тобою?! - воскликнул он.

И она отвечала:

- Сперва все шло, как и всегда; я испытывала те же самые известные тебе ощущения. Потом, как и всегда, на меня напало забытье и что было во время его - я не знаю. Ты сам должен был хорошо знать, что было. Но вдруг даже среди этого забытья какой-то ужасный удар как бы разразился надо мною и потряс меня. О, Джузеппе! Если бы ты знал, как я страдала!.. И в ту же минуту я проснулась. Я была неподвижна, а между тем все чувствовала, все понимала, все слышала - и я поняла, что ты не один...

- Как не один?!

- Так, ты знаешь, что я в таких случаях чувствую твое влияние, твое присутствие около меня, надо мною, чувствую, что ты на меня действуешь, что я в твоей власти. Ведь ты знаешь, что когда ты на меня действуешь - у меня нет воли сделать что-либо такое, чего не ты желаешь. У меня нет ни желаний, ни мыслей, меня самой даже нет - я не существую. Я твоя собственность, и ты через меня делаешь все, что хочешь... А тут я почувствовала, что ты не один, что есть на меня какое-то новое, незнакомое мне влияние, а твоего влияния нет. Я уже не тебе подчинялась, не чувствовала тебя, не понимала - мною овладел кто-то другой.

- Кто?

- Ты знаешь кто.

- Так ты уверена, что это он прервал твое забытье, твой сон?

Она задумалась на мгновение и произнесла:

- Да, я в этом уверена, и теперь я скажу тебе больше: этот человек гораздо сильнее тебя, Джузеппе! Он не только может овладеть мною в то время, как ты на меня действуешь, и уничтожить твое влияние, он может овладеть и тобою и сделать тебя таким же рабом своим, такою же своей вещью, какою ты меня делаешь...

Калиостро горделиво поднял голову и усмехнулся.

- Ты ошибаешься, Лоренца, на меня никто не может действовать.

- Не говори так! - воскликнула Лоренца. - Уверяю тебя, что не я ошибаюсь, а ты ошибаешься, - и смотри, как бы нам не пришлось поплатиться за твою ошибку! Верь мне, я знаю, я чувствую, что этот человек страшно силен и что он враг нам. Берегись, Джузеппе, этого человека!

Он опустил голову и заговорил:

- Нет, ты находишься в заблуждении, я повторяю, он на меня действовать не может, но уже достаточно и того, что он на тебя подействовал, что он сумел, если это только не случайность какая-нибудь, непредвиденная мною, хоть на одно мгновение отстранить мое на тебя влияние, да чересчур достаточно и этого!.. Но кто же он? Кто он? Все это надо узнать, и я узнаю. Да, я о нем не забуду, теперь я все узнаю. Но пугаться ни мне, ни тебе не следует. Этого врага мы победим и уничтожим, даже если он и обладает достаточной силой. Во всяком случае, он не должен и не может мешать мне. Я все же доволен сегодняшним вечером и достиг всего. Потемкин в наших руках. Знаешь ли ты, что этот северный великан уже позвал меня к себе, так позвал, что этого никто не слышал? Мне назначено быть у него завтра. И еще два с ним свидания с глазу на глаз - и я достигну всего. Ты придешь мне на помощь - и он будет в наших руках... Тогда...

- Что тогда? Джузеппе, милый Джузеппе, будь же откровенен со мною.

Она обняла его своими нежными руками и заглядывала ему в глаза, и ласкала его жгучим сладострастным взглядом.

- Будь же откровенен со мною - ведь ты знаешь, что я тебе послушна, зачем же такая обидная скрытность? Чего именно тебе нужно, чего ты хочешь достигнуть? Каковы твои цели? Скажи мне, ничего не скрывай от меня. Ты заставляешь меня действовать, даже приносить жертвы, так позволь же мне, по крайней мере, знать зачем все это?

- Зачем? Затем, чтобы владеть вместе с тобою всем и всеми, чтобы стать выше всех вельмож, выше всех царей, победить мир не грубою силой, не оружием, а силой воли, знания и разума. Затем, чтобы не прозябать, не влачить жалкого существования подобно миллионам людей, а жить полной жизнью и взять от жизни все, что только она дать может... Власть, неограниченная власть над судьбою и над душою, пойми, над душою людей - разве может быть что-либо выше этого?

- Да, но возможно ли это, Джузеппе? Ты можешь владеть моей душою... я слабая женщина, я тебе подчинилась... и люблю тебя... Но другие? Но все?

Калиостро презрительно пожал плечами и хотел замолчать. Но он взглянул на нее - она была так мила, так соблазнительно мила!.. И он улыбнулся.

- Ты ничего не понимаешь, быть может, когда-нибудь и поймешь, а теперь верь мне и будь мне послушна. Я знаю, что делаю. До сих пор были и удачи, и неудачи. Но теперь все ясно. Именно здесь должно начаться исполнение моих планов. Здешние люди хоть и кажутся холодными, но с ними легко справляться. Здешние люди дадут мне огромные средства, без которых нельзя действовать. Здесь, в этом холодном, богатом Петербурге я устрою центр, от которого во все страны мира

разойдутся и разрастутся ветки египетского масонства. Отсюда я, великий Копт, буду управлять миром!

Лоренца изобразила на своем прелестном лице наивное изумление.

- Великий Копт! - растерянно прошептала она. - Это что же такое?

- Это я объясню тебе завтра, когда вернусь от Потемкина, а теперь будем спать - очень поздно, и нам обоим необходим отдых.

Он нежно обнял ее и подвел к кровати.

XV.

На следующее утро, еще до свидания с Потемкиным, графу Фениксу-Калиостро пришлось увидеть результаты устроенного им таинственного вечера. Ему доложили о приезде князя Щенятева. Ученик египетских иерофантов усмехнулся и, многозначительно взглянув на Лоренцу, сказал ей, чтобы она не выходила и не мешала предстоящей беседе.

Он принял гостя в своей приемной комнате. Эта приемная графа Феникса уже носила на себе особенный, производивший известное впечатление отпечаток. Среди роскоши, царившей здесь, в глаза бросались некоторые предметы, не имевшие ничего общего со всей обстановкой, а потому тем более обращавшие на себя внимание. По столам и этажеркам виднелись различные, довольно странного вида инструменты, говорившие, хотя и очень загадочно, о физике и химии. Два довольно объемистых ящика какой-то невиданной многоугольной формы заставляли задумываться о том, что бы такое могло в них заключаться. Несколько герметически закупоренных банок и склянок, выставленных на одном из окон, тоже возбуждали неразрешимые вопросы...

Князь Щенятев, проведенный в эту комнату, имел достаточно времени заметить все эти таин-

ственные предметы и заинтересоваться ими. Его легко и быстро воспламенявшееся любопытство было доведено до последней степени именно в то мгновение, когда вышел к нему Калиостро. Сразу и по привычке князь Щенятев даже хотел было попросить у хозяина некоторых разъяснений, однако он не сделал этого, и само его жадное любопытство уступило месту новому чувству, приведшему его сюда, победившему в нем все и охватившему его всецело. При входе Калиостро он с каким-то робким благоговением пошел к нему навстречу и стал перед ним извиняться за то, что решился тревожить его так рано. Заикаясь, шепелявя и стесняясь, он объяснил ему, что дело первостепенной важности заставило его явиться.

Калиостро радушно улыбнулся ему, крепко пожал его руки, усадил его в кресло и сам сел против него и, пронизав его своим огненным взглядом, сразу начал:

- Мой дорогой князь, ваши извинения напрасны, вы неизбежно должны были явиться ко мне именно теперь. Я знал, что так будет и ждал вас. Этого мало; для того чтобы не было между нами никаких недоразумений, я вам скажу зачем вы здесь, чего вы от меня хотите, какое именно у вас до меня дело...

Щенятев поднял брови и взглянул с невольной недоверчивостью.

- Вы не можете этого знать, граф, - произнес он, - потому что никто этого не знает, да и сам я все выяснил себе и решил к вам ехать только сегодня утром.

- Если бы кто-нибудь знал, - ответил Калиостро, - или мог бы знать, тогда я бы не сказал вам ни слова... Да и к чему нам терять время в напрасных разговорах... Слушайте: вы здесь для того, чтобы просить меня посвятить вас в некоторые таинства природы... Вы хотите быть моим учеником...

- Да, но это не все! - воскликнул Щенятев.

Калиостро улыбнулся.

- Как вы нетерпеливы, дайте мне договорить. Конечно, это не все. Вы страстно любите прекрасную молодую женщину, вы всеми мерами добиваетесь ее любви, но до сих пор напрасно. И вот вы желаете теперь, после встречи со мною, после тех доказательств моих знаний, какие я уже успел дать вам, вы желаете с помощью этих самых знаний, посредством которых человек управляет природою, достигнуть вашей цели...

Князь Щенятев вскочил, и вся его длинная фигура изобразила изумление, смешанное с ужасом.

А Калиостро, едва заметно и спокойно улыбаясь, глядел на него.

- Особа, которую вы любите и которую хотите победить - графиня Зонненфельд.

Щенятев даже вскрикнул и схватился за голову. Он просто не верил ушам своим. Ему казалось, он был почти уверен в том, что никто не знает о его страсти. Об этой страсти говорил весь город, но он воображал, что это тайна.

- Боже мой, да как же, как, каким путем вы можете знать все это? - захлебываясь, лепетал он.

- Успокойтесь, мой друг! - важно и покровительственно сказал Калиостро, кладя ему руку на плечо и усаживая его в кресло. - Успокойтесь, я вчера вам показал очень мало, но даже из этого малого, что вы видели, вы должны были кое в чем убедиться. Чего же бы стоили знания и моя сила, если бы я не мог при первом взгляде на человека читать его мысли и чувства?!

Щенятев мало-помалу начинал приходить в себя. Его изумление, недоумение, ужас уступали место восторгу.

- Да, - воскликнул он, - вы великий чародей и великий волшебник! Я преклоняюсь перед вами... Я готов слепо идти за вами всюду. Я клянусь быть самым послушным и преданным учеником вашим...

- Я готов вам верить и готов вас принять в ученики - недаром же я допустил вас в цепь. Или думаете вы, если бы я не захотел, вы были бы среди нас вчера?! Вы принадлежите к немногим, избранным мною здесь...

Восторг Щенятева возрастал.

- Так, значит, я недаром возлагаю на вас все надежды? Значит, вы мне поможете? Если бы вы знали, как невыносима мне стала жизнь в последнее время. Вы понимаете, я не мальчик, я уже пожил на свете, я встречал многих прекрасных женщин... я знаю, что такое любовь, но никогда я не мог себе представить, что способен на такую безумную страсть, какую теперь испытываю. Эта страсть жжет меня, как огонь. Она меня отравила... я не могу так жить... Обещаете ли вы мне, что поможете, что она будет любить меня? Для этого я готов всем пожертвовать... требуйте чего угодно, я весь в вашем распоряжении!..

- Прежде всего, - спокойно произнес Калиостро, - я потребую от вас некоторого умения владеть собою, некоторого терпения. Без умения владеть собою, без терпения ничего нельзя достигнуть. Страсть ваша велика, желание победить любимую женщину наполняет вас всецело... Это хорошо, это обещает успех, будьте только терпеливы и спокойны с виду, а главное - держите втайне задуманное вами. Если вы исполните все это, я ручаюсь вам, что вы достигнете цели.

Лицо Щенятева вспыхнуло и засияло.

- О, как мне благодарить вас, великий человек! - воскликнул он, готовый кинуться к ногам Калиостро.

Но тот величественным жестом руки остановил его.

- Подумайте, - сказал он, - прежде всего подумайте хорошенько, действительно ли вы имеете ко мне полное и безграничное доверие?

- Конечно, имею, зачем вы меня и спрашиваете об этом?

- Так клянитесь мне смело и без рассуждений исполнять все, что я вам буду приказывать. Вспомните, ведь я сам проходил через ту же школу, я сам клялся в слепом повиновении моим учителям... Я исполнил мою клятву и никогда не раскаялся и не раскаюсь в этом.

- Клянусь! - твердо и торжественно произнес Щенятев и по привычке невольным движением перекрестился.

- Принимаю вашу клятву, - сказал Калиостро, - теперь же я должен проститься с вами, я очень занят. Сегодня вечером я у вас буду...

Князь Щенятев, окрыленный надеждой, исполненный восторга, вышел. А Калиостро взял со стола маленький серебряный колокольчик и слабо позвонил.

На этот тонкий, едва слышный звонок дверь скрипнула, и в приемной появилась Лоренца.

- Ты уже один, он уехал? - говорила она, идя к мужу.

Тот с веселым лицом принял ее в свои объятия.

- Зачем же мне долго терять с ним время? О, моя Лоренца, как смешны люди, как слабы люди и как легко владеть ими!..

XVI.

Как смешны люди, как слабы люди и как легко владеть ими! - эти самые слова много раз в жизни повторял себе Потемкин, и, конечно, никогда не могло прийти ему в голову, что настанет час, когда их произнесет неведомый иностранец, применяя их к нему, Потемкину. А между тем, весело обнимая лукаво улыбавшуюся, хорошенькую Лоренцу, Калиостро подумал о "северном великане".

С одним кончил - пора к другому! - сказал он. - Что было сделано с одним в десять минут,

с другим будет сделано в день, быть может, в два, но все же будет сделано...

Калиостро поехал на верную победу. Несмотря, однако, на всю его уверенность, выдержку и самообладание, при первом взгляде на неприятельскую позицию и на силы противника, он невольно и неожиданно для самого себя смутился. На своем веку он навидался многого: блеск и мрак, нищета и богатства прошли перед ним, и он одинаково свободно и спокойно чувствовал себя как в бедной лачуге, так и в богатейших чертогах. Но никогда еще в жизни не видал он той баснословной, безумной роскоши, какая окружала Потемкина. Да и сам Потемкин среди обстановки, созданной им для себя, показался ему не тем, каким он узнал его. Только теперь, в этих чертогах, он, действительно, понял всю силу, все значение и смысл великого русского вельможи. Он уже хорошо был знаком с прошлым Потемкина, и его прошлое, вспоминавшееся ему теперь, заставило его отнестись к "светлейшему князю" иначе, чем он относился ко всем людям. Он не притворялся, не играл роли, когда почтительно склонился перед хозяином и выразил ему в отборных выражениях свое удовольствие быть у него принятым.

Но прошли первые минуты свидания, и Калиостро уже владел собою и твердо шел к намеченной цели. Он начал говорить, и в своем разговоре выказал не только высокое красноречие, но и действительные познания, блеск ума, живость, находчивость, ясность и глубину мысли. Потемкин слушал его с возрастающим вниманием, слушал как самую интересную книгу, которую до сих пор никогда не приводилось ему читать. Новый мир, таинственный, мистический, полный самой оригинальной красоты, открывался перед ним; лучшие грезы его юности возвращались снова, но уже не в прежних неопределенных и неуловимых очертаниях, а в яркой, осязаемой одежде. Таинственный иностранец, показавший ему большие чудеса, откры-

вший перед ним даже двери загробного мира, теперь говорил ему о такой власти, перед которою власть, им достигнутая, была жалким ничтожеством. Чародей убеждал его - пресыщенного, скучавшего, не находившего себе покоя, не видевшего перед собою цели, что есть иная жизнь, исполненная еще никогда неизведанных им наслаждений.

И он невольно верил чародею, не мог он не верить, после того что было, чего он был свидетелем. Да, он верил, он так хотел верить всему этому, и все это так соответствовало тайным, мучительным стремлениям всей его жизни... Прошел час, прошел другой, третий, а беседа все длилась. И мало-помалу Потемкин вышел из очарования, отогнал от себя радужные грезы. Он возвращался к действительной жизни, к той жизни, среди которой все же должен был действовать. Калиостро говорил ему теперь об алхимии, "о великом делании", то есть о философском камне, о превращении малоценных металлов в чистое золото.

Если бы еще несколько дней тому назад ему вздумали говорить об этом, он искренно смеялся бы, но теперь он слушал и не смеялся. Калиостро убеждал его спокойно, вразумительно, по-видимому, с неопровержимой логикой. И кончилось тем, что Потемкин уверовал в существование философского камня, и кончилось тем, что он согласился работать под руководством Калиостро, обещавшего ему много золота, так нужного для государства.

Граф Феникс победил его, и теперь оставалось только упрочить результаты такой победы.

С этого дня не прошло и двух недель, как Калиостро, а главным образом Лоренца, сделались почти самыми близкими людьми к Потемкину. Он отдавал им все свое свободное время. Калиостро делал большие приготовления к производству философского камня. Лоренца своей кокетливой игрою дразнила Потемкина, затуманивала его именно в те минуты, когда у него начинали рождаться сомнения, когда он готов был очнуться и понять, что

вряд ли ему придется увидеть действительный философский камень, а истратить большие суммы на это дело уж, наверное, придется.

Время шло. Настала осень. Вся жизнь двора и высшего общества сосредоточилась в Петербурге. О графе Фениксе говорили всюду. Он был занят не одним Потемкиным. Он действовал разносторонне и неутомимо. Тайно, в закрытой карете, он приезжал то один, то с женою к Потемкину и в уединенной комнате производил свои алхимические опыты. Возвращаясь от Потемкина, он таинственно беседовал с графом Сомоновым и Елагиным и уходил с ними в самую глубину каббалистики, клал основы нового тайного общества, названного им египетским масонством. Он - великий Копт, то есть единственный хранитель глубочайших таинств Востока, получивший высшую степень герметического посвящения и признанный первым из иерофантов. Он свыше получил миссию восстановить на земле истинное богопочитание и распространить между своими последователями такие знания природы, владея которыми человечество должно быстро достигнуть высокого духовного совершенства...

Простясь с Сомоновым и Елагиным, Калиостро иногда заезжал к князю Щенятеву и утверждал его в терпении. Но этого мало - скоро всему городу стало известно, что приезжий итальянский граф бесплатно всех и каждого лечит от самых разнообразных и даже неизлечимых болезней. Ежедневно со всех сторон с раннего утра к нему стекались больные, и он лечил. Мало того, он весьма многих вылечивал. Он не только не брал платы за свое лечение, но даже раздавал бедным больным очень значительные суммы.

Каждый день по Петербургу ходили новые рассказы о его чудесных исцелениях. Теперь ему недоставало одного: быть представленным императрице. Но и это Потемкин обещал в самом скором времени.

Одним словом, успех великого Копта был полный, Лоренца знала теперь, что такое великий Копт, но несмотря на все это, она время от времени продолжала смущать своего Джузеппе. Она то и дело напоминала ему о враге, о "том человеке".

Калиостро знал о Захарьеве-Овинове все, что можно было о нем знать. Он решил, что этот новый русский князь, должно быть, действительно владеет некоторыми тайными знаниями, что он где-то и от кого-то получил какое-нибудь посвящение. И он первое время его опасался, теперь же он всякий раз успокаивал Лоренцу.

- Если он, действительно, так страшен и был бы врагом, как тебе представляется, - говорил он, - мы уже почувствовали бы это. Он не допустил бы всех этих моих успехов.

Но Лоренца качала головою. Вообще наивная, легкомысленная, она в иные минуты обладала особенной прозорливостью.

- А если он ждет? - говорила она. - А если он нарочно допускает твои успехи и тогда, когда ты будешь чувствовать себя у цели, он нанесет тебе удар?

Джузеппе начинал просто сердиться.

- Я не теряю его из виду, ведь я постоянно встречаю его и произвожу свои наблюдения. Я на него действую, а не он на меня. Он подчиняется моей силе...

- А если он это нарочно...

- Ты с ума сходишь, Лоренца! Ну, а если он нарочно, значит, остается его уничтожить... Не хочешь ли взять это на себя?

Лоренца испуганно, широко раскрыла глаза и силилась улыбнуться. Но улыбка у нее не выходила. Она бледнела, она дрожала всем телом.

Одно имя Захарьева-Овинова, одна мысль о нем приводили ее в мучительное состояние.

XVII.

Румяное утро, быть может, последнее ясное утро позднего "бабьего лета" глядело в окна кабинета императрицы. Екатерина только что окончила свои утренние занятия, отпустила докладчика и, прежде чем по обычаю перейти в уборную, отдыхала. Она откинулась на спинку кресла, полузакрыла глаза, а тонкие пальцы ее руки, на белизне которых выделялись остатки чернил, небрежно играли кистью от шнура, стягивающего ее распашной утренний пеньюар.

Великая Екатерина все это последнее время очень хорошо себя чувствовала. После разнообразных живых и блестящих, как калейдоскоп, впечатлений, после кипучей умственной деятельности, оставаясь одна и предаваясь физическому отдыху, она любила именно так посидеть в своем спокойном кресле, с откинутой на мягкую его спинку головою.

В эти минуты на лице ее появлялась счастливая улыбка и так и застывала.

Ей казалась, что после долгого томительного ненастья с целой вереницей непроглядных дождливых дней, с набегающими грозами и бурями настало наконец лучезарное тихое время. Небо безоблачно, солнце ярко, мягкий душистый ветерок отгоняет полдневный зной, соловьиные песни наполняют короткие светлые ночи. И становятся эти ясные дни, эти светлые ночи все яснее, все блаженнее... Ни облачка на небе, ни малейшего признака, по которому можно было бы заключить, что скоро настанет конец долгому ведру... Так зачем же и думать об этом конце, о новых грозах, бурях и невзгодах?! Надо всецело отдаваться благополучию, посылаемому судьбою...

И всецело ему отдавалась горячая, живая, могучая душа императрицы. Она отгоняла от себя воспоминания о былых, не очень давно еще поднимавшихся на ее горизонте тучах. Она выстрадала всем существом своим эти тучи и в свое время

чутко и мучительно следила за тем, как они появлялись, разрастались, заволакивали все небо...

Внутреннее настроение, то одно, то другое - все требовало громадной энергии, громадной затраты сил... Исправление старого, создание нового, борьба ежедневная, ежечасная...

Но это были неизбежные облака, только облака, а за ними скрывались настоящие черные тучи...

Мор в Москве, сопровождавшийся бунтом обезумевшей от ужаса черни, земская беда, таинственная и страшная, как Божья кара, такая беда, с какой, казалось, и бороться-то нечем... Помиловал Бог, прошла беда, но за нею стала надвигаться другая. Нежданный бунт Пугачева, казавшийся вначале далекой и незначительной темной точкой, которая вот-вот сейчас и расплывется бесследно. Но эта точка не расплылась, не исчезла, а с ужасающей быстротою сгущалась, разрасталась и принимала чудовищные размеры...

Дрогнула, наконец, и смутилась душа императрицы, закрался в нее страх, какого она еще не испытывала даже и в самые трудные минуты своей жизни... Туча наконец рассеялась, отдохнуть бы, насладиться спокойствием... А между тем нет отдыха и спокойствия...

Были потом и другие невзгоды, хоть с виду и не столь страшные, но все же отравлявшие и дни и ночи.

Были заботы и горе в семье царской: унесена смертью на заре юной жизни супруга наследника Павла Петровича, и умерла она вместе со своим первенцем, на появление которого в свет императрица возлагала лучшие надежды...

И это миновало, у цесаревича новая избранница, юная и не менее прекрасная, чем первая. Этот новый брак сулит прочное счастье. Императрица уже ласкает любимого старшего внука. А теперь у нее есть и второй внук, здоровый, милый ребенок. Будущее России обеспечено, одною тяжкой заботой, одною тревожной мыслью меньше...

Все дела, как внутренние, так и внешние, мало-помалу приняли широкое и счастливое течение. Благодаря тонкому дипломатическому уму князя Репнина на Тешенском конгрессе благополучно разрешен вопрос о баварском наследстве, грозивший ввергнуть всю Европу в кровопролитную войну. Значение и влияние России упрочиваются с каждым днем. Русская монархиня выходит победительницею из всех препятствий. И ее имя гремит славою в далеких пределах...

У себя она окружена добрыми помощниками. Она овладела великою тайной находить чистые алмазы в почве, сделавшейся для нее родною, и шлифовать эти алмазы на зависть и удивление всему свету. Да, из ее рук выходят истинно русские работники. Она не уступает в искусстве отыскивать их и воспитывать тому, кто денно и нощно стоит перед нею чудным примером, тому богатырю-исполиину, чье наследие, не по праву кровного родства, а по праву родства духовного держит она своей женской, но по-мужски твердой рукою.

И дорожит она этими находимыми ею алмазами русского ума и таланта, хранит их как зеницу ока, осыпает их без конца щедротами и милостями. Ничего ей для них не жаль, и всякая награда кажется ей недостаточной, недостойной тех услуг, какие они приносят ее новой, горячо любимой ею родине.

Эти люди - ее семья, ее присные, ее дорогие, любимые дети. Кто любит Россию, того она любит; у кого спорится работа, на того она не нарадуется...

Прибывают, все прибывают способные работники... И все это свои, русские люди, не пасынки России, не приемыши ее, не чужеродцы... Простыми с виду, но таинственными путями по Божьему изволению и по великому разуму русской царицы, разуму просветленному и вдохновленному на благо родины стекаются эти русские люди к царскому престолу. Не спрашивает их великая царица, какого

они роду-племени, в лачуге или хоромах богатых готовились они к своему служению, не спрашивает она, кто из вельмож, царедворцев с ними в родстве либо в приязни, за кого они держатся, кто может замолвить за них доброе слово. Никаких порук ей не надо, ибо знает она точную цену этих порук. Сама она видит человека, видит его насквозь после первой же с ним беседы. Она глядит прямо и смело, отмечает человека - и не ошибается. В этом ее сила, в этом ее вечная слава...

Перед лучшим из отмеченных ею, блестящий гений которого она давно поняла и оценила, она не могла не преклониться. Она признала его себе равным, этого славного сына России, и горячо полюбила его как царица и как женщина. Каждый новый год показывает ей, что этот друг ее ума и сердца, превыше всех возвеличенный ею Потемкин оправдывает самые смелые надежды, какие она на него возлагает. Все его недостатки и странности, его своеобычный тяжелый нрав - все это кажется ей пустым и ничтожным в сравнении с великими заслугами. Как царица она им довольна, а как женщина она простит ему все, потому что прежде всего и во всем она - царица. Она знает, что не найти ей другого Потемкина, а потому лелеет и балует его. Положение его крепко, и значение его все возрастает. Нет и не может быть у него соперников...

Вот еще недавно благосклонная судьба привела ей двух новых работников - Завадовского и Безбородку. Обоих она признала пригодными для большой работы. Как женщина она отдала предпочтение блестящему Завадовскому, как царица - склонялась на сторону неуклюжего хохла Безбородко.

Но Завадовский, несмотря на всю свою близость к царице, не мог ни на минуту заслонить собою Потемкина в чем бы то ни было. А Безбородко, иногда просто неприятный царице, ни разу не

заметил производимого им на нее впечатления. Он возвышался благодаря своим талантам и пользе, приносимой им в государственном управлении и, может быть, более чем кто-либо испытывал на себе всю царскую щедрость и благодарность Екатерины...

Теперь же, в это светлое время, в это счастливое затишье, которым она наслаждалась, она готова была на всех и на все изливать свои милости, всех оделять счастьем. Она сама была счастлива.

Годы кипучей, разносторонней деятельности еще не наложили на нее своей тяжелой печати. Хотя молодость давно уже прошла, но старость все еще медлила своим приближением. Красота зрелого возраста и свежесть не покидали еще императрицы. Ей иногда казалось, что время идет не вперед, а назад, что стремится она не к старости, а возвращается к молодости - так хорошо, так бодро она себя чувствовала. Ее многодумная голова работала без устали и сохраняла всю свою свежесть благодаря, быть может, непрестанной смене в работе.

Екатерина - политик, Екатерина - администратор, Екатерина - ученый, Екатерина - драматический писатель - каждый день она проходила все эти роли одна за другою с великим совершенством. И каждый день оставалось ей еще время для отдыха, для удовольствий...

Довольно громкий, трижды повторенный стук в дверь вывел императрицу из ее приятного забытья.

Она хорошо знала этот стук, да и кто же бы иной мог теперь стучаться. С веселой улыбкой сказала она: "Войди!" - и эта улыбка не покидала лица ее во все время, как появившийся перед нею Потемкин целовал ее руку и здоровался с нею.

- С какою новостью, с каким делом пожаловал, князь? - спросила Екатерина.

- Дела все покончены вчера, а новых, матушка-царица, еще не накопилось для доклада, - отвечал Потемкин. - Новостей тоже никаких не

имею, а ежели таковые есть, то они уже, конечно, давно доложены Марьей Саввишной и обер-полицеймейстером... Без дела и без новостей, но с неким человеком, коего привел по соизволению вашего величества.

- Так это ты со своим Фениксом, князь, - сказала императрица, покачав головою, - хорошо соизволение! Чуть не силой Бог ведает кого принимать заставляет!.. И всегда-то ты был чудодеем, теперь же твои чудачества уж и не знаю до чего доходят... а я им потакать изволь... Посуди сам: приезжает неведомо откуда какой-то фокусник, авантюрист, выдает себя не то за чудотворца, не то за вечного жида, дурачит всех, как малых детей, и прежде всех кого же - Григория Александровича!.. Что он зачаровал графа Сомонова с Елагиным - оно понятно: они от всякой бабы-гадалки с ума сойти смогут... Но ты?! Не ты ли первый смеялся над ними, а теперь сам желаешь стать общим посмешищем... Потемкин усмехнулся, но в то же время его широко открытые тонкие ноздри дрогнули.

- Посмешищем я никогда не был, не буду и не могу быть, - сказал он.

- Нет, можешь, и сам к тому клонишь! - перебила его царица. - Мало того - и меня подводишь... Вчера не тем я была занята и, не подумав, смолчала, не запретила тебе являться с этим твоим Фениксом, а теперь прямо скажу: видеть его не желаю, ибо ни к чему даром давать пищу насмешникам... да и совсем мне неинтересно...

Потемкин покачал головою.

- Неинтересно!.. и мне тоже было неинтересно, и я тоже готов был смеяться, да и смеялся над легковерием этих людей, готовых носиться со всяким фокусником и обманщиком... Но как думаете, матушка-царица, неужто я так вдруг, сразу одурел и позволил себя провести проходимцу?! Ежели я привел его, то потому, что это и вправду человек

необыкновенный, и обладает он такими познаниями и силами, каких у нас вот с вами нет...

Екатерина насмешливо взглянула своими ясными голубыми глазами. Потемкин даже покраснел.

- Смеяться легко! - воскликнул он. - Но всегда ли следует смеяться?.. Меня не раз изумляло, как это вы, матушка-царица, при всей глубине и ясности вашего разума, ограничиваете свой кругозор, сами ставите перед собою стену и не желаете знать, есть ли за той стеной что-либо или нет ровно ничего...

- Ты напрасно горячишься, князь, - спокойно сказала императрица, - и напрасно обвиняешь меня... Я чужда всяких суеверий и увлечений фантастических, ибо за подобные увлечения всегда потом краснеть приходится; но я вовсе не отрицаю возможности чудесного... я склонна верить в существование предзнаменований, например, а также в способность иных людей предсказывать будущее... Мало того, скажу тебе, что и в моей жизни были такие случаи...

- Неужто? Доселе вы никогда ничего подобного не говорили...

- Не приходилось... а между тем мне слишком памятно это... Да вот хоть бы и то: судьба моя, столь нежданная и чудесная, была не раз заранее указана, начиная с самого дня появления моего на свет. Когда я родилась, был какой-то большой праздник, и первый мой крик был встречен торжественным звоном всех колоколов в Штетине. Не было ли это счастливым предзнаменованием?!

- Но это что! Я расскажу тебе удивительный случай, - как бы вся встрепенувшись, оживляясь и блестя глазами продолжала Екатерина, - слушай, князь... В 1742 или 1743 году я была с матерью моей в Брауншвейге у вдовствующей герцогини, - у которой мать моя была воспитана. И та герцогиня, и мать моя принадлежали обе к дому Голштинскому. Случилось тут быть епископу Корвенскому, и с ним было несколько каноников. Между ними

находился один из дома Менгденов. Сей каноник упражнялся предсказаниями и хиромантией. Мать моя вопросила его о принцессе Марианне Бевернской, с которой я была весьма дружна и которая по своему доброму нраву и красоте была всеми любима. Вопрос моей матери заключался в том - не получит ли эта принцесса по своим достоинствам корону? Но Менгден ничего не ответил, а, взглянув на меня, сказал: "На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере - три". Мать моя приняла то за шутку, но он объявил ей, что все исполнится и чтобы она никак в том не сомневалась. Затем он отвел ее к окошку, и она после уже с прекрайним удивлением сказала, что он ей чудес наговорил о высокой судьбе моей, таких чудес, что она ему о том и говорить запретила! Мне же она уже здесь, в Петербурге, сказала, что Менгдена предсказания исполняются, и более этого я от нее узнать не могла...

Екатерина замолчала и глядела задумчиво, очевидно, отдаваясь далеким воспоминаниям.

- Да, это весьма знаменательно, - сказал Потемкин, - и зачем же после этого такое пренебрежение к моему Фениксу, государыня? Если каноник Менгден сделал родительнице вашей удивительные, исполнившиеся предсказания, то почему приезжий итальянец не может обладать подобным же даром? И он обладает им, да кроме того, обладает такими знаниями, каких, наверное, не было у Менгдена. Коли угодно, не верьте мне и считайте меня за легковерного, одураченного человека... Но ведь он здесь, и вы можете сами убедиться - обманщик он или нет. Я уверен, что он не хуже Менгдена сделает предсказания...

- Только дело в том, что мне вовсе не надобны никакие предсказания, - спокойно и серьезно проговорила императрица, - я нахожу все это излишним, нахожу, что не следует очертя голову пускаться в таинственные лабиринты, ибо в сих лабиринтах весьма легко заблудиться.

- Однако именно эти лабиринты и привлекательны! - воскликнул Потемкин. - Быть может, в блужданиях по ним и заключается единственный смысл нашей жизни!

Екатерина задумалась.

- Для тех, кто, как ты, недоволен жизнью... Но я жизнью довольна, моя жизнь полна... Я люблю идти прямо с открытыми глазами, по твердой почве. У меня, как тебе, князь, известно лучше, чем кому-либо, большие обязанности, и для того, чтобы исполнить их добросовестно, я должна владеть всеми своими силами и способностями. У меня остается время на отдых и забаву; но то, чем ты увлечен, далеко не забава... Однако, послушай, мне все же бы не хотелось, чтоб тебя поднимали насмех и дурачили, а потому я, пожалуй, готова на несколько минут принять этого человека и разглядеть, что он такое... не в уборной только - там, наверное, кто-нибудь дожидается уже и там ему вовсе не место... проведи его прямо сюда коридором... Только что ж он - один или с ним его главная сила?

- Какая сила?

- Какая? Черноглазая, та самая, которая, думается мне, и притягивает светлейшего в лабиринты... Ты мне, конечно, и не заикнулся об этой силе, но я, как видишь, тоже имею некий дар... я тоже отгадчица...

Потемкин засмеялся.

- Верно отгадали, матушка-царица, - сказал он, - не солгали вам, точно черноглазая, как и подобает итальянке... Только где уж меня взять этой силой, и если бы у моего Феникса кроме этой силы не было, не привел бы я его сюда!

Он смеялся, а между тем манящий соблазнительный образ Лоренцы был перед ним. Этот образ вот уже несколько дней не покидал его и то и дело заставлял горячо биться его скучавшее, холодевшее сердце. Присутствие Лоренцы теперь ему было необходимо. Он ни на минуту не задумывался

над тем, какая она женщина, кто она, умна или глупа, добра или зла. Его нисколько не интересовало, что такое она говорила, какие мысли и чувства высказывала, как поступала. Он просто любил глядеть на нее, слушать звук ее голоса. Он любил каждое ее движение, шелест ее платья, он чувствовал ее присутствие, ее близость, ее тонкую своеобразную, душистую атмосферу. Эта атмосфера его опьяняла, туманила ему голову...

Он уже сказал себе, что Лоренца ему необходима и что она должна принадлежать ему. Возможно ли это, честно ли, благовидно ли - ему даже не приходили в голову подобные вопросы, ибо если б они пришли, он решил бы, что невозможно, нечестно и недостойно. Но эти вопросы не могли прийти ему в голову - он давно отвык от них, давно жил на какой-то исключительной высоте, где существовал только один закон: его воля, его порыв, его желание, немедленно же приводимое в исполнение...

Знакомый голос отогнал его капризную, манящую грезу:

- Я жду, князь, нечего мечтать о черноглазой итальянке - успеешь.

Он вышел.

XVIII.

Калиостро-Феникс был один в уединенной комнате, куда его провел Потемкин и где ему следовало дожидаться обещанной аудиенции. Несмотря на все свои тайные знания, он не мог слышать разговора, происходившего в кабинете императрицы. Но и без всяких тайных знаний единственно благодаря свойствам своей особенной, необычайно восприимчивой и чувствительной организации он понимал и ощущал то, что совершенно ускользнуло даже от внимательного наблюдателя. Эта врожденная способность проникать в сущность вещей и людей,

вероятно, дала и все направление жизни и деятельности Калиостро-Феникса, а вся его жизнь, вся его деятельность были именно такого рода, что могли только развивать, совершенствовать эту способность.

Теперь, ожидая возвращения Потемкина, он изощрял и напрягал силу своего чутья, стараясь воспринять и понять эту новую, окружавшую его атмосферу. Его цели и замыслы были смелы и дерзновенны до крайности, он решил не останавливаться на полпути, стремиться достигнуть всего, поработить себе все и всех. Он находил, что чем смелее, чем шире цель, тем большего он может достигнуть.

Он хочет властвовать здесь, в жилище русской царицы; если он при напряжении всех своих сил и не достигнет этого, то все же легко достигнет такого положения в этом царском жилище, что успех его петербургской деятельности будет обеспечен со всех сторон и ему уже нечего будет бояться нежданного противодействия. Ведь он уже узнал, что царица недовольна "легковерием" Потемкина, он уже предупрежден, что как ни могуч Потемкин, - даже именно вследствие того, что им сильно дорожат, - тот, кто возбуждает легковерие светлейшего, кто его компрометирует, может внезапно и мгновенно, по одному слову и без всяких объяснений, быть выслан из северной столицы. Избавиться от возможности такой случайности, заручиться расположением царицы, уничтожить ее предубеждение, получить некоторое влияние над нею - разве всего этого мало, разве всего этого не вполне достаточно?! Поэтому и необходимо задаваться самыми смелыми и высокими планами, ибо если будет достигнута хоть половина, даже четверть задуманного, достигнутого окажется более чем достаточно для "общих" планов, все же остальное, что дает удача и счастье, останется в излишке как прибыль...

Ему надо было добиться только свидания с царицей, только бы она приняла его, остановила

на нем свое внимание - и он победит ее, как побеждал всегда всех, как победил теперь Потемкина. Нет на свете человека, а уж тем более женщины, у кого не нашлось бы слабого места, ахиллесовой пяты. Весь вопрос в том, чтобы узнать, где именно это слабое, уязвимое место, и этим-то искусством он владеет в высшей степени, оно-то и составляет его главное, надежное оружие...

Он был крайне доволен, когда Потемкин повез его, наконец, к царице. Он чувствовал себя бодрым и крепким, оставшись один в уютной комнате, вокруг которой царствовала невозмутимая тишина. Но прошло несколько минут незримой, внутренней работы - и в нем поднялись новые ощущения. Он понял, что здесь совсем не то, что здесь совсем иная атмосфера, чем в сказочных палатах Потемкина.

Ему казалось, что он среди неведомой для него и враждебной стихии, что перед ним стена, его останавливающая и стесняющая его свободу. Он испытывал такое ощущение, какое ему пришлось испытать, когда, несмотря на все его тайные знания и силы, к нему пришли, взяли его и повели, и он не знал, куда именно его ведут и когда, какими путями он снова выберется на свободу.

"Что же это? Предчувствие?" - спросил сам себя Калиостро и должен был себе сознаться, что его ощущения, действительно, более всего похожи на предчувствие грядущей опасности и неудачи.

Он вздрогнул, но не от робости, не от страха - препятствия, неудачи только разжигали его, только удваивали его силы. Ему со всей страстностью его горячей природы, обуздывать которую он, однако, давно уж научился, захотелось скорее очутиться лицом к лицу с грозящей опасностью, разглядеть ее, понять и начать с ней бороться.

Он не сомневался, что опасность заключается в самой царице - ни в ком и ни в чем более. Он уже несколько раз видел издали эту женщину, уже

знал, что она очень сильна и тверда. Знал он также и все ее слабости, так как узнавал о ней ото всех и отовсюду. Ему пришло в голову действовать на нее только своим личным обаянием, действовать исключительно как на женщину, понравиться ей помимо всего, помимо всех своих тайных сил и знаний, увлечь ее своею красотою, чарами своих глаз, улыбок, своего горячего, сильного магнетизма...

- Пойдем к императрице, - сказал Потемкин, появляясь в дверях, - только должен предупредить вас, что она не в особенно хорошем расположении духа и что вам нелегко будет ей понравиться.

- Я и не смею расчитывать на это, - спокойным тоном ответил Калиостро, - с меня довольно чести быть принятым и беседовать с ее величеством.

Потемкин пожал плечами и окинул своего учителя довольно насмешливым взглядом. Однако его взгляд тотчас же изменил выражение: никогда еще не видал он Калиостро таким величественным, красивым, до такой степени исполненным спокойного достоинства. Он пошел вперед, движением руки приглашая итальянца следовать за собою.

Они в кабинете императрицы.

Калиостро привык ко всем приемам, и еще недавно он испытал высокомерный и презрительный прием, сделанный ему Потемкиным на вечере у Сомонова, но никогда еще не испытывал он ничего подобного тому, что ожидало его теперь. Он подходил к женщине, а увидел перед собою императрицу и в первый раз понял, что действительно существуют "императрицы".

А между тем Екатерина вовсе не хотела уничтожать его. Она могла быть самого невысокого мнения о человеке, но допустив его к себе, принимая его у себя, она не была в состоянии оскорбить его и унизить своими словами и обращением. Екатерина встретила Калиостро обычной любезной полуулыбкой и достаточно ободряющим

тоном сказала ему, что он становится самым модным человеком в Петербурге, что он по слухам исцеляет самые трудные болезни, благодетельствует неимущим больным и что если так будет продолжаться, то в лице петербургских докторов у него может оказаться целая армия противников.

- Эта армия для меня не опасна, если ваше величество будет знать, что я действительно приношу моим ближним всю пользу, какую могу принести, - с глубоким поклоном отвечал Калиостро.

Он ответил так, как должен был ответить, не потерял спокойствия и достоинства, но это стоило ему огромных усилий. В первое мгновение он был поражен, холодное величие императрицы подействовало на него подавляющим образом. Однако прошла минута, другая - и он снова овладел собою. Все, что было в нем силы жизни, воли, сосредоточил он в своем взгляде. Этот взгляд притягивал и в то же время изливал потоки горячего света; он озарял все лицо Калиостро какой-то особенной, почти страшной красотою. Екатерина невольно глядела на него и думала:

"Да, этот человек может быть опасен... В его глазах целый ад... он смел и, конечно, ни перед чем не остановится... да иначе и не одурачил бы Потемкина... Если у его подруги такие же глаза и такая же смелость, эти люди могут много бед наделать... Но на меня ты можешь глядеть как тебе угодно, меня ты не зачаруешь, потому что я не верю тебе и не хочу верить..."

И Калиостро чувствовал, что вся его сила пропадает даром, он не мог подметить ни малейшего изменения в лице императрицы - между ними не протянулось ни одной связующей нити, между ними оставалась бездна.

К тому же он понимал, что ему даже не дадут времени для борьбы. Его спрашивали - он отвечал, но едва он хотел остановиться на подробностях, его тотчас же очень осторожно, но решительно останавливали и переходили к следующему вопросу.

На вопрос о его родине и происхождении, особенно в присутствии Потемкина, который сидел молча, угрюмо, пристально разглядывая свои ногти и перстни на пальцах, он должен был сказать, по возможности кратко, то же самое, что рассказывал у Сомонова. Но то, что там, среди составленной им цепи, при известном настроении показалось крайне интересным, заманчивым и не возбудило никаких сомнений, то теперь, в совершенно иных условиях, вызвало улыбку императрицы. Калиостро не мог не заметить этой улыбки, не понять ее смысла, и эта улыбка на него самого подействовала отрезвляющим образом. Его рассказ ему самому показался теперь и неинтересным, и невероятным. Он терял свой жар, свою самоуверенность, довольство собою - и в этом было его поражение. Между тем улыбка Екатерины исчезла и на ее лице мелькнуло даже некоторое раздражение. Брови ее сдвинулись, образуя на лбу глубокую морщину, голубые глаза холодно смотрели на Калиостро.

- Ваши таинственные приключения весьма занимательны, - сказала она, - но есть один вопрос, в ваших глазах, быть может, и незначительный, а для меня имеющий некоторый интерес. Видите ли в чем дело: у вас, насколько я могу судить, несколько имен... какое же из них ваше действительное имя?

Египетский иерофан должен был вспомнить все испытания, пройденные им в недрах пирамид, для того чтобы не показать своего смущения и остановить краску, готовившуюся вспыхнуть на его щеках.

- Благодаря моему непонятному прошлому я и сам этого хорошо не знаю, - произнес он с загадочной улыбкой.

- Очень жаль, - сказала императрица, - очень жаль! Я царствую в стране, где существуют установившиеся временем порядки и законы. Наши порядки и законы могут показаться вам странными и

стеснительными; но как бы там ни было, в России все должны иметь одно подлинное имя и документы, доказывающие действительную принадлежность этого имени лицу, которое его носит...

Потемкин перестал разглядывать свои перстни и ногти, зашевелился в кресле и быстро взглянул на Екатерину, а потом на Калиостро. Вопрос о документах до сих пор ни разу не пришел ему в голову: Калиостро разгонял его скуку, Лоренца дразнила его воображение, и он только день за днем воспринимал получаемые от них впечатления.

"Неужто попался?" - подумал он. Но ему не пришлось остановиться на этой мысли и сделать вывод. Калиостро снова изобразил на лице чувство собственного достоинства и великолепным движением вынул из бокового кармана своего зашитого золотом и сверкавшего каменьями кафтана какую-то бумагу.

- Мои документы в порядке, ваше величество, - сказал он, подавая императрице бумагу, - я могу не знать своего действительного происхождения, я могу о нем только догадываться, наконец, это может быть моей сокровеннейшей тайной... Но ведь не я один в таком положении...

Глаза его горели, и он смело и глубоко глядел ими в светлые глаза императрицы.

- Наверное, и во владениях вашего величества, - продолжал он, - найдутся люди, действительное происхождение которых имеет мало общего с именем, которое они носят. А между тем их документы в порядке и признаются законными. Таков и мой документ, удостоверяющий, что я действительно тот, за кого себя выдаю, то есть граф Феникс, полковник испанской службы, числящийся в королевских войсках.

Императрица приняла бумагу, внимательно прочла ее и вернула Калиостро.

- Очень довольна, - несколько сухим тоном произнесла она, - что получила на мой вопрос ответ удовлетворительный... и надеюсь, граф, что вы не будете претендовать на мое любопытство... В

моем положении мне приходится иногда быть любопытной за других, то есть исполнять не только свои, но и чужие обязанности...

Потемкин улыбнулся и встал с кресла. Аудиенция была закончена, и Калиостро выходил из кабинета русской царицы с полным сознанием понесенного поражения. Он сознал свою ошибку, но не мог решить, в чем она и откуда происходит. Быть может, никогда еще в жизни не отдавал он столько своей силы, той силы, в которую он верил и чудные действия которой он видел столько раз. С таким количеством затраченной магнитной силы он мог повлиять на всякую женщину, он заставил бы тревожно забиться самое холодное сердце, согрел бы самую холодную кровь... Или эта женщина - лед? Нет, она, быть может, более других способна живо воспринять внезапное впечатление... В чем же его ошибка? Он упустил из виду то, что в известном возрасте женщина может поддаться страстному впечатлению только в том случае, если она сама пожелает этого...

Оставшись одна, императрица несколько мгновений находилась в задумчивости, потом она подошла к письменному столу, покачала головою и занесла в свою записную книжку:

"Справиться у испанского поверенного в делах Нормандеса о полковнике графе Фениксе".

XIX.

- Уверяю вас, что и мне неприятно и просто тяжело так говорить с вами, но вы меня вынуждаете, князь, к подобному разговору. Я его избегала до последней возможности, я сделала все, чтобы естественно и спокойно заставить вас изменить ваш образ действий... Но вы или не хотели понять меня, или делали вид, что не понимаете...

Так говорила графиня Елена Зонненфельд, грациозно и устало склоняясь на высокую покатую

спинку глубокого кресла в ее уютной гостиной, пропитанной тонким запахом каких-то неопределенных духов. Она говорила это князю Щенятеву. Он сидел перед нею, сверкая перстнями и аграфами, с лицом, залитым внезапной краской, с глазами, страстно и мучительно устремленными в глубокие и печальные глаза своей собеседницы.

- Графиня, - наконец выговорил он упавшим голосом, - неужели в моих действиях было что-либо недостойное и для вас оскорбительное? Мне кажется, я никогда и ни при каких обстоятельствах не позволял себе ничего такого, чем мог бы заслужить гнев ваш...

- Вы и теперь не хотите понять меня! - более скучающим, чем раздраженным тоном перебила его Елена. - Дело вовсе не в моем гневе! Я знаю, что вы не в состоянии желать оскорбить меня и, следовательно, гневаться мне на вас нечего... Я не люблю недомолвок и фальшивых положений и не хочу их точно так же для вас, как и для себя... Буду говорить прямо. Мы с вами знакомы с детских лет и даже в дальнем родстве... Когда я вернулась прошлой весной в Петербург, я была очень рада снова встретиться с вами, так как всегда знала вас за доброго человека. Вы приняли, по-видимому, такое сердечное участие в моих делах, оказывали мне всякие услуги... Я благодарна вам за это, и вы знаете, что я принимала вас с удовольствием, что мои двери были открыты перед вами... Прошел какой-нибудь месяц - и я стала вас видеть всегда и всюду...

- Вы меня обвиняете в этом, а сами сейчас сказали, что встречали меня с удовольствием! - печально усмехнувшись, заметил Щенятев.

Но Елена не смутилась. Ее взгляд оставался все таким же печальным и равнодушным. Она продолжала:

- Я охотно видела вас как знакомого, родственника, но это не давало вам права сделаться моей тенью, а вы стали именно моей тенью... И

вы даже ни разу не подумали о том, что так следя за мною, вы меня просто компрометировали.

- Отчего же вы прямо не сказали мне тогда же, что мое присутствие вам неприятно? Отчего вы продолжали ласково мне улыбаться при наших частых встречах? Зачем не изменяли своего со мной обращения?

Елена пожала плечами и с некоторым даже презрением усмехнулась.

- Вот, теперь я же оказываюсь виновной. Вы переходите в наступление! - воскликнула она. - Но это хорошо - я предпочитаю защищаться, а не наступать... Поймите, что я только теперь, в последнее время, увидела и сообразила все... Тогда же я так была занята своими делами, что ровно ни о чем не думала и ничего не разбирала. Вы были передо мною всегда и везде, иногда я не имела ничего против этого, иногда присутствие ваше казалось мне излишним... вот и все! Только месяца два тому назад на вечере при дворе я случайно услышала фразу... мое имя в этой фразе было соединено с вашим - и тон этой фразы мне не понравился... открыл мне глаза. С этого дня я стала наблюдать, с этого дня я сделала все, чтобы со своей стороны не подавать повода к толкам, очень для меня нежелательным, да и вас заставить быть внимательнее. Прямо говорить с вами об этом я не могла - вы относились ко мне всегда почтительно... Только раз у вас вырвался намек на такое чувство, какого я вовсе не желала в вас видеть - и я ответила вам довольно ясно... Если вы меня не поняли и даже не обратили никакого внимания на слова мои - виновата ли я в этом?.. Сегодня вы говорите прямо... Это уже не намеки - и вы даете мне право прекратить все это наше недоразумение.

Слезы стояли в глазах Щенятева; лицо его мгновенно побледнело.

- Графиня, - дрожащим от волнения голосом заговорил он, - не я вас не понимаю, а вы меня

не поняли! Вы приписываете мне такое чувство к вам, какого во мне нет и быть не может!

"Что он говорит?"- пронеслось в мыслях Елены. Ей стало неловко, но он сейчас же и вывел ее из этой неловкости.

- Я знаю, что у меня репутация волокиты, - продолжал он, - и, быть может, я заслужил ее. Но вы очень ошиблись касательно моего отношения к вам... вы оскорбляете и унижаете мое чувство... Я никогда не думал и не думаю ухаживать за вами, je ne vous fais pas la cour - je vous aime!

Он в волнении поднялся с кресла и стал перед нею, прижав руку к груди, в патетической позе.

Она взглянула на него и отвернулась: он вдруг напомнил ей графа Зонненфельда и вызвал в ней к себе то же самое ненавистное, брезгливое чувство, какое она всегда испытывала, когда муж повторял свое "ja wohl!" и подходил к ней с намерением приласкать ее.

Между тем Щенятев, бледный и трепещущий, шептал:

- Я вас люблю на всю жизнь... я ваш раб... я всецело в вашем распоряжении... Если бы тогда так поспешно и так несчастливо вы не вышли замуж, я просил бы руки вашей... я опоздал... Вы уехали - и я никогда не мог забыть вас... если я заслужил мою репутацию легкомысленного волокиты, если у меня были истории. рассказы о которых ходят по городу, то это единственно вследствие того, что я хотел как-нибудь забыться, забыть вас... И не мог! Вы появились снова - и я ваш...

Он упал на колени перед ней.

Елена с испугом от него отстранилась.

- Князь! Сейчас, сейчас встаньте - иначе я уйду! Я не могу допустить этого.

Он поднялся с колен еще более бледный, еще более трепещущий и растерянно глядел на нее.

- Так вы мне отказываете? Вы меня не любите? Вы не хотите забыть все это ужасное ваше прошлое, о котором вы мне говорили, забыть навсегда...

как бы его не было... и стать княгиней Щенятевой? - лепетал он.

Елена опустила голову и медленно проговорила:

- Благодарю вас, князь, за предложение, которое вы мне делаете... я почла бы за большую для себя честь носить ваше старое русское имя... Я очень расположена к вам... но я не люблю вас так, чтобы выйти за вас замуж.

- Это ваше последнее слово? - отчаянно крикнул Щенятев.

Она вспыхнула.

- Разве я могу шутить этим, разве такие слова говорятся на ветер? - сказала она.

Но он уже ничего не понимал. В виски его стучало, безумная тоска сосала его сердце, и никогда еще Елена не казалась ему такой обольстительной, такой прелестной. Отказаться от нее он не мог. Она будет принадлежать ему, она ему обещана Фениксом... напрасно он поторопился сегодня, вопреки советам своего учителя... Необходимо сдержать свою страсть, надо владеть собою... и... раньше или позже, несмотря на этот отказ, хоть он и кажется решительным, бесповоротным - она будет любить его, будет его женою.

Он внезапно как бы охладел, опустил глаза, чтобы не глядеть на нее, не смущаться ее красотою, и вернулся на свое кресло.

- Графиня, - сказал он довольно спокойным голосом, - вы заставляете меня сильно страдать, но видно, такова моя судьба - и я бессилен перед нею. В моей любви к вам не может быть ничего для вас оскорбительного... вы жалуетесь, что я вас компрометирую... но, ведь, до сих пор и я, как вы, действовал бессознательно, я поддавался только своему чувству. Теперь я буду осторожен, я не буду всегда перед вами, не стану надоедать своим присутствием... только, молю вас, не гоните меня от себя совершенно, позвольте мне, хоть и не так часто, бывать у вас.

- Если вы сами находите, что вам не следует бежать от меня, если вы так благоразумны - я очень довольна... Как старого знакомого, как родственника я всегда готова видеть вас... но для этого нужно, чтобы наше сегодняшнее объяснение было первым и последним. Не думайте, что я могу изменить свое решение...

- Никогда, ни в каких обстоятельства вы его не измените? - не утерпев, воскликнул он, поднимая на нее глаза и пожирая ее страстным взглядом.

Но она не видела этого взгляда - она на него не смотрела.

- Никогда и ни в каких обстоятельствах! - повторила она его слова, - и только постоянно помня это, вы и можете встречаться со мною и бывать у меня. Вы должны заставить меня забыть все, что было до сегодняшнего дня и сегодняшний день - тогда мы будем друзьями.

Она сказала все это, как на ее месте сказала бы все это и всякая другая женщина. Она не могла запереть двери перед человеком, только что предлагавшим ей свою руку и свое имя. Она говорила себе, что любовь, возбужденная женщиной и вдобавок безо всяких с ее стороны стараний, нисколько не может быть для нее обидной, а даже напротив того, должна считаться для нее лестной. Мужчина, предлагая свою руку и свое имя, если он делает это сознательно, доказывает женщине высочайшую степень своего к ней уважения, подносит ей драгоценнейший и прекрасный дар.

Наконец, она хорошо знала, что по понятиям среды, где она вращалась, дар князя Щенятева именно для нее должен казаться особенно драгоценным: ведь он, предлагая ей свое старое знаменитое имя, выводит ее из весьма фальшивого положения. Ведь у нее теперь нет никакого имени - ей странно снова называться княжной Калатаровой - ее продолжают называть графиней Зонненфельд, но уж одно простое чувство справедливости и человеческого достоинства запрещает ей носить имя

человека, совершенно ей чужого, освобожденного от всяких перед ней обязательств.

Отец ежедневно твердит ей о настоятельной необходимости выйти замуж, "исправить" свое фальшивое положение. Об этом же твердят ей родные, намекают знакомые. Но, конечно, ни на одно мгновение не остановилась она на мысли о возможности для нее нового замужества - разве она порвала свои цепи для того, чтобы надеть для себя новые?

Щенятеву не на что надеяться, мало того - если бы она могла, если бы считала себя вправе, она запретила бы ему показываться ей на глаза. Она всегда к нему хорошо относилась, но с некоторого времени его присутствие ее раздражает, приводит в какое-то странное, неприятное состояние. В этом человеке есть как бы что-то новое, чего прежде не было.

Вот и теперь... он будто успокоился, он держит себя скромно и даже с достоинством... а ее раздражение все растет и растет. Зачем он не уходит, и отчего она сама не может прервать этого неприятного свидания? Что такое происходит между ними?..

Наконец Щенятев стал прощаться. В то время, как он почтительно поцеловал ее руку, она ясно почувствовала трепет, пробежавшей по всему ее телу; голова ее вдруг отяжелела. Но он ушел, и вслед за его исчезновением, исчезли и все эти неприятные, странные ощущения.

XX.

Она осталась одна, забыв все и всех, осталась со своей тоскою, со своим горем. Тоска ее была старой тоскою, томившей ее многие годы но горе было новым горем, недавно сознанным ею, названным ею по имени. Оно пришло давно, это горе,

но оно стояло над ней в тени, и она только бессознательно его чувствовала, а не видела, и это горе было тем беспощаднее, тем ужаснее, что облеклось в наряды счастья и сразу казалось счастьем.

Елена, всю жизнь томившаяся жаждой теплоты и света, счастья и любви, гордо и целомудренно сохранившая свое сердце, теперь любила, в первый раз, безумно, беззаветно. Теперь она все знала, понимала, помнила. Она внезапно прозрела и увидела себя, свое прошлое и поняла, что это прошлое было вовсе не таким, каким она его себе представляла. До сих пор ей казалось, что она поступает по известным ей и ясным побуждениям, а между тем в действительности, теперь открывшейся перед нею, она поступала совсем по иным, неведомым ей тогда побуждениям.

В ней было два существа - одно слепое, но мнящее о себе, что оно единственное и что оно и есть Елена. Это слепое существо жило призрачной, фантастической жизнью, принимало свою жизнь за действительность и объясняло все свои чувства и поступки требованиями этой жизни. Другое существо было зрячее, и хоть Елена и не чувствовала его в себе, но только оно и чувствовало и поступало сообразно с требованиями настоящей жизни.

И теперь, когда Елена наконец его в себе ощутила и увидела, она поняла действительность, и все ее поступки и чувства получили для нее новый смысл, новое значение.

Теперь она знала, что среди розового сияния южного вечера, в развалинах Колизея, к ней подошел и протянул к ней руку человека, которого она ждала с тех пор, как почувствовала себя женщиной, кого знала, по ком томилась, о ком страстно и сладко мечтала, кого любила всем своим существом, всей своей душою. Она любила его давно, и чем дольше ждала она его, тем сильнее крепла ее любовь.

Если она так ждала его, так любила - значит, он должен был существовать, значит, он должен был явиться перед нею. И он явился. И она узнала его сразу, не могла ошибиться, не могла не узнать, потому что знала его давно, потому что давно его любила. Только узнала его не слепая Елена, мнившая себя единственно живущей, а та настоящая, зрячая Елена, теперь вот открывшаяся и себя показавшая.

Зрячая Елена, встретив и узнав сразу того, кого она ждала и любила, без кого не могла жить, а могла лишь томиться, стала действовать так, как должна была действовать. Она напрягла все усилия своей любви и воли, чтобы притянуть к себе и удержать с собою того, кого любила. Она жила его присутствием, сливалась с ним душою, уходила в его мир, упивалась любовью, торопила свое блаженство.

Но он все же ушел - и ей нечем было удержать его. Он ушел - значит, надо было искать его и прежде всего разорвать свои ненавистные цепи. Не будь этой встречи, она продолжала бы влачить их, как до тех пор влачила. Теперь это оказывалось невозможным, теперь эти цепи становились ее позором. Она разорвала их...

Она не знала, где и когда произойдет ее новая встреча с тем, кому она всецело и всегда принадлежала, но она знала, что эта встреча должна произойти, да ведь и он сам сказал ей это.

Он снова явился - и она встретила его свободной от цепей и позора, готовой идти за ним, куда он поведет, готовой исполнить свое призвание, достигнуть цели и назначения своей жизни, упиться счастием и муками, упиться жизнью.

Она его ждет... ждет... и вот оно, ее горе! Он не приходит, он не любит ее, когда она его любит, когда она создана для него, только для него. Если бы он не любил ее, зачем бы он пришел к ней тогда, зачем бы оставался с нею и приказал,

да, приказал ей освободиться и прийти к нему. Она все исполнила - где же он?

Нет, он не может не любить ее! Он ее любит. Разве может она ошибиться, разве не читала она любовь в глазах его?

А этот ужасный итальянец? Это видение в сосуде с водою? А потом та ночь, та страшная, непостижимая ночь, когда ей казалось, что она умерла, и в то же время жила, и видела его перед собою... Это был не бред, не сон, она так отчетливо все помнит... Но что же это было? Она вдруг очутилась в той самой неизвестной ей комнате, которую видела перед тем в воде; только в комнате не было белокурой красавицы... Он стоял один, властно глядя ей в глаза и притягивая ее к себе... Он звал ее - и она явилась. Она думала, что настал, наконец, давно жданный час... Вот он, он ее любит - и она кинулась к нему, вся горя своей вечной любовью... Но он оттолкнул ее ...

И все исчезло... И с тех пор он, видимо, ее избегает. Напрасно она ищет с ним встречи, напрасно ждет его, зовет непрестанно, зовет всеми силами своей души, своей любви, своей муки... Он ее не любит! Да нет же, нет, это невозможно! Так зачем такие испытания, зачем этот бред, туман?

И кто же он? Кто он, этот непонятный, таинственный человек, вокруг которого все непостижимо?.. Он принес с собою целый новый мир, странный, полный чудес и тайн...

Все эти мысли теперь не покидали Елену, преследовали ее днем и ночью, роились и бились в голове ее... Целые часы проводила она наедине с ними, не будучи в силах жить той жизнью, к какой привыкла. Ее книги оставались закрытыми, краски нетронутыми, музыкальные инструменты молчали . Иногда по два и по три дня она никуда не выезжала и с большим неудовольствием принимала посетителей. Но теперь ей захотелось

выехать, увидеть тех людей, от кого она могла, быть может, услышать что-либо о Захарьеве-Овинове.

Она подошла к окну, желая посмотреть, какова погода. В это время вблизи раздался стук экипажа, и к крыльцу подъехала карета. Лакей в придворной ливрее быстро спрыгнул с козел и открыл дверцу. Из кареты вышла какая-то женщина.

"Кто бы это мог быть?" - досадливо подумала Елена. Но отказывать было уже поздно.

Через несколько мгновений ей докладывали, что ее желает видеть, по поручению государыни, Зинаида Сергеевна Каменева.

Елена приказала просить и стояла среди гостиной, ожидая появления гостьи.

"Зинаида Сергеевна Каменева! - думала она. - Кто же это? Ах да, это одна из новых фрейлин государыни, смолянка последнего выпуска".

В дверях гостиной появилась молодая девушка. Она грациозно и скромно поклонилась Елене и сказала:

- Я не имею чести быть вам представленной, графиня, но я приехала к вам по приказанию государыни... Я сегодня дежурной фрейлиной... ее величество только что получила иностранные депеши и письма... она при мне запечатала вот этот пакет и приказала мне сейчас же к вам ехать и передать его вам в руки...

Елена, бледная, как полотно, не сводила глаз с молодой девушки. Ее сердце почти остановилось. Она никогда не встречала ее, а между тем узнала сразу... не могла не узнать. Это прелестное, невинное лицо навсегда запечатлелось в ее памяти, хоть и появилось перед нею на одно мгновение, в уменьшенном, неведомо откуда и какими путями явившемся, отражении в глубине графина с водою...

Машинально она приняла из рук ее пакет и положила его на стол.

- Государыня просит вас при мне прочесть... она пишет вам сама и ждет ответа, - сказала фрейлина.

Елена так же машинально распечатала пакет. В нем заключалось известие о внезапной кончине графа Зонненфельда фон Зонненталя. Тут же рукой императрицы было приписано: "С разводом поторопились. Но все же есть некоторые соображения. Желаю вас видеть. Я теперь свободна и прошу приехать тотчас с моей фрейлиной".

- Передайте государыне... я не могу исполнить... ее приказания... я... больна... - прошептала Елена, почти без чувств падая в кресло.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I.

Старый князь Захарьев-Овинов чувствовал себя с каждым днем все хуже и хуже. Его одолевала по временам такая слабость, что он не мог пошевельнуть ни одним членом - ему было трудно даже принимать пищу. Целыми часами лежал он неподвижно, закутанный в свой меховой халат, с закрытыми глазами, с мертвенным желтым лицом.

Обрывки мыслей бродили в голове его; перед ним беспорядочно, вытесняя друг друга, вставали воспоминания прошлого, но воспоминания эти не приносили уже ни отрады, ни грусти. Для изнемогающего старика это были только картины, которых он становился безучастным, равнодушным зрителем. Не он вызывал их - они являлись сами, и он глядел на них только потому, что надо же было глядеть, когда гляделось.

Однако все это становилось ему, наконец, крайне утомительным, он делал над собой усилие, открывал глаза, возвращался к действительности. Неподвижный покой в течение нескольких часов накоплял в нем некоторую небольшую долю жизненной силы. Он мог приподняться с кровати, перебраться с помощью своего старого слуги Патрикеича в кресло, выпить чашку бульону, глоток вина, съесть пару яиц всмятку.

Тогда он вспоминал, что еще живет, и первая мысль, приходившая ему, была мысль о сыне. Он спрашивал Патрикеича дома ли князь Юрий Кириллович, и почти всегда получал в ответ, что дома. Мало того, ему в такие минуты не при-

ходилось даже посылать за сыном, так как сын тотчас же приходил к нему сам, будто чувствуя издали его зов.

Сын приходил, и они оставались вдвоем, иногда очень долго. Но эти свидания были все те же, как и с самого начала, - они не приносили старику никакой отрады, а иногда под конец просто раздражали его, хоть он и ничем не показывал этого своего раздражения. Он был очень недоволен, а между тем и сам не мог определить, чем именно недоволен.

Еще сын внимательно и толково разобрал все дела, привел их в ясность, устроил: теперь можно было умереть спокойно, зная, что долг исполнен, что старая несправедливость, по воле судьбы и по собственному свободному желанию, исправлена и что большое родовое имущество князей Захарьевых-Овиновых не только не переходит в чужие руки, а даже получает разумного, бережливого хозяина. На этот счет не могло быть сомнений - этот сын не только сбережет, но и приумножит родовое богатство; он привык к скромной жизни, вкусы его просты, он довольствуется малым, даже, может быть, чересчур малым в его новом положении.

Наконец, старый князь никак не мог пожаловаться на обращение с ним сына. Он видел от него постоянную заботливость, все знаки сыновнего почтения, предупредительность, даже нежное внимание к его болезни, очевидное желание насколько возможно развлекать его, быть ему угодным. Иной раз старик, помимо своей воли, становился крайне раздражительным, капризным - все его выводило из терпения, все было не по нем, и в такие дни сын выказывал большое терпение, особенную нежную заботливость.

Но именно все эти качества сына и возбуждали в отце болезненную раздражительность, даже ускоряли ход его недуга. Присутствие сына, его терпение, его ровный, спокойный характер, его предупредительная заботливость, не только не

успокаивали больного, но заставляли его волноваться, страдать и, вследствие этого, быстро впадать в слабость, доходить до почти полного истощения сил.

Старому князю бессознательно хотелось, чтобы его Юрий вышел из своего спокойствия, рассердился, показал бы хоть миной одной, что ребяческие капризы и привередничанья больного старика его раздражают, что он находит их чрезмерными. Старый князь опять-таки не отдавая себе в том ясного отчета добивался этого, всячески сердил и раздражал сына.

Но все его старания пропадали даром. Юрий Кириллович даже как бы и не замечал ничего. Его бледное и молодое лицо с холодными, светлыми глазами оставалось неизменно спокойным и в нем нельзя было прочесть не только раздражения и досады, но и ровно никаких ощущений. Оно молчало - это лицо, убийственно молчало, и самая нежная сыновняя заботливость, и самые добрые, ласковые сыновьи слова только раздражали, только мучили, являлись излишней, чрезмерной тягостью.

Кончилось тем, что старый князь стал просто пугаться сыновнего лица - оно казалось ему неживым, казалось прекрасной, но безжизненной маской.

Иной раз, беседуя с сыном, рассказывая и передавая ему то, что считал важным и нужным, князь ясно замечал, что сын отсутствует; он перед ним, он глядит на него, а в то же время его нет - он далеко где-то, не принимает никакого участия в разговоре, не слышит отцовских слов, они ему неинтересны, он чужой.

Последняя краска, краска раздражения и досады, вспыхивала на желтых, иссохших щеках князя.

"Юрий, ты меня не слушаешь?" - едва сдерживая себя, замечал он, и был уверен, что сын или опять его не услышит, или, расслышав, смутится и не будет знать, о чем идет речь, что говорил отец.

Но сын отвечал спокойно, не изменяя своей холодной неподвижности:

- Помилуйте, батюшка, я внимательно вас слушаю; вы мне сообщаете обстоятельства вашей жизни, бывшие мне доселе совсем неизвестными; эти обстоятельства помогают мне ближе знакомиться с весьма многим, а главное - с вами, понимать вас и верно ценить... Я вам благодарен за это, ибо сближение с вами и понимание душевной вашей жизни есть именно то, чего я, как сын ваш, более всего желаю".

Он говорил это серьезно, своим ровным, звучным голосом, глядел прямо в глаза отца своими ясными и в то же время жутко блестевшими глазами. Нельзя было ему не верить, ибо в нем можно было найти что угодно, кроме лжи, неискренности и обмана. Весь он, все существо его и это спокойное неподвижное лицо, и этот властный, холодный взгляд, каждое его движение, полное горделивой, сознающей себя силы, ясно говорили о том, что такой человек никогда не унизится до лжи, неискренности и обмана, что ему нет никакой причины, никакой надобности до них унижаться.

А между тем не в силах был старый князь и поверить ему, хоть и желал бы этого пуще всего на свете, не мог, потому что он слышал слова сына, но не чувствовал их, потому что слова эти звучали, но не согревали его холодевшее, тянувшееся к теплу сердце.

"Если он говорит, что ему интересно, что он желает сближения - значит, это так, но насколько интересно, в какой мере желает?.. Он где-то далеко и высоко, он на все смотрит сверху, издали - и все кажется ему мелким, ничтожным!" - старый князь не мог бы, конечно, ясно высказать мысль эту, дать себе в ней отчет, но его сердце чувствовало все это и понимало.

Да, недавний Юрий Заховинов был действительно и далеко, и высоко от всего, что его теперь окружало. Он жил и действовал, исполнял то, что

в настоящее время было им признано за его обязанности; но эта жизнь, эта деятельность не была его жизнью и деятельностью. Он сказал себе, что должен быть при отце до конца, что должен относиться к отцу как любящий сын, - и терпеливо и внимательно исполнял свою задачу.

Он, конечно, видел недовольство отца, быть может, он даже понимал его причину; но делать больше того, что он делал, не было в его власти. Ему казалось, что он делает все, если же отец недоволен и этим - так это уже не его дело.

Отец слабеет с каждым днем, отец, видимо, близится к могиле. Можно ли остановить неизбежную работу природы, вечно разрушающей одну форму жизни для того, чтобы создать из нее новую? Можно ли своей волей и, следовательно, за своей ответственностью повелеть тому, что люди называют смертью, отступить на время? Можно ли? - и он отвечал себе: "Можно". Должно ли это? Следует ли брать на себя такую ответственность в данном случае? - и он отвечал: "Нет".

Бессмертный дух человека готовится покинуть свою земную, материальную оболочку: одна форма материи перейдет в другую, послужит материалом для бесконечного разнообразия проявлений жизни; жизнь духа вступит в новое состояние.

Если этот процесс, представляющийся темным людям таким таинственным, печальным и страшным, а в сущности такой простой и прекрасный, уже начался, значит, его отец остановился на пути своем и дальше идти не может, не может больше развивать свой дух. Значит, пора ему отдохнуть, и затем, уже в новом образе и в иных условиях существования, продолжать очистительную работу духа.

Итак, он не станет вмешиваться в процесс видимого разрушения тела отца, не станет его задерживать. Но он может, время от времени, успокаивать страдания отца, давать ему несколько

часов отрадного покоя - и это он делал постоянно при первой к тому возможности.

Повинуясь силе его взгляда и движения, бывших выражением его мощной и твердой, как камень, воли, старик внезапно засыпал блаженным сном, полным сладких видений. Но проходило три-четыре часа - и он просыпался снова больной, слабый, с сознанием мучительной тягости, которая была не иное что, как его износившаяся, потерявшая для него смысл и значение земная его жизнь.

Оставалось одно, что могло бы сделать эту тягость нечувствительной, скрасить последние дни, осветить их и согреть. Этого тепла и света всегда недоставало старому князю Захарьеву-Овинову; но прежде, когда он мог получить их, он о них и не думал, не понимал их необходимости. Он любил свою жену и детей вовсе не так, как мог бы, как должен был бы, для своего же счастья, любить их. Да и они не так его любили.

Потеряв их, он понял это, понял свое сердечное одиночество - и ужаснулся. Он стал надеяться на оставшегося сына. Но этот почтительный сын, этот удивительный, таинственный человек был и оставался ему даже более чужим, чем все остальные люди. Он не мог дать ему ни одной минуты света и тепла.

Сколько раз трепещущие отцовские объятия простирались к сыну, но от сына веяло холодом. Бездна была между ними, и эта бездна становилась все шире, все глубже с каждым днем, с каждым часом.

"Любил ли он хоть кого-нибудь на свете? Что в его сердце?" - думал иногда старик, глядя в не выдававшие своих тайн глаза сына.

И смутно решал он, что его сын никого не любит, что, несмотря на все его спокойствие, силу, и величие, он глубоко несчастлив...

II.

Был ли он, действительно, счастлив или несчастлив на своей высоте, и какого рода счастье, какого рода несчастье давала ему эта высота?

Бывают периоды в жизни человека, когда он особенно часто и сознательно вспоминает свое прошлое, останавливается на нем, мыслью и сердцем переживает его снова. В таком именно периоде находился теперь Захарьев-Овинов. Покончив дела, возвращаясь в свои тихие комнаты нижнего этажа, он очень часто прежде чем углубиться в чтение или писание, подолгу сидел неподвижно, уходя в свое прошлое, делая из него выводы и на их основании представляя себе картину будущего...

Все его детство и отрочество прошли в деревне князя, в той деревне, где жила, любила и умерла его мать. Он рос, окруженный баловством и почтением многочисленной княжеской дворни, как сын князя, как крестник императрицы. Вместе с этим не прерывалась его связь с родными матери. У нее был брат священник, заступивший место своего отца при церкви в имении князя.

Отец Петр, этот дядя маленького Юрия, и его семья были ему единственными близкими людьми, и только от них он видел настоящее чувство и сердечную ласку. Он был очень дружен с сыном отца Петра, Николаем, своим сверстником. Эта братская дружба была лучшим из ранних воспоминаний Юрия.

Но вот мальчики подросли, и дороги их разошлись в разные стороны: Николая отправили в Киев учиться, Юрия перевезли в Москву, в дом князя, приставили к нему двух гувернеров для обучения языкам немецкому и французскому и затем, когда он уже был достаточно обучен, его отправили с теми же гувернерами за границу.

Так было нужно по семейным обстоятельствам князя Захарьева-Овинова. Отец не отказывался от сына, он следил за ним, он два раза приезжал в

Москву с единственной целью повидать его, но все же мальчика необходимо было удалить, по крайней мере, до поры до времени.

И вот он очутился в далеком немецком университетском городе, лишенный всего, с чем сроднился, что любил, окруженный чуждыми людьми, чуждою жизнью...

Уже в годы детства, в деревне, среди счастливого и беззаботного неведения и привольной, здоровой жизни на Юрия временами находила какая-то странная тоска, томление. В такие дни он избегал даже своего двоюродного брата и друга, Николая, он искал уединения - зимою в пустом обширном зале княжеского дома, а летом где-нибудь в чаще леса или в глубине старого запущенного сада. По целым часам он бродил, не зная устали, витая мыслью и сердцем где-то далеко, в неведомых, но все сильнее и сильнее манивших его пределах.

Ему чудилась совсем иная жизнь, не имевшая ничего общего с окружавшей его жизнью, полная новых существ и новых отношений... Он чувствовал себя окруженным бесчисленными, едва уловляемыми образами, слышал вокруг себя неясные голоса, ощущал легкие прикосновения. И все это звало его, видимо, силилось ему сказаться, проявиться перед ним яснее, определеннее. Вот-вот, еще миг, казалось, совершится великая перемена, его глаза наконец все увидят, уши все услышат... Вот уже он начинает видеть... образы сгущаются... светлеют... слова раздаются громче... Но происходило в нем нечто, будто обрывалось что-то - и таинственный, манящий и зовущий его мир исчезал.

Он возвращается к действительности, но возвращается с тоскою, долго его не покидавшей. Он слишком рано начал вдумываться в смысл окружавшей его жизни и с каждым годом все настойчивее решал, что эта жизнь - несправедливость, мрак и страдание, что это даже и не настоящая жизнь, ибо есть иная, та, которая его звала и манила, хотела и не могла ему ясно сказаться.

Вместе с тем в нем росло и развивалось глубокое убеждение, горячая вера в то, что сам он рожден не для этой несправедливой и темной, а именно для иной, светлой жизни, что он выше всех, кто его окружает, и связан с этими людьми не внутренней, а только внешней, временной связью.

Подобная внутренняя жизнь и хотя еще не ясные, но все глубже и глубже укоренявшиеся в нем взгляды, естественно, придавали ему рассеянный, властный и даже надменный вид. Но этот вид не изумлял никого из окружавших - он казался естественным в княжеском сыне, в барчонке, которого, по строжайшему наказу князя, все должны были беречь как зеницу ока, баловать и лелеять. Единственное существо, могшее заглядывать во внутренний мир Юрия, был Николай, и между ними иногда завязывались разговоры, довольно странные для детей их возраста.

Но дело в том, что Николай плохо понимал своего друга. Это происходило вовсе не потому, что он был недостаточно умен и развит - ни в уме, ни в общем развитии он тогда не уступал Юрию, - а просто потому, что его детское миросозерцание, его характер были иными. Он не слыхал никаких голосов, ему не грезилось ничего таинственного и необыкновенного, и он никак не мог сообразить, как может Юрий тосковать и не любить того, что вокруг них, чем они живут и должны жить. Он, наоборот, любил все и всех, и жизнь представлялась ему прекрасной.

И чем более вырастали мальчики, тем им труднее становилось понимать друг друга. Их привязанность и дружба оставались неизменными, но к тому времени, когда им пришлось разлучиться, с тем, чтобы идти совсем разными дорогами, их внутренний мир стал окончательно различен...

С переездом за границу в жизни Юрия произошла не одна внешняя, но и душевная перемена. Он наконец узнал то, что до тех пор от него

тщательно все скрывали, узнал свое действительное положение, о котором еще недавно только смутно догадывался. Это открытие поразило его и способствовало дальнейшему и быстрому развитию в нем прирожденных ему свойств и особенностей. Его болезненно чувствительное самолюбие, его природная гордость сильно страдали, жизнь и люди стали представляться ему еще более темными и несправедливыми. И в то же время он все сильнее проникался сознанием своего превосходства, своей исключительности.

Он чувствовал и знал, что предназначен к чему-то особенному и таинственно великому... и он ждал, когда наконец судьба его начнет совершаться, когда она ему откроется. Пока же он учился жадно, неутомимо. Ему хотелось добыть как можно больше знаний, самых разносторонних. Ученье было его единственной жизнью. Он жил особняком, не сходясь со своими иноплеменными университетскими товарищами, не принимая участия в их тревогах, радостях и удовольствиях.

Патриархальная жизнь немецкого университетского города, в которой, несмотря на известную мелочность и значительную исключительность интересов, все же можно было в те времена найти многие светлые, живые и здоровые стороны, казалась ему не только скучной, но почти противной. Он презирал, искренно презирал эту жизнь и эти чуждые ему интересы.

В семнадцать лет он был вполне развившимся телесно, красивым юношей. Хорошенькие и влюбчивые немочки начинали на него засматриваться, и ему ровно ничего бы не стоило, по примеру товарищей, завести сентиментальный и мещанский роман с любою из них. Ему тоже ровно ничего не стоило бы отдаться и горячей страсти в объятиях одной из очень скромных с виду, но легко и дерзко смело увлекавшихся молодых женщин, жен профессоров и высших чиновников города. По крайней мере немецкие дамы и девицы сделали со сво-

ей стороны все, чтобы навести его на такие мысли и расчистить дорогу перед интересным юным иностранцем.

Но все их усилия пропадали даром: Юрий Заховинов даже и не глядел на них - они для него не существовали. А между тем его здоровая и крепкая юная природа уже говорила ему о женской красоте, он уже начинал понимать, что такое любовь и страсть и какую могучую и законную роль они играют в жизни. Что же избавляло его от увлечений? Все та же гордость, все то же сознание своей грядущей судьбы, для которой он готовился, которую ждал страстно, всем существом своим, которая пока и была его единой любовью, поглощавшей все его помыслы, все его чувства.

Переносить это ожидание помогали только книги - и в двадцать лет Заховинов поражал профессоров своими разносторонними серьезными познаниями.

Университетский курс был им пройден. В это время он получил от отца письмо и поехал в Россию, в Москву, где должен был свидеться с князем. Отец и сын прожили вместе более недели. Князь сделал все, чтобы произвести наилучшее впечатление на юношу, который был ему мил, напоминая его молодое, горячее увлечение деревенской красавицей.

Он предложил Юрию ехать в Петербург и начать там службу, обещал ему протекцию, обеспеченность, прекрасную будущность. Он просил только одного - скромности и большого такта в отношениях с его семьей. Это было необходимо прежде всего для самого же молодого человека, и князь, разглядев его, не сомневался, что он способен держать себя с тактом.

Юрий Заховинов решительно отказался от Петербурга и просил князя разрешить ему снова вернуться за границу "для усовершенствования в науках". Князь подумал и согласился.

Но прежде чем снова покинуть Россию, Юрий приехал в деревню поклониться праху матери. Там

все было пусто: отец Петр и его жена умерли один за другим года три тому назад. Николай был в Киеве, кончал ученье, и в скором времени должен был вернуться в имение князя священником. Таково было его желание, на которое уже последовало княжеское согласие.

III.

Этот вторичный отъезд Юрия Заховинова за границу окончательно решил судьбу его. Если б он остался в России и стал жить в Петербурге, как сначала желал того князь, если б он начал государственную службу, его жизнь могла сложиться совсем иначе. Новая обстановка, отношения, интересы - все это не могло бы не отозваться на его внутреннем мире.

Он был крепок и здоров, обладал привлекательной внешностью, богатыми способностями, разносторонними познаниями. При поддержке князя, никогда не дававшего обещаний на ветер, такой человек непременно должен был проложить себе дорогу, достигнуть более или менее значительного, как служебного, так и общественного положения.

Борьба, ему предстоявшая, так же как и самолюбивый характер, должны были развить в нем честолюбие, желание подняться как можно выше, наверстать то, что было у него отнято обстоятельствами его рождения, - и кто знает, на какую высоту он мог бы подняться...

Несмотря на всю свою юность, он почти понимал все это, и была даже минута, когда он почти решил остаться, попытать свои силы и начать достигать путем сознательной борьбы и неослабевающих усилий всего того, в чем люди полагают счастье.

Но это была только минута - громкий внутренний голос властно сказал ему: "Беги отсюда, великая и таинственная судьба твоя ожидает тебя не

здесь, а там. Если останешься здесь, она отойдет, и ты потеряешь ее, быть может, навеки, ибо у тебя есть свободная воля разобраться в своих стремлениях и пойти направо или налево. Иди же направо, беги отсюда!"

Он поверил этому внутреннему, уже знакомому и никогда еще его не обманувшему голосу и уехал.

Он снова очутился один, среди чуждой ему жизни, среди чуждых ему людей, на которых невольно и даже не отдавая себе в том отчета глядел свысока. Но это одиночество его не тяготило. Он жил не в настоящем, а в будущем и для будущего глядел на свое настоящее, на эти однообразно сменяющиеся дни и ночи, как на нечто временное, почти как на тюремное заключение. Тоска и мрак тюрьмы едва замечались, ибо весь он, мыслью и духом, был в той радостной минуте, когда наступит светлая, широкая и счастливая свобода.

Эта свобода была ему обещана, он не знал кем, но знал и верил, что она ему обещана. Если б можно было отнять у него эту веру и это убеждение, он не задумываясь покончил бы с собою, так как ему пришлось бы тогда остаться с одним только настоящим, то есть с вечной, безнадежной тюрьмой.

Однако он понимал, что и в тюрьме нельзя жить сложа руки, что если невозможно до времени счастливого освобождения утолить свою палящую жажду, насытить мучительный голод, все же необходимо иметь глоток воды и кусок хлеба, иначе освобождение придет слишком поздно, найдет не живого человека, а труп.

Такой духовной, единственной его пищей была наука. Заховинов стал объезжать один за другим все университетские города Западной Европы, работал во всех книгохранилищах, знакомился и сходился с известными учеными всех стран, делался

их внимательным учеником, извлекал из каждого все, что̀ только тот мог дать ему.

Так проходили годы. Юрий Заховинов уже приблизился к тридцатилетнему возрасту. В Россию он не возвращался. Денежных средств, высылаемых ему князем, было достаточно для скромной жизни, какую он вел. Он время от времени переписывался с отцом, и мало-помалу так уже само собою сложилось, что отец не звал его больше в Россию, его пребывание в чужих краях, его переселение из страны в страну, из города в город - все это как бы узаконилось, стало нормальным.

Теперь он был выбран в действительные члены многих ученых обществ; светила европейской науки принимали его как сотоварища, охотно с ним беседовали, даже порой изумлялись глубине и обширности его знаний. Он постоянно работал, много писал, но не напечатал ни одной строки и вне избранных ученых кружков его имя оставалось совершенно неизвестным. А между тем ему стоило опубликовать хоть одну из работ своих, чтобы легко достигнуть почетной известности.

Что же мешало ему поделиться с людьми плодами усидчивых, многолетних трудов своих, что мешало ему получить должное, занять по праву принадлежащее ему почетное положение? Ответ на это заключался в том, что он искренно считал всю современную науку ничтожной, что с каждым годом, приобретая новые познания, он все более и более убеждался, до какой степени они слабы. Если люди, называющие себя учеными, действительно считают себя таковыми и если все им верят, то это не иное что, как всеобщее заблуждение.

Он же не причастен такому заблуждению - он ясно и хорошо видит, что самые смелые и серьезные из современных ему ученых бродят впотьмах, что до сих пор никто из них не решил как следует и бесповоротно ни одного из простейших вопросов, касающихся природы и жизни. Видят явления природы и жизни, наблюдают их, разъяс-

няют, противоречат и друг другу и себе в этих разъяснениях, а причина явлений остается тайной. Работают целые века над расширением могущества человека, над порабощением сил природы - и продолжают оставаться рабами этой таинственной природы, которая из-под своего непроницаемого покрывала насмешливо смотрит на жалкие усилия слепых пигмеев.

Но вместе с этим Заховинов чем больше жил и работал, тем более убеждался в заблуждении считать человечество шествующим постоянно вперед, без остановок и с каждым веком приобретающим все больше знаний. Нет, если получаются новые знания, то многие прежние забываются, исчезают; человечество, или, вернее, отдельные, более развитые его части имеют свой день и свою ночь. Работающая часть человечества, совершив свой труд, покончив свой день, утомляется и засыпает. Настает ночь с бурями, грозами и дождями. Ночная непогода ломает и смывает труды спящих работников, и когда при наступлении утра поднимаются на труд новые работники, они застают прежнюю работу в развалинах: иное приходится переделывать, другое начинать снова, так как прежнее совсем погибло, исчезло, забылось. И кончается тем, что новые работники совсем разрушают все здание и принимаются возводить его по новому плану, употребляя при этом совсем новые приемы в работе. Но ведь на этот новый план, на выработку новых приемов и орудий потребны века - поэтому-то постройка и идет так медленно.

Заховинов был уверен, что он живет в один из ранних утренних часов новой работы, на развалинах громадного труда, совершенного работниками древних цивилизаций. Убедясь в этом, он, естественно, сосредоточил все свое внимание на развалинах древнего мира.

Мало-помалу он решил, что работники предшествовавшего периода во второй половине своего трудового дня знали неизмеримо более, чем пер-

вейшие ученые XVIII века, только работали они по совсем иному плану и употребляли в работе иные, ныне забытые приемы. Новый план, быть может, гораздо лучше, новые приемы гораздо совершеннее; но ведь пройдут века, прежде чем будут достигнуты большие результаты работы. На закате нового трудового дня человечества, перед наступлением новой ночи истинные знания будут глубже и серьезнее, чем были они в предшествовавший вечер человечества. Но ведь теперь-то, в этот ранний утренний час, в час подготовительной работы человеческие знания ничтожны сравнительно с теми, какими обладали древние работники перед наступлением неизбежной ночи, почти разрушившей следы их работы...

Страстно и неустанно, с томлением все возраставшей жажды, с муками все усиливавшегося голода стал Заховинов искать капли и крупицы древних затерявшихся знаний.

Прежде всего он, естественно, должен был натолкнуться на астрологию, хиромантию, картомантию, всевозможные способы узнавания судьбы человека и предсказывания будущего. Он остановился в недоумении. Все это были тоже древние науки. На утренней заре новые работники нашли их крупицы разбросанными и затерянными в развалинах древнего мира. Крупицы эти кое-как подобрали, сложили в одну общую кучу и время от времени забавлялись ими. Иной раз даже считали их очень интересными, даже пробовали серьезно взглянуть на них. Крупицы входили в моду и выходили из моды. Серьезные люди, а уж тем более ученые, относились к ним с полным презрением.

Презрительная усмешка мелькнула и на устах Заховинова. Астрология! На основании каких-то условных вычислений, каких-то положений и соотношений некоторых небесных тел в минуту рождения человека нарисовать круглую или квадратную фигуру, разделенную на двенадцать частей, - и в этой фигуре, как в раскрытой книге, прочесть, ясно и

подробно, всю грядущую жизнь человека!.. Гороскоп! Какое безумие!..

Хиромантия! Ладони человеческих рук испещрены более или менее тонкими, разнообразными чертами... Разглядеть все эти черты, рассмотреть форму руки и пальцев - и опять-таки, как в книге, прочесть на руке характер и судьбу человека!.. Читать тот же характер, ту же судьбу в возвышениях и углублениях черепа - и называть это френологией, наукой! Читать эту судьбу в известном образе расположенных картах!.. Неужели стоило всю свою жизнь искать истину и работать, чтобы остановиться на такой фантастической забаве?.. Нет, не эти крупицы, найденные в развалинах древности, важны. Они - только древнее заблуждение. Надо рыть глубже...

Но тут Заховинову пришлось признать себя виновным в поспешности заключений. Он столкнулся с жившим во Франкфурте старым евреем Моисеем Мельцером, занимавшимся составлением гороскопов. Еврей этот составил его гороскоп, и Заховинов с невольным изумлением и интересом сидел над этой странной фигурой и читал подробные к ней объяснения. Еврей не мог знать не только обстоятельств его жизни, но и не имел о нем никакого понятия. В этом Заховинов был уверен. А между тем в объяснениях, написанных дрожащей старческой рукою, была подробно описана вся жизнь Юрия Заховинова, как он знал ее сам. Прошедшее и настоящее были верны, будущее сулило именно то, чего желал для себя Заховинов.

- Интересная случайность! - решил он.

Но через полгода в Милане какой-то босоногий монах по чертам рук рассказал ему то же самое, что было написано при гороскопе евреем.

После этого Заховинов решил, что необходимо тотчас же ехать в Мюнхен, где, как он слышал, жила какая-то фрау Луиза, славившаяся своими гаданьями на картах. Фрау Луиза в третий раз повторила перед ним его прошлое, не ошиблась, гово-

ря о настоящем, а будущее изобразила именно таким, каким представили его еврей и монах.

- Таких случайностей быть не может, - сказал себе Заховинов,- и чем большим это кажется вздором, тем это интереснее и серьезнее.

IV.

День, когда Заховинов сказал себе слова эти, был великим днем в его жизни.

Есть люди, и в особенности между учеными всех времен было и есть много таких людей, которые или с чужого голоса, или даже путем собственной мыслительной работы дойдя до известных понятий уже решительно не в состоянии сойти со своего места. Вне точки, на которой они остановились, им все кажется заблуждением и нелепостью. Они не признают для себя возможности никаких ошибок. Если свидетельства их собственных чувств противоречат их теориям и выводам, они не хотят ни видеть, ни слышать, ни осязать, закрывают глаза, зажимают уши - и бегут дальше от явления, грозящего доказать их несостоятельность, бегут с упорным криком: "Этого быть не может, это противоречит здравому рассудку, это нелепость!"

Но дело вовсе не в том, что "этого быть не может и что это нелепость", а просто в том, что человеку очень спокойно на своем пригретом, облюбованном и комфортабельно устроенном местечке. Иной раз, если это действительно ученый и мыслитель, он ведь столько поработал, столько сил и жизни вложил в созидание своего мировоззрения, был его глашатаем, знаменосцем. И вдруг какое-то странное явление грозит разрушить до основания всю эту работу целой жизни, доказать неосновательность и близорукость работника! Нет, следует закрыть глаза, зажать уши, объявить дерзновенное, назойливое явление нелепостью и остаться у своего знамени, на своем месте.

Но эти люди своим образом действий прежде всего доказывают, что они работали лишь для собственных удобств, отдыха и лени, а не для истины, что они малодушные трусы, заботящиеся не о том, чем быть, а о том, чем слыть, пуще всего боящиеся свистков и глумлений современной им толпы, - и никогда подобным людям не покажет истина бессмертной красоты своей!..

Заховинов, более чем равнодушный к мнению о нем интересных и ненужных ему людей, работавший не для известности среди современников, никогда не думавший ни о каких свистках или овациях, уже по одному этому был свободен в своих занятиях от всяких искушений и смущений.

Единственными его судьями были его же собственный разум, его же собственное чувство. Эти единственные и безапелляционные его судьи решили, что слишком легкомысленно и недостойно глубокого искателя истины отворачиваться от несколько раз повторенного факта только потому, что неисследованная причина этого факта представляется нелепостью...

Все, что может сделать осторожный, спокойный и рассудительный человек для того, чтобы убедиться, что он не был жертвой обмана, - все это сделал Заховинов с целью узнать не было ли какой-нибудь связи между франкфуртским евреем, мюнхенской фрау Луизой и миланским монахом, и не мог ли кто-либо из них знать о нем, его прошлом и настоящем. Но все самые тщательные изыскания заставили его отказаться от этой мысли.

Тогда он снова поехал во Франкфурт и сделался скромным учеником бедного и грязного старого еврея, Моисея Мельцера. За денежную помощь, в которой он действительно нуждался, а может быть, и по иным еще побуждениям еврей согласился передать Заховинову все свои познания.

Целые дни проводили они вместе, и очень скоро Заховинов увидел, что его время не пропадает даром. Еврею незачем было для составления горос-

копа пришедшего к нему незнакомца узнавать его прошлое и настоящее - теперь Юрий Кириллович на основании преподанных ему правил сам составил свой гороскоп, и эта работа оказалась тождественной с работой еврея. Объяснения, так подробно и точно рассказавшие всю жизнь его, он нашел в старой рукописи, хранившейся у Мельцера и составлявшей главный источник его астрологических познаний.

По уверениям еврея, рукопись эта была написана Ожэ Феррье, доктором Екатерины Медичи. Подробного ее изучения было достаточно Заховинову для того, чтобы убедиться в том, что под словами и понятиями, осмеянными и признаваемыми за шарлатанство и вздор, скрывается действительно очень серьезная и важная сущность. В древнем мире существовала истинная наука, точная и безошибочная, далекая от всякой произвольности и гадательности, от всякой фантастичности. Эта древнейшая математика, открывавшая великим ученым протекших времен, лучшим работникам истекшего дня жизни человечества многие тайны природы, выражалась (как и следовало) знаками и символами, истинный смысл которых мог быть известен и понятен только посвященным. Эта высочайшая математика, единственная наука, заключавшая в себе по своему свойству всевозможные науки, обладала огромной силой - знанием природы, достигавшим до владычества над природой, а потому в руках человеческих она могла быть как источником высочайшего блага, так и источником высочайшего зла. Следовательно, все зависело от доброй или злой воли владевшего ею.

Таким образом, древние работники, открывшие свою великую науку, созидавшие ее и совершенствовавшие, не имели никакого права передавать ее каждому. Мало было явиться в собрание знающих и сказать: "Я хочу знать". Следовало доказать свою способность не только постигнуть науку и воспринять ее, но и, владея ею, не злоупотреблять

своими познаниями, не творить посредством их зла. Доказательства эти были очень серьезны, испытания, которым подвергался желающий науки, были трудными, страшными испытаниями, ибо ошибка, неудачный выбор ученика, падали всей своей нравственной ответственностью на учителей. Так следовало быть, и так оно было...

Рукопись Мельцера, этот листок из книги древней науки, найденный и буква к букве подклеенный французским медиком XVI века, окончательно заставил Заховинова отречься от современной ему науки и отныне отдать себя исключительно поискам предыдущих и следующих листков древней великой книги. Он знал, что перед ним большой труд, но знал также, что этот труд должен увенчаться блестящим успехом: об этом всю жизнь, с самого детства говорил ему внутренний голос, об этом говорили ему теперь предсказания гороскопа, руки и карт, первая половина которых уже осуществилась во всех подробностях.

Однако труд оказался не столь тяжелым, как это можно было себе представить сразу. Очевидно, самым тяжким, самым решительным шагом был первый шаг - и Заховинов его сделал, смело и презрительно отбросив от себя первое препятствие. Это препятствие встало перед ним в виде чудовища, одетого шутом, со свистком в зубах, с лицом, полным насмешки и злорадства. Оно крикнуло ему: "Иди - и ты покроешь себя насмешкой и позором как жалкий глупец, погнавшийся за нелепой химерой!" Заховинов отбросил чудище - и оно исчезло бесследно, а он прошел спокойно и тотчас же получил награду в виде рукописи Мельцера, давшей ему уже некоторые положительные указания...

Теперь, вспоминая прошлое, Заховинов говорил себе, что именно с той минуты он очутился в мистической сфере, где действуют высшие влияния и где человек, пригодный к работе, смело и спокойно, идя прямым путем к заветной цели, идя с

непреоборимой волей и верой, на каждом шагу при первой необходимости получает себе помощь и подмогу. Чего он ищет - то и находит, кто ему нужен, тот уже ждет его, и неизбежно в предназначенный день и час происходит с виду странная, но естественная, знаменательная встреча.

Все это не случайность, не бред мистически настроенного воображения - огромные, осязательные результаты, которых Заховинов достиг в десятилетний период, прошедший с того времени, служили ему в этом порукой.

Стоило ему остановиться на каком-либо вопросе и понять, что без выяснения и решения этого вопроса ему нельзя успешно продолжать свои занятия, как тотчас же, по-видимому, случайно он находил какой-нибудь старинный манускрипт или редчайшее издание, трактовавшие именно о предмете, его занимавшем. Новая находка при всех своих иной раз несовершенствах помогала ему в решении важного вопроса, наводила его на новые мысли и соображения. Иногда же рукопись или книга оказывались драгоценными.

Можно было подумать, что в его руках находится подробный каталог всех редчайших и важнейших сочинений по древним, отринутым новой наукой, таинственным знаниям, с указанием места, где они находятся, и лиц, которые ими владеют. Заховинов, подчиняясь кому-то особому, развивавшемуся в нем чутью, по мере надобности собирался в дорогу, ехал в город, о котором за день до того не думал, по приезде отправлялся бродить по всем улицам и непременно встречал какого-нибудь человека, с чьей помощью добывал нужную ему книгу или рукопись.

Он не навещал уже больше своих прежних учителей, известных ученых. У него являлись новые учителя и сотоварищи во всех странах Европы. Это были, по большей части, совсем неизвестные в ученом мире люди, люди различных профессий и положений. Встречи с ними

происходили тоже, по-видимому, самым случайным и естественным образом. Но с каждой из таких встреч он делал новый шаг на пути своем.

Так прошли три года. Заховинов чувствовал, что им сделано все, что было в его человеческих силах. Он знал, что находится в положении древнего неофита, добросовестно приготовившегося вступить в храм великих таинств, выдержать все испытания и заслужить высшее посвящение.

Действительность, среди которой он жил, приходя с ней в невольное соприкосновение, более чем когда-либо казалась ему призрачной и ничтожной. Он оставался свободным от всяких привязанностей и пристрастий, не замечал чужих радостей и чужого горя. Он сдавил в себе все порывы и чувства и оставался на высоте своей холодной, девственной чистоты, всецело, без остатка поглощенный и подавленный страстно и жадно любимой им работой. Он знал уже много и был уверен в истинности своих познаний.

Он знал и то, что настало время его посвящения, наступил так давно, так терпеливо жданный час выхода из темницы на свободу. Где же старшие братья, имеющие силу и власть посвятить его, раньше него вступившие на путь, по которому он идет, и уже достигшие того, чего и ему предстоит достигнуть? Они существуют, хоть никто еще не говорил ему об этом и не называл ему имен их... Они явятся, ибо приспело время...

И они явились. Заховинов внезапно почувствовал, что должен ехать в древний немецкий город Нюренберг. Он знал уже этот город, хотя до сих пор у него там не было никаких знакомых. Он немедленно собрался и поехал. В первый же вечер по его прибытии в дверь его помещения в гостинице раздался троекратно повторенный стук.

Трепет пробежал по всему телу Заховинова, щеки его побледнели, глаза вспыхнули.

"Настал час... идут за мною!" - сказал он себе и ни на одно мгновение не усомнился в словах

9 49

своих. Если б он ошибся, его постигло бы немедленное безумие, его жизнь была бы кончена. Но он знал, что ошибиться не может, что таких ошибок не бывает.

Твердой поступью, усилием воли сдавив в себе волнение, он подошел к двери, отворил ее и впустил к себе пришедшего человека. Это был старик небольшого роста, очень сухощавый, с бледным, изборожденным мелкими морщинами лицом, с глазами живыми и проницательными. Его черная одежда самого обыкновенного, общепринятого фасона была скромна, вся его фигура дышала спокойным достоинством.

Заховинов никогда не видал этого старика; а между тем тот посмотрел на него, как смотрят на человека, уже хорошо известного, уже изученного. И Заховинов почувствовал и понял, что старик его знает.

- Готовы ли вы идти за мною, господин Заховинов? - просто и ласково спросил на немецком языке старик, крепко сжимая невольно протянутую к нему руку Юрия Кирилловича.

- Вы знаете, что готов и что я ждал вас.

- В таком случае - пойдем!

Заховинов накинул плащ, надел шляпу - и они вместе вышли.

V.

На узких, извилистых, то поднимавшихся, то спускавшихся улицах старого города с его темными, покрытыми копотью веков зданиями, стояла почти полная тишина. Только иногда в тусклых окнах мигал кое-где неопределенный свет. Теплая летняя ночь трепетала бесчисленными звездами, и поздняя луна медленно поднималась, то здесь, то там расстилая серебристые полосы и длинные тени.

Заховинов ничего не замечал, ни на что не обращал внимания - он видел только перед собою небольшую, сухощавую фигуру своего путеводителя и следовал за нею, стараясь сдерживать в себе восторг и волнение, его наполнявшие.

Этот восторг, это волнение были понятны: ведь всю жизнь он ждал наступившей теперь, наконец, минуты. Для нее с гордым презрением он отказался от всех радостей жизни, ей он всецело отдал свою юность, молодость, свои лучшие невозвратные годы, промелькнувшие перед ним, как серый дождливый день, без единого луча солнца, без единой радостной улыбки...

Но он даже не сознавал того, сколь многим пожертвовал этой минуте и ни на мгновение не усомнился в том, что теперь получит все, чего ждал, чего жаждал, на что расчитывал...

Наконец после получасовой ходьбы старик остановился среди особенно тихой, совсем заснувшей улицы и подошел к маленькой, старой двери. Он ударил в нее три раза, и дверь отворилась, хотя за нею никого не было.

Маленькая лампочка, повешенная на совсем черной от копоти стене, тускло озарила перед ними узенькую каменную лесенку. Старик запер за собою дверь на задвижку, и они поднялись по лестнице.

Они вошли в небольшую комнату, тоже очень тускло освещенную такой же маленькой, как и на лестнице, лампочкой. В комнате никого не было, и она представляла из себя что-то вроде приемной. Два узеньких окна были закрыты пыльными занавесями. Старинный дубовый шкаф великолепной резной работы помещался у стены; напротив него большой камин-очаг, длинный стол, дюжина деревянных стульев с высокими спинками, в углу огромные часы с тяжелым, глухо звучавшим маятником - вот и все.

Здесь по примеру своего путеводителя Заховинов оставил плащ и шляпу. Затем старик подошел

к двери, отпер ее, даже не постучав, и, обернувшись, пригласил знаком Заховинова войти.

Они очутились уже в более обширной и достаточно ярко освещенной двумя большими канделябрами комнате.

Пять человек были в этой комнате, и только один из них, увидя вошедших, не тронулся со своего места. Остальные пошли навстречу Заховинову, еще издали протягивая ему руки и дружески ему улыбаясь. Он на мгновение остановился, смущенный и изумленный: он был среди людей, давно уже ему знакомых, и никого из них он никак не ожидал здесь встретить.

Вот Роже Левек, маленький плотный француз лет пятидесяти, с ясными голубыми глазами и глубокой характерной морщиной, начинавшейся между бровями и пересекавшей весь лоб. Роже Левек - известный парижский букинист-антикварий; в его запыленной, пропитанной запахом старой бумаги, заваленной книгами лавочке, на левом берегу Сены, недалеко от Ситэ, Заховинов немало часов проводил в течение последних семи лет, наезжая в Париж и отыскивая старые книги и манускрипты. Левек был всегда тут, помогая ему в розысках, беседуя с ним скромно и почтительно и незаметно наводя его на новые, интересные мысли.

Входя в запыленную лавочку букиниста, Заховинов чувствовал удовольствие и при виде ворохов старых книг, и при виде умного, спокойного лица Левека с его ясными глазами и глубокой морщиной, разделявшей лоб на две равные половины. Ему всегда становилось как-то теплее и спокойнее среди этих книг и в присутствии этого человека. Пыльные книги перебирались и перекладывались, пыль поднималась со всех сторон, тихий и почтительный голос Левека журчал неспешно, переходя с предмета на предмет, время шло - и Заховинов не замечал времени и не замечал он уходя, что помимо разных книг и манускриптов он выносил из лавочки букиниста очень драгоценную ношу, что

каждый раз Левек своею тихой и почтительной беседой двигал его вперед и незаметно, сам прячась и уничтожаясь, давал ему новую мысль, новую силу, новое знание.

Только теперь, взглянув в глаза Левека, Заховинов все понял, не зная чему больше изумляться: своей ли способности к столь долгому ослеплению или власти Левека, производившей в нем это ослепление...

А вот барон Отто фон Мелленбург, с которым, как бы случайно встретясь и познакомясь в Берлине, он совершил большое путешествие сначала по Рейну, а потом по Баварии и отчасти Швейцарии. Барон Отто - породистый, важного вида немец, владетель прекрасного замка и значительных земель в одной из живописнейших прирейнских местностей. Сколько незаметных часов было проведено в беседах с этим взвешивавшим каждое слово, с виду сухим и даже как бы чванным человеком, лета которого трудно было прочесть на его холодном, будто из камня выточенном лице! А между тем сколько глубины было в этих беседах и как много плодотворных семян заронил этот сухой и чванный барон в душу и мысль Заховинова. Теперь, почувствовав пожатие его сильной, больной руки, Заховинов ответил ему крепким, благодарным пожатием...

А этот крохотный человек, с такими угловатыми, живыми манерами! Сразу при виде этой фигурки трудно удержаться от смеха, но один взгляд на эти огненные черные глаза, на этом высокий прекрасный лоб остановит смех, превратив насмешку в невольное почтение, пожалуй, даже в некоторый тайный страх. Странные глаза, блеск и сила которых способны преобразить пигмея в прекрасного, мощного великана!

Этот пигмей-великан тоже немец, но в его жилах еще осталась кровь его предков - евреев. Зовут его Иоганн Абельзон. Он был профессором древней истории, но давно уже оставил кафедру и

жил постоянно путешествуя. Заховинов встречал его время от времени в течение нескольких лет то в Германии, то во Франции, то в Англии.

Сначала он даже избегал этого крохотного человека с могучими и страшными глазами, чувствовал к нему антипатию; но потом это изменилось, профессор древней истории увлек его обаянием своего горячего красноречия, своими познаниями. Кончилось тем, что Заховинов не раз даже искал с ним встреч и они обменялись несколькими почти дружескими письмами.

Четвертым знакомцем Заховинова оказался граф Хоростовский, старый, совсем одинокий богач литовско-польского происхождения, родившийся в Австрии, владевший там огромными поместьями, слывший за чудака и скупца, так как он жил очень скромно, внезапно появлялся то там, то здесь, внезапно исчезал и неведомо на что употреблял свои баснословные, все увеличиваемые молвою капиталы и доходы. Заховинов в последние два года встречался с ним довольно часто и, сам себе не отдавая в том отчета, заинтересовался им более, чем кем-либо в жизни. Он хотел узнать его, но не мог - граф не высказывался и в то же время заставлял Заховинова, всегда очень сдержанного и осторожного, быть с ним даже почти откровенным. Теперь Заховинов понимал, что из всего этого собрания граф Хоростовский может дать о нем подробнейшие сведения.

VI.

Граф Хоростовский, вслед за другими пожав руку Заховинова, оставил ее в своей и подвел его к человеку, сидевшему в глубине комнаты. Это был старик величественного вида, с лицом, носившим на себе следы глубокой старости, но несмотря и на эти беспощадные, разрушительные следы, сохранившим какую-то светлую, почти лучезарную красоту.

Длинный и широкий плащ скрывал высокую фигуру старика.

- Отец, - почтительно сказал граф Хоростовский, - вот человек, имя которого вы сказали нам семь лет тому назад и за которым следить нам поручили. Я, Мелленбург, Абельзон и Левек не оставляли его и, когда было нужно, входили с ним в непосредственные сношения. Брат наш Ренке тоже следил за ним неустанно, оставаясь ему неизвестным, и теперь привел его к вам.

Старик поднялся с кресла, положил свои сухие, бледные руки на плечи Заховинова и крепко поцеловал его. Это был первый поцелуй в жизни Заховинова, заставивший трепетно и радостно забиться его сердце.

- Благословен ваш приход! - сказал старик, глядя в глаза Заховинова своими лучезарными глазами. - Сядем же все и объясним пришедшему к нам брату, почему он пришел к нам и почему мы его ждали. Передайте и мне и ему историю его жизни, его борьбы, историю неустанного развития его духа...

Все разместились, и Заховинов с чувством невольного радостного умиления выслушал из уст четырех известных ему людей и одного неизвестного - Ренке подробную истинную исповедь своей собственной как внешней, так и внутренней жизни. Сам он даже и не мог бы с такой точностью и последовательностью рассказать себя, как рассказали эти люди. Они будто не только жили с ним и шаг за шагом проследили все его поступки и работы, но они будто жили в нем, прошли через все его ощущения, мысли и чувства, начиная с его детского возраста и кончая настоящей минутой.

Когда этот удивительный рассказ завершился последними словами Ренке о том, с какой глубокой верой, с каким полным отсутствием даже и тени сомнений Заховинов последовал за ним, ясная улыбка осветила прекрасное лицо старика и он заговорил, обращаясь к Заховинову:

- Вам известно, что в древние времена человек, желавший посвящения, являлся в собрание посвященных и должен был проходить через целый ряд испытаний. В древних святилищах Египта, в подземельях пирамид, были искусно устроены всякие приспособления для подобных испытаний. Неофит показывал свою неустрашимость и силу воли, не подвергая себя никаким опасностям, и только последнее испытание могло для него окончиться смертью: из святилища можно было выйти только посвященным, ибо древние иерофанты не имели права рисковать и выдавать тайн своих... Но и в те времена эти испытания, действовавшие на воображение человеческое, имевшие, по своему значению, глубокий внутренний смысл, были только отражением, образом действительных испытаний... Мы - хранители древней науки, древних таинств, величайшаго сокровища, и из века в век мы бережем в глубочайшей тайне и передаем достойным преемникам нашу драгоценную ношу, наш горящий светильник чистого огня истины и знания. Он не погас доселе, этот дивный светильник, и горе будет тому веку, в который он погаснет... Мы прямые и законные наследники древних иерофантов и дорожим их традициями, их символами и обычаями. И ныне мы находим иногда полезным действовать на воображение людей... Но вы не нуждаетесь для своего посвящения в торжественной и таинственной обстановке... Вы оставили все это за собою, вы приходите к нам не учеником, не робким неофитом - вы приходите к нам уже после целого ряда действительных жизненных испытаний, закаленным в борьбе, вы несете с собою прекрасную и полную кошницу истинных знаний... Сами того не зная, вы быстро и твердо поднимались по ступеням иерархической лестницы посвящений, и в настоящее время, придя к нам, вы уже находитесь на высокой ее ступени...

Заховинов слушал слова эти жадно и с восторгом. Этот чудный старик говорил ему то, что уже

не раз являлось ему в горячих грезах, что он не раз предчувствовал и что окрыляло его силы. Старик продолжал:

- Наши братья, которым я поручил следить за вами и помогать вам, доказали своим рассказом, что мы хорошо вас знаем и что наш суд и приговор - безошибочны. Вы с детства предназначены к великому делу, вы рано почувствовали свое духовное высокое призвание, и вся ваша жизнь была единым, могучим порывом к заветной цели... Еще не обладая никакими знаниями, вы уже, по тайному влечению, как истинный избранник, не рассуждая, действовали и шли тем прямым путем, который ведет к познанию истины, к возвышению и очищению духа, к владычеству над природой... Вся тайна знания и могущества заключается в развитии воли - и вы развивали вашу волю неустанно. Ваша воля стремилась к истине, потому истина все более и более открывалась перед вами... Воля справедливого и мудрого человека есть образ Божьей воли - и по мере того как она крепнет, человек начинает управлять событиями: вы видели это в вашей собственной жизни. Для того чтобы получить право вечно владеть истиной, нужно желать и ждать долго и терпеливо: вы доказали свое непреоборимое терпение, и область ваших законных владений должна все расширяться. Желать и преследовать преходящие блага этой жизни - значит отдавать себя вечности смерти: земные блага никогда не имели цены в глазах ваших - и вы наследник вечной жизни. Чем больше воля преодолевает препятствий, тем более она возрастает в могуществе; много препятствий разрушено и пройдено вами, и поэтому-то мы видим вас на высокой ступени могущества. Вы еще не знаете степени своей силы, своего могущества, вы никогда еще не пользовались ими, а между тем они велики: вы уже можете управлять той сущностью природы, которую я назову электрическим огнем и светом и которую природа отдает человеку, мощно и правильно раз-

вившему свою волю. Этот вечный, животворный свет освещает тех, кто умеет владеть им, и уничтожает тех, кто им злоупотребляет. Царство Мира принадлежил царству Света, а царство Света - Престол Воли. По мере того как человек совершенствует свою волю, он начинает все видеть, то есть все знать в постоянно и бесконечно расширяющейся перед ним области. Его счастье не что иное, как плод познания добра и зла. Но Бог дозволяет срывать этот плод лишь человеку, настолько владеющему собою, чтоб никогда не пожалеть его для себя, то есть для своих личных, земных целей... Это предостережение, но я вам его делаю, не сомневаясь в вас, делаю так, как и вы можете мне его сделать, ибо все мы сильны лишь до тех пор, пока боремся, и на какой бы высоте мы ни стояли, стоит нам на миг лишь ослабить, опустить наше оружие, уступить духовной лени - и мы можем быть побеждены. Наше оружие обратится против нас самих, и мировой великий огонь, посредством которого мы владели природою, испепелит нас.

Старик замолчал; но его вдохновенные, лучезарные глаза, как звезды, блестели перед Заховиновым, зажигая и в нем вдохновение, поднимая сознание еще неизвестной, рвущей свои оковы силы. Он встал бледный, с замирающим сердцем и провел рукою по своему лбу.

- Вы обещаете мне великую награду за мои труды и усилия, которые я теперь признаю очень ничтожными, - сказал он, - вы поднимаете меня слишком высоко, и я чувствую, я знаю, что действительно нахожусь на этой высоте. Я чувствую это и понимаю в первый раз: до сих пор я никогда об этом не думал... Я не страшусь, не робею, но у меня является сомнение и недоумение, и я должен их вам высказать: то, что я делал всю жизнь, то что вы называете моей борьбой и работой, мне не стоило никаких усилий; я действовал известным образом потому, что иначе не

мог действовать и даже не могу представить, как бы я мог иначе действовать... За что же такая награда? Не из смирения говорю я это. Я просто изумлен... Мои усилия, моя борьба мне ничего не стоили... Я думал, что ныне вы поможете мне стать на первую ступень великой лестницы, а вы мне говорите, что я прошел уже много ступеней, что я поднялся высоко... и вы, конечно, правы...

- Вот эта-то сила, для которой все легко, все кажется легким, и подняла вас! Вот поэтому-то мы и приветствуем вас не как ученика, а как достославного брата! - разом сказали все.

Прошло несколько мгновений. Старик поднялся и обратился к Заховинову:

- Но вы хоть и ждали сегодняшнего дня, хоть и чувствовали его приближение и неизбежность, однако не знали нас до самой последней минуты, - сказал он. - Кто же мы? Кто эти люди, с которыми вы встречались, которых знали как равных себе, как низших по их житейскому общественному положению?

Заховинов склонил голову и спокойно, твердо проговорил:

- Я имею великое счастье убедиться в том, чему доселе хотел, но боялся верить... я убеждаюсь в том, что не иссохло великое древо, корни которого так же древни, как человечество... Я нахожусь среди истинных мудрецов - победителей природы, среди великих учителей - Розенкрейцеров... А вы... отец...

Заховинов не договорил, невольно и стремительно склоняясь перед старцем. Тот поднял его и заключил в свои объятия. При этом движении плащ упал с плеч старца, и на сухой, широкой груди его засверкал осыпанный бриллиантами знак высочайшей мистической власти и силы - чудный символ Креста-Розы.

VII.

В тот же вечер Юрий Заховинов был признан розенкрейцером. Он получил высокую степень учителя, ибо, как сам он теперь ясно видел и понимал, многочисленные ступени иерархической лестницы были уже им пройдены, и на первую из них он ступил еще в детстве...

Таким образом, Заховинов сразу оказался в центре таинственного святилища, в среде малого числа избранников, составлявших то единственное средоточие, из которого исходило все мистическое движение и где хранилась и разрабатывалась наука познания природы и власти над нею, унаследованная от глубочайшей древности. Во всех странах существовали в то время более или менее тайные мистические общества; масонские ложи различных наименований и оттенков "работали" во многих городах; но все эти общества, но все эти ложи были не что иное, как разноцветные лучи, исходившие из того центра, где таинственно сиял на груди величественного старца осыпанный бриллиантами знак Креста-Розы.

Тысячи людей, принадлежавших к мистическим обществам, к масонским ложам, не только не подозревали этого, но даже и самое существование розенкрейцеров казалось им сомнительным. Они знали, что в прежнее время были розенкрейцеры, что эти розенкрейцеры владели тайнами, быть может, и очень важными - но теперь о них ничего не слышно, они рассеялись и исчезли...

Люди, стоявшие во главе обществ и лож, одновременно со своим посвящением получали теми и иными способами указания, что над ними, то есть выше их, существует, следя за ними и покровительствуя им, какая-то высшая и могущественная тайная корпорация - но этим, по большей части, все и ограничивалось.

Только самым способным, сильным и искренним работникам мало-помалу открывалась тайна. Такие работники, опять-таки тем или иным способом благодаря встречам с новыми людьми и знаменательным беседам с ними наводились на мысль о существовании розенкрейцерства, о его действительном значении и, наконец, принимались в среду одного из "великих учителей", получали от него посвящение.

Отныне посвященному ученику-розенкрейцеру предоставлялся ясный, свободный и широкий путь восхождения по высшим ступеням иерархической лестницы посвящений. Розенкрейцер знал, что он может достигнуть блистательной степени "великого учителя". Тогда ему сразу откроются громадные горизонты, он увидит всех своих собратий - "великих учителей" и вместе с ними сделается спутником единого центра, единого солнца - мудрого главы розенкрейцеров, носителя высшего знака Креста-Розы. Тогда он узнает, кто этот мудрец, увидит всю его силу, войдет с ним в постоянное и тесное общение. Пока же он только знает о его существовании; но где он и как его имя - это для него тайна.

Случай, помощь сильных людей и их пристрастие, хитрость, а порою даже и преступление могут возвести человека на вершину земных почестей. Случай, неприязнь сильных людей и их пристрастие, врожденная прямота и неспособность к интригам могут оставить в тени и пренебрежении человека, способного с честью и великой пользой занять самое высокое положение. На этой же таинственной иерархической лестнице не могло быть ничего подобного.

Человек не в состоянии был занять ту или другую ступень хитростью или благодаря пристрастию и недальновидности высших, не мог уже потому, что удержаться на этой ступени возможно было единственно своей собственной силой и своим знанием. Если сила и знание достигали из-

вестного предела - этим самым человек и становился на подобающую ему ступень.

Высшая справедливость и полная невозможность несправедливости делали мистическую иерархию истинной и природной иерархией. Сила и значение ее были велики. Абсолютное подчинение младших старшим являлось естественным, свободным и соединялось с таким же естественным и свободным уважением и почитанием. Злобы и зависти друг к другу не могло быть, ибо злоба и зависть, как и всякие страсти, ослабляли и быстро сбрасывали человека вниз с достигнутой уже им ступени.

Членами мистических обществ и лож от низших до самых высших степеней могли быть люди достойные и недостойные, искренние и неискренние, знающие и только умеющие скрывать свое незнание; но едва человек получал розенкрейцерское посвящение, он вступал совсем в иную область. То, во что он верил или стремился верить, превращалось для него в знание. Посвящающий его учитель доказывал ему основательно свои познания, свою силу, показывал ему явления, ясно и неопровержимо говорившие о том, что человек может получить громадную власть над природой и по своему желанию комбинировать и направлять еесилы.

Неофит останавливался на невольном восторге и благоговении перед глубокой и светлой областью, ему открывавшейся. Он делал первый шаг, пробовал свою силу - и результат получался поразительный...

Власть над природой - светлая греза всего человечества, власть, перед которою меркнет могущество всех владык земных! Естественно, что, убеждаясь в существовании и возможности такой власти, человек всецело отдавался борьбе для ее достижения. Он знал, что все средства заключаются в нем самом, что развить свои силы он может единственно волей и наукой, передаваемой ему его учителями. Без развития воли он останется на месте и не пойдет вперед; без учителей он годы бу-

дет томиться над решением той или другой задачи, которая может быть ему объяснена и понята им в самое короткое время. Отсюда его неустанная внутренняя работа, его глубокое уважение к учителям, его свободное иерархическое подчинение им.

Таким образом, сильный волей и разумом человек достигал громадных знаний. Эти знания оставляли далеко за собою, на неизмеримом расстоянии, официальную, всем доступную академическую науку. Все сводилось к изучению и познанию явлений электромагнетизма, то есть силы, составляющей, по убеждению розенкрейцеров, суть всей природы и находившейся во всяком как одушевленном, так и неодушевленном Божьем творении, на земле и в беспредельном мировом пространстве.

Зная свойства этой силы, человек, обладавший верой, разумом и волей, действительно, мог, говоря словами апостола Павла, быть пророком, знать все тайны, переставлять горы. Владея сутью предмета, он легко овладевал и всем предметом...

Официальная наука, идя своим тяжелым и медленным, черепашьим шагом, не поднимавшая головы и видевшая только то, что у нее под ногами, конечно, должна была признать все это за бредни и безумие. Когда доктор Месмер, не будучи посвященным, нашел некоторые проявления электромагнетической силы и громогласно объявил удивительные результаты своих открытий, официальная наука на него накинулась, преследовала его при жизни и по смерти, признала его шарлатаном.

Но прошло сто лет - и в настоящее время лучшие представители официальной науки поневоле, ввиду поразительных, кричащих фактов, один из которых носит теперь название гипнотизма, должны отказаться от своей презрительной усмешки и скорее заняться исследованиями изумительных, совершенно реальных явлений, имеющих в своей основе все ту же электромагнетическую силу. Имена Месмера, аббатов Фариа, Пюисегюров, Делезов, дю-

Потэ и подобным им "безумцев" и "шарлатанов" начинают являться уже совсем в новом освещении...

Но все эти смелые, много пострадавшие люди разобрали только первые страницы великой книги, находившейся во владении тайно работавших учителей - розенкрейцеров. А что эта великая книга действительно находилась в их владении - теперь можно предполагать на достаточном основании и не боясь обвинений в безумии.

Зачем же они действовали и работали втайне, зачем не открыли глаза человечеству и не осветили его своими знаниями? Если их знания, их силы действительно были так истинны и велики, то ведь им ничего не стоило раздавить враждебную, ничтожную официальную науку и стать едиными просветителями человечества. Они остались как бессильные трусы в темноте, в забвении, они ничего не дали человечеству - значит, им нечего было дать ему.

Нет, подобные обвинения и выводы крайне неосновательны. Истинная мудрость и справедливость, высокое духовное развитие заставляли их, храня древние традиции иерофантов, работать втайне и открывать свои знания только испытанным людям, неспособным их выдать. Посредством могущественной силы, постигнутой ими, один человек может завладеть другим и превратить его в слепое орудие своей воли, своих страстей. Этой силою можно попрать, исковеркать и уничтожить весь строй общественной жизни, породить всевозможные преступления и несчастья, каких до сих пор еще почти не знавало человечество. Дни, когда подобная сила сделается общим достоянием, представлялись им адом, и их первая обязанность была охранять человечество от таких дней.

Они говорили, что, когда малейшая частица их знаний будет найдена помимо них и станет доступной каждому, настанут страшные беды. Преступления и несчастия, порождаемые в наши дни, благодаря первым исследованиям в области гипно-

тизма, опытам, известным всякому студенту парижской Сальпетриеры, доказывают, до какой степени были правы учителя розенкрейцеры. Если б они не держали своих могущественных знаний в тайне, если б они всеми мерами, даже иногда страшно жестокими, не оберегали свои тайны, они превратились бы в сознательных преступников, и это было бы их нравственным падением...

VIII.

Итак, Заховинов благодаря своим духовным качествам, трудам и знаниям оказался на той высоте, какая признавалась достаточной для "учителя". Он давно обуздал в себе все телесные страсти и потребности, отказался от всяких привычек, жил мыслью и духом, а не телом, ставшим для него послушным рабом, а не всесильным владыкой. По мере неустанного и могучего развития его воли в нем скоплялась и крепла электромагнетическая сила. Для того чтобы начать действовать и работать уже в качестве посвященного "учителя", ему оставалась только из уст носителя великого знака Креста-Розы получить откровения глубочайших таинств науки и увидеть осязательные результаты своей силы. Глава розенкрейцеров и его ближайшие сподвижники не могли в нем ошибиться.

Через три дня после посвящения Заховинов уехал из Нюренберга в сопровождении Георга фон Небельштейна, как звали "отца" розенкрейцеров. Они ехали в древний, уже разрушившийся от времени замок Небельштейн, построенный или, вернее, почти высеченный в скале, наверху горы, в живописной, уединенной местности. Здесь среди полнейшего затишья, окруженный редчайшими фолиантами и рукописями, мудрый старик проводил большую часть года.

В замке жил также и другой древний старик, Ганс Бергман, молочный брат и лучший друг хо-

зяина. Ганс Бергман из простого конюшего превратился после сорокалетней борьбы и трудов тоже в "учителя"; он был глубочайшим знатоком герметической науки, каббалистом и астрологом. Но все это нисколько не мешало ему оставаться тем, кем он был рожден - то есть почтительным слугой своего друга и учителя Георга фон Небельштейна...

Заховинов провел в старом замке два месяца, и когда он, наконец, простился с мудрыми старцами, он стал новым человеком и начал новую жизнь.

Теперь он вышел из темницы, теперь он пользовался широкой, прекрасной свободой. Перед ним раскрылись светлые, беспредельные горизонты. Он мог пользоваться на духовное благо себе и другим законно полученными им силами...

Издавна усилия человечества направлены к тому, чтобы отрастить себе крылья, чтобы победоносно бороться с временем и пространством. В те годы, когда жил и действовал Заховинов, о больших победах люди не смели и думать: железная дорога, телеграф, телефон и все дальнейшие открытия и усовершенствования нашего сегодня и завтра могли показаться несбыточной грезой, волшебной сказкой.

Но во владении Заховинова были средства победы над временем и пространством, еще далее оставляющие за собою наши железные пути, телеграфы и телефоны, чем они, в свою очередь, оставляют за собою средства передвижения и сношений между людьми, существовавшие в XVIII веке. Заховинов мог без всяких видимых инструментов знать и видеть то, что происходило на очень дальнем расстоянии. Он мог устанавливать между собою и нужными ему людьми невидимую связь; чужие мысли, когда он хотел этого, были для него так же ясны, как громко произнесенные слова. В его власти было овладеть почти каждым человеком, внушать ему свои мысли, заставлять его действовать по своей воле. Он мог избавлять людей

от болезней и страданий и возбуждать в них всякие страдания...

Для всего этого он должен был только произвести более или менее значительную затрату своей жизненной силы, действуя так, чтобы эта затрата не была чрезмерна, чтобы она не произвела разрушительного влияния на его организм и могла быть быстро пополнена известным ему способом.

Владея такими познаниями и способностями, Заховинов, естественно, являлся мудрейшим из всех людей, в среде которых он находился. Он уподоблялся зрячему между слепыми. Поэтому он мог творить свою волю, вести за собою всех, управлять обстоятельствами и подготовлять события. Он мог легко и без всякой борьбы устроить себе какое угодно положение, достигнуть всевозможных почестей и возвышений. Как бы ни был силен и могуществен человек, человек этот должен был трепетать вражды Заховинова, которому сам он ровно ничего не мог сделать...

Но Заховинов был истинным розенкрейцером, "великим учителем", а потому он не был в состоянии злоупотреблять своими познаниями и силами и направлять их к своей личной, житейской пользе и выгоде. Он глубоко проникся основными правилами герметического учения. Если и прежде, до своего посвящения, он легко отвернулся от благ земных, от земного честолюбия, то теперь, когда его высшее честолюбие было удовлетворено, когда он знал свою действительную силу и власть, земные почести не могли не потерять для него всякий смысл и значение. Привлекательно лишь то, что недостижимо или, по крайней мере, требует больших усилий для достижения. Но то, что дается без всякого труда, что можно иметь всегда, в каждую минуту, - стоит ли оно малейшей затраты драгоценной жизненной силы? Да и наконец есть значительные наслаждения в сознании своего тайного могущества, о котором никто и не подозревает...

Вместе со всем этим Заховинов знал, что, влияя на события, вторгаясь в чужую судьбу, одним словом, производя известного рода насилие и действуя по своему произволу в высшей сфере, управляемой гармоническими, божественными законами, он всецело берет на себя полную ответственность. Его бессмертный дух должен будет искупить в вечности малейшую вольную и даже невольную ошибку, каждое мгновение произвола, вторжения в гармоническую область божественных законов...

Только ради абсолютного блага, ради помощи человеческой души, рвущейся к свету, "великий учитель" розенкрейцер может и должен проявлять свою силу. Как его самого отыскали, невидимо поддерживали и вели по прямому пути, так и он должен отыскивать способных к духовному развитию людей, должен следить за ними, поддерживать и вести их.

Это его задача, долг, его главная деятельность и смысл, высокий смысл его жизни. Чем его собственное развитие идет быстрее, чем более он очищается и выше возносится над материей, тем легче он может поднимать и очищать других. Следовательно, у него есть еще другой долг, другое назначение: не останавливаться на своем пути, идти вперед и подниматься выше...

Прошло еще несколько лет - и Заховинов, как того ждал и предсказывал "отец", снова поднялся по иерархической лестнице. Он положительно отрешился от всего земного, он был весь в высших, лучезарных сферах - светлый, холодный, победитель плоти. Телесный человек как бы не существовал; страсти, потребности, волнения, наслаждения, горе - вся разрушительная, кипучая телесная борьба отсутствовала, а потому и самое тело его не могло носить на себе ее следов - Заховинов по внешнему виду оставался так же молод, как был в двадцать пять лет.

Его знания расширялись, его силы все крепли. Он чувствовал себя как бы на вершине высочайшей горы, с которой мог во все стороны видеть все, что было ниже его, а также и то, что было его выше. Дивное зрелище открывалось внизу, поразительно прекрасное сияло над ним - и он различал величайшие законы мироздания, чувствовал всюду присутствие божественной премудрости, проявляющейся везде и во всем, всецело отражающейся, как солнце, в малейшей капле...

Заховинов опередил всех своих спутников, "великих учителей", принимал от них выражения глубокого восторженного почтения. Древний "отец" благословлял его своими бледными, иссохшими руками, как своего любимейшего сына и наследника...

Графиня Зонненфельд была одна из тех душ, способных на развитие и рвущихся к свету, которые отметил могущественный розенкрейцер, за которыми он следил, которым помогал. Он явился ей в Риме, пробудил ее и расчистил перед нею путь... Теперь она освободится от всей земной грязи и очистится...

Он должен был покинуть ее на время, послушный зову Георга фон Небельштейна.

Старец встретил Заховинова напоминанием о том, что "время приспело". Приспело время последнего, великого испытания. Заховинов должен был вернуться на родину, принять новое имя, новое положение, войти в новые отношения к людям...

Там, на родине, ждало его последнее испытание. Он выйдет из него победителем и вернется к "отцу", как равный к равному. Сто лет живет на земле старец, время его освобождения от телесных уз близко... Тогда Заховинов примет власть в свои мощные руки, сменит знак своего высокого достоинства на высочайший...

Почти все достигнуто, остается немного... Все, что грезилось с детства, что сулило блаженство, манило к себе, - все исполнилось. Достигнуто большее, о чем никогда даже и не мечталось. Великий

розенкрейцер на вершине могущества, какое только может быть дано человеку...

Но получил ли он счастье, испытал ли его со времени своих высоких посвящений? Или его земной отец, старый князь Захарьев-Овинов прав, и он всегда был и остался несчастлив?..

Да, старый князь прав - великий розенкрейцер даже и не знает, что такое счастье... Он все ждет чего-то, хотя ждать уже, кажется, ему нечего...

Одно последнее испытание! Оно будет таким же легким, как и все, что было доселе...

Но теперь он знает, в чем это испытание и как оно страшно... В душе его мрак, в сердце страдание - и он трепещет на своей холодной, лучезарной высоте, трепещет в первый раз и чует бездну под собою...

IX.

Старому князю вдруг стало совсем плохо. Уже почти двое суток он не принимал никакой пищи и находился в забытьи. Он то лежал неподвижно, с открытыми, ничего не выражавшими глазами, то начинал волноваться, произносил несвязные слова, стонал и, по всем признакам, испытывал сильные страдания.

Сын не отходил от него. Он видел отцовские страдания, убеждался, что они минутами становятся ужасны, и разбирал их причину. Он находился перед явлением, ему не совсем понятным, несмотря на все его знания и силы, и такое явление глубоко его заинтересовывало.

Положение старого князя было ясно для Юрия Кирилловича: сам больной, приведенный могучим магнетизмом и волей сына в состояние ясновидения, подробно рассказал ему свою болезнь, представил ему полную картину своего разрушившегося организма. Из этих сведений, в которых не могло быть ошибки, Захарьев-Овинов видел, что вся работа в

теле отца, работа, необходимая для жизни, происходит совершенно неправильно; что некоторые важные внутренние органы бездействуют, парализованы, изменены.

Когда человеческое тело приведено болезнью именно в такое состояние, смерть является неизбежной и близкой. Всеобщее разрушение органов, хаотический беспорядок в их взаимодействии, полнейшая дисгармония механизма, ход которого, то есть жизнь, основан на гармонии - все это и есть процесс умирания, агония. Болезнь князя была такого рода, имела такое течение, что последний ее период неизбежно должен был оказаться тихим, без страданий. А между тем, несмотря на все усилия сына, больной страдал, умирание затягивалось. С князем происходило именно то, что народ обозначает словами "земля не берет". Смерть пришла, а человек не умирал, не мог умереть.

Что же это значило? Какая тому была причина? Захарьев-Овинов знал, что причина кроется не в материи, а в духе, что нечто мешает духу покинуть свою земную оболочку, свою временную одежду, хотя эта одежда уже давно в лохмотьях. Духу страшно тяжко в этих ужасных лохмотьях, но никакая сила не может помочь ему, пока не устранена причина, лишающая его свободы...

Следует найти эту причину и освободить дух.

Был вечер, и полная тишина стояла во всем доме. Только маятник глухо отбивал уходившие в вечность мгновения, только умиравший тяжело вздыхал на своей кровати. В углу за китайской ширмочкой, оставлявшей в тени большую часть просторной и высокой комнаты, горела лампа. В другом углу слабое мерцание лампады золотило большой киот, наполненный родовой княжеской святыней - иконами в тяжелых ризах, усыпанных жемчугом и разноцветными камнями.

Захарьев-Овинов, поднявшись с кресла, в котором задумчиво сидел у кровати отца, подошел к двери, запер ее на ключ, спустил занавес и затем,

неслышно ступая по мягкому восточному ковру, опять вернулся к кровати. Но он не сел в свое кресло, он остановился перед кроватью, склонился над нею и устремил на отца свой холодный, властный взгляд...

Старик внезапно открыл глаза, и в них изобразился ужас. Потом глаза закрылись, открылись снова, но теперь в них уже не было ужаса, они превратились в глаза мертвеца, стеклянные, безучастные, неподвижные.

Захарьев-Овинов отступил шаг, другой - и вот старый князь, давно не бывший в состоянии не только подниматься, но даже и повертываться без посторонней помощи, сразу, как кукла на пружине, вскочил с кровати и встал перед сыном... Нельзя себе было представить ничего ужаснее этого умиравшего, парализованного старика, стоявшего теперь навытяжку, будто под ружьем, с этими мертвыми, страшными глазами, зрачки которых неестественно расширились. Страшной и свирепо жестокой казалась сила, поднявшая этот труп и превратившая его в окаменелость, неведомо каким образом не падавшую, твердо державшуюся как бы в насмешку над всеми известными физическими законами.

Но Захарьев-Овинов не замечал ничего этого. Лицо его было спокойно и серьезно.

- Отец, - произнес он тихо, но таким властным голосом, которому нельзя было не повиноваться, - требую, чтобы ты отвечал мне.

- Я в твоей власти... приказывай... спрашивай... я буду отвечать, - пронесся в тишине комнаты глухой, унылый, будто замогильный голос.

- Отчего ты страдаешь?

- Оттого, что не могу освободиться, не могу сбросить с себя тело и чувствую все изменения, в нем происходящие... Мои мучения ужасны... их редко кто испытывает, ибо те изменения, которые происходят в моем теле, бывают обыкновенно уже после смерти, то есть после более или менее пол-

ного освобождения духа, а потому если дух и ощущает их, то в самой незначительной степени... Мой же дух не в силах выйти из тела, соединен с ним, и потому земное "я", все еще состоящее из соединения духа и материи, испытывает медленное, останавливающееся, а следовательно, еще более мучительное разложение материи. Невыносимее этих страданий ничего быть не может...

- Отчего же твой дух не в силах выйти из тела?..

Наступило несколько мгновений глубокого, страшного молчания. Живой труп оставался все таким же неподвижным; глаза его с расширенными зрачками были все так же бессмысленно устремлены прямо вперед и ничего не отражали, но на изможденном лице изобразилось отчаянное, немое страдание.

Захарьев-Овинов поднял руку и неумолимым, беспощадным голосом произнес:

- Отвечай!

Сдавленный стон вырвался из груди старика.

- Пощади! Не спрашивай! - прошептали, с трудом разжимаясь, закоченевшие старческие губы.

Но великий розенкрейцер будто не слышал этого стона, этой мольбы. Глаза его метнули искры, и он повторил с удвоенной, тяжелой и твердой, как камень, силой:

- Хочу! Отвечай!..

Опять глухой стон пронесся по комнате. Живой мертвец, подавленный чужой волей, видимо, испытавший невыразимые муки, все еще пробовал бороться.

- Не требуй от меня невозможного... не заставляй меня выносить того, что свыше сил человеческих... я не могу... не смею отвечать... - шептал он хриплым голосом.

- Я требую для твоего же освобождения, а потому отвечай! - не теряя холодности, не изменяя выражения своего спокойного лица, сказал Захарьев-Овинов.

И застывшие, искаженные муками старческие губы произнесли:

- Не могу освободиться, ибо задача не выполнена, ибо нет примирения и покоя в душе, ибо только одно может освободить меня... Я его ждал, жду... но не приходит и не от меня зависит получить его...

- Скажи, чего именно недостает тебе - и я помогу...

- Увы! Ты не в силах, именно ты не в силах помочь мне... Тебя я ждал, на тебя надеялся... ты должен был разрешить мои узы... а ты еще слабее меня!.. Ты даже и не понимаешь того, чего я жду... чего жажду, что так высоко и необходимо духу человека!.. Несчастный! Одна только способность моя воспринять это так могущественна, что удерживает дух мой в разрушающем теле... Но Боже, Боже! Хоть и ничтожны эти муки ради вечности, но они невыносимы! Боже, пошли избавление... Боже, спаси и его, и меня!..

Живой мертвец замолчал. Сила и власть Захарьева-Овинова слабели - и он не замечал этого. Над ним все еще звучали и в нем повторялись странные, непонятные слова отца: "Ты еще слабее меня... несчастный! Боже, спаси и его, и меня!.." Ведь это не безумный, не бессмысленный бред! Никогда не может дух человеческий выдать большей истины, как в таком состоянии. Значит, в непонятных словах отца заключается глубокий смысл, откровение, правда...

Сердце розенкрейцера сжалось тоскою. К чему же была вся эта жизнь с ее борьбой, испытаниями, неустанным развитием воли, постоянным восхождением к свету и власти? Где эта власть, если умирающий слепец, порабощенный его волей, сильнее его, своего поработителя?

Яркая краска вспыхнула на щеках Захарьева-Овинова. Его самообладание, спокойствие, холодность, сознание своей высоты и силы исчезли. Его сердце усиленно билось, по его за минуту перед

тем молодому и прекрасному лицу легли тени, прошли морщины... Он волновался, негодовал...

- Отец, говори все, говори прямо! Ты должен все сказать мне, я требую этого!.. Я хочу!.. - повторял он, и от волнения, от негодования, от ужаса перед этим нежданным, невероятным поражением его воля слабела, его власть уничтожалась, из победителя природы он превращался в ее раба, терял свой разум, нарушал великий, неизменный закон, на котором было построено все его могущество, и не замечал этого.

- Отец, говори! - вне себя, будто в опьянении, простонал Захарьев-Овинов.

Но старик молчал, потом вдруг шатнулся и бессильно упал на пол.

Это падение заставило Захарьева-Овинова прийти в себя. Он кинулся к отцу, поднял его и уложил на кровать. Он дунул ему в лицо. Больной вздрогнул, закрыл и снова открыл глаза. Теперь зрачки его не были расширены, взгляд не казался мертвым, стеклянным. Князь узнал сына и слабо произнес:

- Юрий, я засну...

И он действительно заснул.

Захарьев-Овинов отпер дверь, позвал старого слугу отца и затем спустился в нижний этаж, в свои комнаты.

Никогда еще, с тех пор как он себя помнил, не испытывал он такой тоски... Вот перед ним мелькнул прекрасный образ Елены. Дрогнуло и загорелось его сердце...

"Последнее испытание! - шептал он. - Оно и там, и здесь; оно велико, охватывает меня со всех сторон, грозит разрушить мою силу... и уже ослабляет меня... Я мнил, что природа сняла для меня все покровы... но вот новая глубина, новая тайна... Передо мной загадка - и я ее не понимаю, я слеп... Но я пойму и решу ее!.."

X.

Захарьев-Овинов провел ночь почти без сна, вглядываясь в свое будущее, общие черты которого были ему давно известны. Он знал, что пришло время великого переворота в его жизни. Страшные тучи нависли над ним; беды и опасности грозят со всех сторон. Но тучи рассеются, опасности минуют, и снова заблещет ясное солнце, заблещет так, как еще никогда не блистало. Таковы предсказания его судьбы. Предсказания эти никогда еще его не обманывали и обмануть не могут, ибо теперь он знает, на каких твердых, незыблемых, природных указаниях они основаны.

Итак, все хорошо. Ему ли бояться испытаний, опасностей? В его руках надежное оружие. Он на такой высоте - он, победитель природы! А между тем ведь вот же умирающий отец доказал ему, что есть власть сильнее его власти, что есть нечто незнаемое им и неуловимое, и это нечто в состоянии сразу обессилить, превратить его в такого же жалкого слепца, как и все люди, которыми управлять он может по своему желанию, и которые кажутся ему с его высоты пигмеями. Значит, есть такая глубина природы, куда он еще никогда не заглядывал и заглянуть не может...

Но ведь он накануне последней, решительной битвы. Судьба обещает ему победу. Перед ним горит великий знак Креста-Розы. Когда победа совершится, когда он возложит на себя этот символ верховной власти в области духа, тогда его знания сразу удесятерятся, тогда вся эта непонятная глубина природы откроет ему великие свои тайны, тогда навсегда простится он с ужасным сознанием своего бессилия.

Ведь так было всегда, ведь каждая новая ступень посвящения, каждая новая победа увеличивали силы и знания в неизмеримо быстро возраставшей прогрессии. Между первой и второй ступенью лестницы мистических посвящений разница в

силах и знаниях так же велика, как между полным незнанием и знанием на первой ступени. Между предпоследней, высокой ступенью и последней, высочайшей эта разница страшно, неизмеримо велика...

А потому - терпение, спокойствие, сознание своей силы, своего призвания! Прочь этот трепет, эти сердечные муки - только в них возможность падения...

И Захарьев-Овинов заставил замолчать в себе все тревожные ощущения. Он снова был холоден и спокоен, снова владел своей силой...

Но он был все же человек - и человеческое любопытство заставило его встать с кровати, зажечь свечи и приняться за работу. Эта работа, состоявшая из вычислений, комбинаций знаков и чисел и строго логических выводов спокойной, ясной мысли, должна была показать ему, в каком именно моменте своей судьбы он теперь находится и что именно его ожидает теперь, сейчас...

Позднее осеннее утро уже заглянуло в окна, когда работа была окончена. Захарьев-Овинов знал, что в настоящую минуту ему предстоит знаменательная встреча и что эта встреча должна иметь решающее значение для всей его будущности. Он сложил тетрадь и неподвижно сидел перед столом. Он ждал.

Бессонная ночь не оставила на нем никакого следа. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. Его сверкающий взгляд был устремлен в одну точку, и мало-помалу начинала перед ним выступать сущность того, кого он ждал, кто должен был явиться с минуты на минуту. Но он еще не знал, кто это, еще не видел никакого лица. Он ощущал только приближение какой-то силы. Да, это сила, могущественная сила... Она близка... все ближе и ближе... Спасение это, помощь - или враг идет, или наступает час борьбы, последней борьбы?..

Стук раздался у двери... Он поднялся с кресла, пошел и отворил дверь.

Ему навстречу будто пахнуло что-то, будто пронизал его электрический ток; но это было так мгновенно и должно было показаться ему так невозможным, что он не обратил на это внимания. Он отступил на шаг. В комнату вошел небольшого роста священник в серой поношенной рясе.

С первого взгляда ничего особенного нельзя было найти в лице священника. Это было самое обыкновенное, типичное русское лицо со следами еще не сошедшего летнего загара, с чертами неправильными, некрасивыми. Но вот он поднял глаза - и впечатление сразу изменилось. В этих ясных голубых глазах было столько света и блеска, что, казалось, они все вокруг себя озаряют. При виде этих глаз совсем забывался, как-то исчезал весь человек... И странное дело, глаза священника поражали своим сходством с глазами Захарьева-Овинова: в них была такая же сила, такая же власть; от их взгляда точно так же могло стать жутко. Но была между ними и громадная разница: глаза великого розенкрейцера в конце концов подавляли, принижали; глаза священника, если долго смотреть на них, умиротворяли, утешали...

Когда священник вошел в комнату, все лицо его дышало весельем и радостью; веселье и радость сказывались во всех его живых, несколько порывистых движениях. Он прежде всего взглянул на образ, висевший в углу, и широко перекрестился, а потом перевел взгляд свой на Захарьева-Овинова.

- Князь и брат мой, здравствуй! - громким, твердым и радостным голосом сказал священник, простирая вперед обе руки.

Теплом и светом обдало Захарьева-Овинова.

- Николай! - так же громко и почти так же радостно воскликнул он. Они крепко обнялись и троекратно поцеловались.

"Так вот кто шел ко мне! Так это он!.. Не враг, а друг... с помощью... Но чем же он может помочь мне... и отчего я о нем не думал?" - мелькало в мыслях Захарьева-Овинова.

XI.

Князь и священник уселись рядом и несколько времени молча и пристально глядели друг на друга. Они расстались детьми и теперь встретились в том возрасте, когда главнейший вопрос жизни уже должен быть решен для человека, когда важнейшие задачи должны быть исполнены, цель почти достигнута...

Что общего могло быть между ними - этим только что признанным носителем старого русского имени, достигшим исключительной высоты сил и знаний, этим человеком, могущим владеть людьми и управлять ими по своему желанию, и бедным, скромным сельским священником?..

Отец Николай окончил в Киеве свое духовное образование - и при этом ничем не выделился. Он отказался от прихода в городе и уехал в свою глухую родную деревню. Он женился на совсем необразованной, некрасивой девушке, дьяконской дочке и почти безвыездно жил в бедном домике, исполняя свои пастырские обязанности, в телеге разъезжая со святыми дарами по деревенским избам. Его руки, бравшиеся нередко и за соху, были в мозолях; на нем неизбежно отражался весь строй бедной и темной жизни, его постоянно окружавшей.

Одно только его отличало от людей его среды: полное отсутствие приниженности, забитости, робости. Это особенно замечалось здесь, в княжеском доме, среди необычной ему обстановки. Положим, его могло ободрять исключительное его положение в доме; но дело в том, что старый князь Захарьев-Овинов никогда не помнил о кровном родстве отца Николая с той женщиной, которую он любил когда-то, и сельский священник в первый раз в жизни был в Петербурге и в княжеском доме.

Да, разница между двумя, сошедшимися теперь людьми, была велика. Долгие годы, кинув их в неизмеримо далекие друг от друга сферы дея-

тельности, должны были уничтожить последние признаки их прежней связи... А между тем оба они теперь чувствовали, что эта связь крепка, что они братья... Особенно Захарьев-Овинов чувствовал это и спрашивал себя: как это мог он не знать Николая, забыть о нем и не вспоминать даже здесь, не вспоминать до тех пор, пока Николай сам не пришел к нему?

- Когда ты приехал? По каким делам? Надолго ли? - машинально проговорил он, поглощенный в свои мысли.

Священник улыбнулся ясной, почти блаженной улыбкой.

- Сейчас приехал, - просто и весело ответил он, - надолго ли - не знаю... Своих дел нет, приехал потому, что князь очень болен... и ты здесь...

- Отец давно болен, и я давно здесь, - опять-таки машинально сказал Захарьев-Овинов.

- Да, я знаю... Но вот теперь стало нужно... и я приехал. Теперь я вам обоим нужен...

И опять-таки отец Николай произнес все это с прежней простотою, прежней улыбкой. Но улыбка быстро исчезла с лица его, в голубых лучистых глазах как бы даже блеснули слезы.

Он встал и положил руку на плечо Захарьева-Овинова.

- Юрий, - проговорил он печально, - ты очень несчастлив... Недоброе ты сотворить можешь... Но Господь того не попустит по своему великому милосердию... Господь тебя помилует и спасет, и сохранит...

Великий розенкрейцер поднял голову и остановил свой изумленный, но полный всегдашней силы взгляд на лице священника.

"Что же это за человек, если приход его возвещен, как величайшее событие? Кто он, чтобы говорить так, как он говорит?.."

И нет ответа на эти вопросы. Новая загадка перед победителем природы. Но ведь он умеет проникать в чужие мысли; ему ясна и сущность вся-

кого находящегося перед ним человека! Или он внезапно лишился всех своих знаний и способностей?..

Нет, его знания, его способности все те же - они его собственность, и он не сделал ничего такого, чтобы их лишиться. Мысли и чувства отца Николая ему ясны, и в них он читает то же самое, что сейчас услышал: "Ты очень несчастлив... недоброе сотворить можешь... Но Господь тебя помилует и спасет, и сохранит..." Ничего иного, ничего затаенного... и вместе с этим - он видит и чувствует - перед ним большая, могучая сила.

- Николай, ты ошибаешься... Я не могу быть несчастливым, - проговорил Захарьев-Овинов.

Священник покачал головою.

- Ты так несчастлив, что даже и не постигаешь своего несчастия... Так несчастлив, что даже и не видишь, что такое счастие и в чем оно!

- Кто же тебе сказал это? Откуда ты знаешь меня? - и невольная усмешка пробежала по губам Захарьева-Овинова и сверкнула в глазах его.

Но священник ее не видел, он просто и прямо ответил:

- Конечно, мне трудно знать тебя, князь, ведь чужая душа - потемки... Я говорю тебе лишь то, что вижу, чувствую... Я знаю, что говорю правду и не могу сказать иного... Но погоди; коли дозволишь, мы сюда вернемся и побеседуем, теперь же пойдем к болящему, ему, видно, тяжко... Пойдем молить Бога о его здравии и успокоении...

При этих словах лицо священника стало очень серьезным и сосредоточенным. Он поднял глаза на образ, перекрестился; его губы шептали: "Боже мой, помози нам, многогрешившим рабам Твоим" - и он решительно и быстро направился к двери.

Захарьев-Овинов последовал за ним. Он видел, как отец Николай поднялся по лестнице и затем устремился спешной, неровной походкой прямо по

10 49

направлению к спальне князя, будто расположение комнат ему отлично известно и он никак не может ошибиться.

XII.

Он и не ошибся. Он остановился у запертой двери в княжескую спальню и дождался подходившего Захарьева-Овинова.

- Упреди болящего твоего родителя... я обожду, - сказал он.

Захарьев-Овинов вошел к отцу. Старый слуга так и кинулся к нему навстречу.

- Батюшка, ваше сиятельство, извольте взглянуть... князь-то как вне себя, - шептал он, - все был тих, а вот теперь тяжко так стонет, приподняться все хочет... и все на дверь... все на дверь!.. шепчет... прислушайтесь вот... понять трудно, а раза два как будто вышло: "Впусти, впусти!.."

Но князь уже заметил сына и по всем его усилиям было видно, что он действительно стремится по направлению к двери. Его губы бессильно разжимались, и в их несвязном неопределенном шепоте чуткий слух Захарьева-Овинова разобрал:

- Юрий... скорее... там... тепло... свет... отвори...

Дверь тихо отворилась, и в спальню вошел отец Николай.

Он прямо подошел к кровати и остановил на больном ласковый, почти нежный взор.

Старый князь мгновенно затих, глаза его закрылись, лицо стало спокойным, таким спокойным, каким не было уже давно, - давно с самого приезда сына.

Между тем отец Николай быстро оглянул комнату, увидел киот с горевшей перед ним лампадой, поспешно подошел к нему и упал на колени. Он стал молиться. С изумлением глядели на эту молитву и Захарьев-Овинов, и старый

слуга. Но священник уже забыл где он, кто с ним. Он знал только то, чего просит у Бога - и просил всем существом своим, всей своей верой, волей, душой.

Наружным образом его молитва выражалась в странных, порывистых телодвижениях. Сначала он будто отгонял от себя что-то, будто что-то отрывал от себя, сбрасывал. И это продолжалось немало времени, пока он не почувствовал себя очищенным, освобожденным от всего, что его стесняло, давило, что наплывало на него со всех сторон, мешая ему всецело отдаться одной мольбе, единому страстному желанию, превратиться в один порыв...

Но вот его усилия увенчались успехом: все земное, темное, жестокое его оставило; все злые силы, навевавшие ненужные, мешающие, а порою и дурные мысли отступили от него побежденные и уже не могли поднять голоса, онемели. Тогда он прямо и смело ринулся вперед, в высь, к чему-то бесконечно светлому, что он почти видел над собою, что он чувствовал всем существом своим. И он знал, что там, среди этого света и тепла, изливавшегося на него и проникавшего в него блаженным трепетом, источник жизни, источник всех благ...

И он молил подать ему, по божественному обещанию, силу, исцеляющую немощи и бесов изгоняющую... "Через слабость мою прояви Твою силу!.." - шептали его губы...

Но он еще не чувствовал в себе наития силы. Его мольба, его вера все еще оставались бесплодными; он был по-прежнему слабым человеком... Он, однако, не падал духом; его вера не слабела, напротив, она крепла с каждым мгновением. В нем звучал ясный голос: "Просите - и дастся вам... толцыте - и отверзется!"

И он просил с могучею силой любви к ближнему, он стучал все громче и громче в заветную, обетованную дверь, он взывал, почти требовал обещанного и должного, зная, что Тот, Кто

обещал, не может его не услышать, не может не отворить ему двери. Он весь преобразился, черты его осветились, глаза таинственно блистали, трепет пробегал по его телу, капли холодного пота струились по лбу его...

Наконец свершилось. Мольба его была услышана, обетованная дверь отверзлась. Он почувствовал, как влилась в него светлая, могучая сила. Ему уже давно было знакомо зто ощущение, давно уж он знал, что сила эта - не призрак, не бред, не мечта воображения...

Он поднялся с колен и направился к кровати. Теперь в нем уже не было волнения, ни странных движений, ни трепета. Он спокойно подошел к неподвижно лежавшему больному и положил ему свою руку на голову.

- Князь, встань и помолимся вместе! - тихо сказал он.

В этих тихих словах не чувствовалось требования, но они были так сказаны, что, очевидно, их нельзя было ослушаться.

- Я не могу шевельнуться! - явственно произнес больной.

Тогда отец Николай еще раз возложил на него руку и еще раз повторил: "Встань, и помолимся вместе"!

И старый князь встал с кровати и опустился на колени рядом со священником, начавшим громко читать молитву. Слуга повергся ниц и рыдал. Захарьев-Овинов стоял бледный, неподвижный, едва веря глазам своим...

Когда молитва была окончена, отец Николай благословил больного, глядевшего на него с умилением, а затем помог ему лечь в кровать.

- Для Бога все возможно! - спокойно и с глубоким убеждением сказал он. - Только веруйте, только молитесь... Просите - и дастся вам, толцыте - и отверзется... И жизнь, и смерть - все в деснице Господней; но Господь не может желать смерти грешника, смерти непросвещенного... Он

избавит вас от лютых мучений, он продлит дни ваши, исполнит мольбу вашего духа, насытит вас - ибо жаждете - и затем пошлет вам безболезненную и мирную кончину... Только молитесь... только уповайте!..

Все лицо старого князя было залито слезами. Он не мог оторвать взгляда от священника. Потом он вдруг приподнялся с подушек и произнес:

- Отче, хочу исповедаться перед тобою в грехах моих.

Отец Николай молча взглянул на Захарьева-Овинова - и тот послушно вышел из спальни. Вслед за ним, дрожа и обливаясь радостными слезами, тихо вышел слуга и запер за собою дверь...

XIII.

"Светлейший опять не в духе, опять заскучал... в невидимку превратился!" - на разные лады сообщалось в высших придворных сферах. Видимой и хоть сколько-нибудь понятной причины недовольства светлейшего никакой не было, а потому эту причину, по обыкновению, выдумывали. Самые противоречащие и ни с чем не сообразные рассказы ходили по городу и, выслушав их все, можно было только развести руками и постараться скорее забыть весь этот вздор, от которого голова туманилась и одурь нападала.

Правдой было лишь то, что уже третью неделю Потемкин никуда не ездил и все дни и вечера проводил в своих палатах, никого к себе не впуская. Он действительно был очень не в духе - только на этот раз не тосковал, не скучал. Он весь отдался своему новому капризу, Лоренце, и этот каприз возрастал с каждой минутой.

Калиостро работал, создавая золото, в одной из княжеских комнат, превращенных в великолепную лабораторию. Он работал ежедневно, а иногда и по

нескольку раз на день приезжал взглянуть, как идет работа и все ли в порядке.

Потемкин сначала глубоко заинтересовался алхимической работой, подолгу оставался в лаборатории, следя за действиями Калиостро, расспрашивая его о сущности "великого делания", восхищаясь его всегда неожиданными, умными и даже глубокими выводами и объяснениями. Но скоро и лаборатория, и беседы с Калиостро потеряли всю свою прелесть. Светлейший предпочитал не мешать алхимику в его работе и ожидать результатов этой работы за несколько комнат от лаборатории, в совсем иной обстановке.

Здесь среди всех прихотей и причуд баснословной роскоши рядом с ним почти всегда была прелестная Лоренца. Всякий раз свидание начиналось с надежды и кончалось поражением - Лоренца ускользала как змея, улетала как бабочка, оставляя светлейшего в негодовании, в бешенстве. По ее исчезновении он предавался необузданным порывам и приходил в себя только от звона какой-нибудь драгоценной, редкой вазы, вдребезги им разбитой с досады...

Но он негодовал вовсе не на Лоренцу и не на Калиостро. Он хорошо знал, что и Калиостро, и Лоренца в его руках, что стоит ему захотеть - и Лоренца будет принадлежать ему по праву силы, могущества. Да и, наконец, сама соблазнительная итальянка во время одного из их свиданий, когда он выразил ей свои чувства, очень ясно дала ему понять, что она перед ним бессильна, что она в его руках, понимает это, а потому не может и не станет защищаться. Она свободна только в своем чувстве, свободна полюбить его или возненавидеть. Она способна и на то, и на другое - все от него зависит...

И вот, его каприз состоял в том, чтобы заставить ее полюбить и чтобы он узнал, почувствовал это. До сих пор ему не было никакого дела - любят ли его или нет те женщины, которых он

удостоивал своим вниманием. Каприз являлся, прихоть исполнялась - вот и все.

Теперь же от Лоренцы он жаждал невынужденных, свободных, искренних признаний. Не его могущество, не эта царственная роскошь должны были соблазнить ее - ее должен был соблазнить он сам как человек, как мужчина.

Этот каприз, всецело наполнявшее его страстное желание вызвать любовь в сердце хорошенькой чужестранки - это было в нем не иное что, как последний вызов беспощадно и быстро промелькнувшим годам, показавшейся седине, углублявшимся морщинам. Никогда еще, до последнего времени, он не думал о своих годах, о своей наружности, о производимом им впечатлении. Но недавно на одном из придворных балов он нечаянно услышал такой разговор двух красивых женщин.

- А! Вот и светлейший! - говорила одна из них, когда он проходил мимо, горделиво подняв голову и ни на кого не глядя. - Бог мой, как он изменился! Правда, я не видела его четыре года... но чтобы так постареть!.. А был когда-то так прекрасен, что и вправду обворожить мог...

- Зато прежде он был Григорием Александровичем, а ныне - светлейший! - не без насмешки в голосе ответила другая дама.

- А все-таки ни светлость, ни вся его власть не вернут ему красоты и молодости, не дадут ему сердца женщины...

Он прошел мимо - и ничто не дрогнуло в лице его. Очень ему нужны красота и молодость... да и к тому же он владеет единственным сердцем, которым действительно дорожит... Он тотчас же и позабыл этот подслушанный разговор, как позабыл и все, что вокруг него говорилось в тот вечер и что его ничуть не занимало.

Но через дня два-три разговор двух дам ему вспомнился от слова до слова - и не отставал от него, то и дело повторялся в его памяти, как

иногда вспоминается неведомо зачем откуда-то взявшийся напев или стих, бессмысленно навязывающийся, преследующий, не дающий покою.

Кончилось тем, что этот разговор заставил его задуматься - он невольно, бессознательно был им обижен. Видно, молодость и для всесильного великана драгоценнейшее благо! Ему безумно захотелось доказать себе, что он могуч всячески, что он ничего не потерял - и только приобретает, что эти две насмешницы ошиблись. Не золотом, не властью, а своей привлекательностью покорит он сердце самой хорошенькой, самой соблазнительной женщины, какую только встречал в жизни...

И теперь, даже не замечая этого, светлейший уже не валялся по утрам нечесанным и неумытым, в халате и туфлях на босу ногу. Лоренца заставила его всегда во всем блеске драгоценного наряда, напудренным и надушенным, заставала таким, каким уже давно никто не видал его. Теперь он знал каждую морщину, каждую шероховатость кожи на своем львином, мясистом лице. И он в присутствии Лоренцы, просто мучился за эти морщины, за эти шероховатости, которых она вовсе и не замечала.

XIV.

О, эта Лоренца! Какими глазами она него смотрела! В них иной раз читался восторг, вызывающая нежность; они ласкали его, томили, манили. Вот, вот, еще мгновение - и он поймет, что она его любит. Но внезапно опускаются длинные черные ресницы...

- Лоренца, о чем вы задумались? Что вспомнили? Расскажите!..

Она поднимает глаза - и в них ничего прежнего. Она глядит холодно, рассеянно, устало - и ничего не может он прочесть в ее взгляде...

В одну из таких минут он настоял на том, чтобы она заговорила о своем прошлом.

- Как вы встретились с вашим графом? Что это было: любовь, идиллия, драма или что-либо иное? - спросил он.

Она улыбнулась (что было в этой улыбке!) и рассказала своим звонким, почти детским голосом, закрадывавшимся прямо в сердце, ласкавшим и возбуждавшим нервы:

- Я уже вам говорила, синьор принчипе, что я римлянка. До шестнадцати лет я не выезжала из родного города... Вот, мне было тогда пятнадцать лет и два месяца... Один раз вечером - у нас не такие вечера, как в вашем холодном, темном Петербурге, - так вот, вечером я сошла с крыльца нашего дома и остановилась на несколько минут подышать прохладой...

Город утихал, прохожих было мало. Я глядела вверх, на небо, по которому плыли такие легкие, прозрачные, розоватые облака... Эти облака превращались в разные фигуры, в людей, зверей, птиц, в здания, в целые картины... И я следила за их превращениями... Вдруг мне стало как-то странно, страшно... сердце сжалось... во всем теле я почувствовал трепет и слабость...

Я опустила глаза и встретилась с двумя черными, блестящими глазами, и поняла, что эти глаза на меня давно смотрели и что от них мой трепет, мое волнение... Это был он... граф. Спросите его, как он сделал, - но только через час я уже видела его в нашей столовой вместе с отцом моим, он уже был гостем у нас в доме... Через два дня он просил моей руки у моих родителей... Они согласились: он был знатен, богат, его с радостью принимали все знатнейшие люди в Риме...

- А вы, Лоренца? Значит, он одним взглядом своих черных глаз так сразу и завладел вашим сердцем? - с не совсем искренней улыбкой спросил Потемкин.

- Мой Бог, синьор принчипе! Как будто трудно завладеть сердцем пятнадцатилетней девочки, особенно с помощью таких глаз!

- И вы никогда не раскаялись, прелестная Лоренца, что так рано вышли замуж, никогда не взглянули с любовью ни на кого, кроме своего мужа?

- Синьор принчипе, это исповедь?

- Нет, это праздный вопрос, на который искренно, быть может, не отвечала ни одна хорошенькая женщина...

Но отчего же она задумалась? Отчего тень печали промелькнула по лицу ее?

- Он необыкновенный человек, мой муж! - после некоторого молчания произнесла она. - Он выше других людей, он обладает необычайными знаниями и силами... Зачем же мне было раскаиваться в моем замужестве... я только могу благодарить судьбу мою...

- Да, ведь и то! Вы верите всему, что он рассказывает, - с насмешливой, почти злой улыбкой сказал Потемкин - верите так же, как и мы все верим...

- Да, конечно, а то как же может быть иначе? - сверкнув глазами, быстро ответила она. - Разве можно не верить ему... Если вы видели удивительные и ужасные вещи, то подумайте только, чего я должна была навидаться!..

Ее голос оборвался, и Потемкин ясно увидел, как дрожь пробежала по всему ее телу. В глазах ее мелькнул ужас...

Светлейший сдвинул брови.

- Если б вы и хотели полюбить кого-нибудь - так он не позволит, не так ли? - почти крикнул он. - Если б и полюбили уж - так он своей тайной силой, своими чарами вырвет любовь из вашего сердца! Так, что ли?

Он сам не знал - шутит он или говорит серьезно. А Лоренца между тем побледнела и дрожала, пугливо озираясь.

- Быть может, и так, - прошептали ее губы.

- Так вы его боитесь, прелестная моя Лоренца, прошу вас, скажите мне правду, скажите... вы его боитесь?!

Теперь он очень серьезно спрашивал. Его сердце закипало. Лоренца ничего не ответила, она молчала и трепетно опустила голову, - в этом движении был ее ответ, который она не смела доверить слову.

- Боитесь его и здесь, у меня? Не смеете полюбить меня, потому что его боитесь?

Дверь отворилась - и вошел Калиостро. Потемкин хотел встать и выгнать его, как собаку. А между тем он не сделал этого. Он остался будто прикованным к месту и только вопросительно глядел на преемника древних египетских иерофантов.

Калиостро молча положил на стол возле князя какой-то блестящий металический слиток.

- Что это? Неужели золото? - с невольным изумлением и волнением воскликнул Потемкин.

Но Калиостро сразу охладил его.

- Синьор принчипе, - сказал он.- Я уже объяснил вашей светлости, что такого быстрого результата ожидать невозможно. Все происходит в природе по неизменным вечным законам. Все проходит постепенно великую лестницу видоизменений, от низшего к высшему... Это еще не золото; но это уже интересный продукт сил, доказывающий, что моя работа производится правильно и что в ее окончательном результате нельзя сомневаться. Это прекрасный металл, почти неизвестный, не имеющий еще названия - это среднее, так сказать, между серебром и золотом, выше серебра и ниже золота... С этой минуты я могу получать такого металла сколько вам угодно...

- Что же я буду делать с этим вашим прекрасным металлом, господин алхимик? - не без досады спросил Потемкин, с интересом, однако, разглядывая сверкавший, похожий на золото слиток.

Калиостро улыбнулся тонкой усмешкой и в то же время обжег все еще бледную и трепетавшую Лоренцу своим проницательным взглядом.

- Что будете делать? - сказал он. - А вот хоть бы и это: из моего металла выйдут превосходные пуговицы для мундиров русской армии. Они обойдутся дешевле медных, с виду пуговицы будут несравненно красивее - они прочнее, не чернеют, не требуют чистки... И таких чудных пуговиц нет и не было ни у одной из армии...

- А ведь это, пожалуй, и мысль! - смеясь воскликнул Потемкин.

Он взял в руки слиток и пробовал весь его. Мысль Калиостро ему понравилась.

XV.

Потемкину очень бы хотелось задержать Лоренцу. Ему хотелось бы снова остаться с нею вдвоем и продолжать начатый разговор. Ведь разговор этот становился интересным и мог окончиться чем-нибудь решительным. Алхимик может вернуться в лабораторию и продолжать свое "великое делание".

"В лабораторию, за работу!" - стоит только сказать это - и алхимик не посмеет ослушаться, стоит сказать: "Прекрасная Лоренца, останьтесь со мною и будем продолжать нашу беседу!"- и она останется...

А между тем светлейший не сказал ни того, ни другого, и когда Калиостро объявил, что ему пора домой, что у него и у жены есть дело, что их ждут, светлейший с недовольным видом проводил их до двери, а сам вернулся к столику, на котором лежал слиток. Он рассеянно взял этот слиток в руки, рассеянно глядел на него, а потом бросил на ковер и отшвырнул его ногою.

Несколько минут измерял Потемкин комнату своими тяжелыми шагами, потом сбросил с себя тяжелый, зашитый золотом кафтан и, по обычаю,

грузно упал на шелковые подушки турецкого дивана. Лицо его было мрачно, красные пятна, пятна гнева, выступили у него на лбу и на щеках. Теперь не дай Бог было попасться ему под руку, но никто и не мог попасться - с утра, по приказу светлейшего, никого не принимали, вокруг все было тихо и пусто...

Он ли это - избалованный судьбою властелин, перед которым все должны склоняться, чья воля давно уже для всех закон? Каким образом не может он, не смеет исполнить самое исполнимое из всех желаний? Каким образом, так хорошо умеющий узнавать людей и презирать их, он поддался темному иностранцу, сделался игрушкой в руках хорошенькой женщины?

Конечно, если бы он сам сознательно задал себе эти вопросы, то все могло бы очень быстро измениться. Но дело именно в том, что он подчинился общей судьбе человеческой, не мог задать себе подобных вопросов, не понимал, не видел своего положения и никто, конечно, не мог бы, не посмел все это объяснить ему...

Да и наконец, темный иностранец - сделает ли он чистое золото, или остановится на этом блестящем слитке, валявшемся теперь на ковре, - все же человек он не совсем обыкновенный. Ему не удалось сразу очаровать императрицу, но ведь мало ли что не удается сразу. Будь у него не одна, а несколько встреч с Екатериной, быть может, и эта мудрая, хладнокровная женщина поддалась бы его обаянию. С Потемкиным он видается ежедневно, ежедневно на него действует - и достигает своей цели...

Он вовсе не расчитывал сегодня так быстро вынести Потемкину свой слиток. Он спокойно сидел в лаборатории, задумчиво и мечтательно глядя на пламя, пылавшее в маленькой жаровне, и вдруг почувствовал что-то вроде тревоги. Давно уже знакомо ему было это ощущение. Он вздрогнул, насторожился, схватил еще со вчерашнего дня

готовый слиток и поспешил туда, где его жена беседовала с Потемкиным.

У двери его тонкий слух расслышал последние слова Лоренцы, последние слова светлейшего. Он поспел как раз вовремя: знакомое нервное ощущение предупредило его недаром.

Его острый взгляд, взгляд властелина, приказал Лоренце встать и объявить, что ей пора, что она должна непременно удалиться вместе с мужем. И она исполнила это.

Ему хорошо было известно, что Потемкин готов его выпроводить и остаться с нею, но мысленно он приказал ему молчать. Он, неведомо кто, приказал молчать великому Потемкину - и Потемкин послу-шался, проводил их до двери и остался со своим бессильным гневом...

Карета быстро мчала Калиостро и Лоренцу по направлению к дому графа Сомонова, где они попрежнему жили. Несколько минут они оба молчали. Лоренца совсем как-то притихла в уголку кареты и боялась взглянуть на своего спутника.

Она хорошо понимала и чувствовала, что он недоволен ею, что он слышал конец ее разговора с светлейшим. Он всегда все слышит, все знает...

В чем же ее вина? Ведь она не сказала ничего особенного, а между тем она чувствовала, что он винит ее и что она действительно виновата. Она ничего не сказала Потемкину, но ведь она знала, что именно думала, что чувствовала во время этого разговора. Она готова была возмутиться против своего повелителя. Это возмущение, тоска, страх - давно знакомое, не раз повторявшееся состояние - наполняли ее в ту минуту, как он вошел со слитком в руках...

Теперь, теперь возмущение все продолжалось, но оно смешивалось уже с чисто паническим страхом и с сознанием своей виновности. Что же будет?

- Лоренца! - спокойно и повелительно позвал он.

Но она не может взглянуть на него. Она ни за что не взглянет.

- Лоренца!

Его рука прикоснулась к ее лбу. Будто молния ослепила ее и всю пронизала. Ее глаза потеряли всякое выражение, зрачки расширились.

- Слушай меня, - сказал он.

- Я слышу, - невнятно шевельнулись ее губы.

- Если бы я не вошел и не прервал вашего разговора, что бы ты сделала?

- Я рассказала бы ему всю правду.

- Какую же правду ты бы ему рассказала, что именно?

- Я сказала бы ему, что мы не совсем то, за что выдаем себя. Он считает меня прирожденной патрицианкой... И вот я стала бы говорить ему: я дочь римского бронзировщика, по имени Фелициани. Мы жили хоть и в избытке, но в полной простоте, как и все ремесленники. Я была совсем ребенком, любила и боялась Бога, молилась Ему усердно, любила моих родителей, да и всех любила. Ничего дурного я не знала и ни о чем дурном и злом не думала. Мои удовольствия были незатейливы и невинны. Я чувствовала себя очень счастливой. Меня все ласкали; все, и свои и посторонние, говорили мне словами и взорами, что я красива, что я все хорошею. Это делало меня еще более счастливой...

Но вот явился неведомый человек, взглянул на меня - и этим взором будто влил в меня отраву. Один миг - и во мне не осталось ничего прежнего: меня наполняли муки, ужас, блаженство; туман закутал меня, и в этом тумане я ничего не видела, не понимала. Я знала только, что я во власти этого человека, что я его раба... И он взял меня. Кто он - я не знала; но вся жизнь его была загадкой и обманом. Его богатство, которым он прельстил моих родителей, быстро таяло... Он сам мне в этом признался; но стал внушать мне, что стоит только нам захотеть - и мы всегда

будем богаты... Я должна любить его одного, но быть любезной и ласковой с теми мужчинами, которые могут нам принести пользу. Он учил меня кокетству, самому бессовестному.

При одной мысли об этом я сгорала со стыда... Я была чистым, незапятнанным ребенком, а он открыл мне все ужасы людской испорченности, всю грязь и весь жалкий разврат, в котором купаются люди... О, он презирал людей! Как он умел их презирать и какие огненные, уничтожающие речи лились с уст его! Он был мой демон-искуситель - и я его боялась. Я не могла, не хотела слушаться его ужасных советов и пользоваться моей красотою, обманывать ею глупых людей, таявших от моего взгляда... Я все сказала моему отцу и моей матери... Они пришли в ужас, было решено, что я останусь с ними, а его мой отец после ужасного объяснения выгнал из дому...

Презрительная и гордая усмешка скользнула по лицу Калиостро.

- Да, Лоренца, - сказал он, - это была первая вина твоя передо мною. Ты, глупый ребенок, не поняла меня. Я вовсе не развращал тебя, я показал тебе людей такими, каковы они в действительности. Я не могу не презирать их и ни к кому не могу ревновать тебя. Я выше предрассудков, лицемерно выдуманных этими низкими, глупыми людьми! Если нам нужно золото и для того, чтобы получить его, тебе стоит только улыбнуться какому-нибудь глупцу и позволить ему поцеловать твою руку - улыбнись ему, выслушай его страстный вздор, в основе которого всегда заключается низость и животная грубость, протяни ему руку... Потом ты вымоешь руку - и от всего этого ничего не останется, кроме нужного нам золота. Больше же я никогда от тебя ничего не требовал и не допустил бы, потому что я люблю тебя... А твой отец, со слов твоих, обвинял меня в том, что я желаю торговать тобою...

- Бог мой! Да разве это не все равно? - воскликнула Лоренца.

- Это не все равно! - решительно и твердо сказал Калиостро.

Она продолжала:

- Он покинул дом моего отца, где мы жили со времени нашей свадьбы, но я не осталась; в тот же вечер, не знаю как, против своей воли, я ушла. Шла я сама не знаю куда - и пришла к нему, хоть и не имела понятия, где он находился. Я отказалась от родителей, не видалась с ними. В нашем новом жилище всегда было много народу, по преимуществу мужчины. И я всем расточала свои улыбки, благосклонно выслушивала нежные и страстные признания... Особенно мною увлечен был маркиз д'Аглиата. Он уговорил нас уехать с ним в Венецию. Но мы не успели оглядеться в этом городе, как нас посадили в тюрьму.

- За что? - спросил Калиостро.

- Я не знаю...

- И я тоже не знаю, ибо не совершил никакого преступления и проступка...

- Мы были скоро выпущены, - опять заговорила Лоренца, - но маркиз д'Аглиата исчез и похитил шкатулку со всеми нашими драгоценностями и деньгами. Мы остались нищими и пошли пешком на богомолье к Сант-Яго-ди-Компостелло. Это было долгое, утомительное путешествие, во время которого мы испытали много нужды и всяких бедствий. Сколько раз мы голодали!.. Уставшая, изнеможденная, полная отчаяния, я просила у Бога смерти. Я не была приготовлена к такому испытанию, к такому образу жизни...

- Несчастная, но ведь и твой муж не наслаждался! - воскликнул Калиостро. - Ведь и он привык путешествовать в блестящем экипаже, с карманами, полными золота. А видела ли ты когда нибудь его отчаяние, падал ли он духом?

- Нет, - проговорила Лоренца.

XVI.

Эта беседа в быстро мчавшейся карете становилась все более странной. Если бы кучер, сидевший на козлах, мог слышать и понимать своих седоков, если бы он уразумел, что такое перед ним происходит, то, наверно, выронил бы вожжи и постарался бы убежать куда-нибудь подальше от этой чертовщины.

Разговор велся как бы спокойно и обстоятельно. На вопросы Калиостро его жена отвечала, очевидно, слыша и понимая эти вопросы. А между тем она была погружена в глубокий и странный сон. Она не знала, что находится в карете, что рядом с нею муж и что это он говорит ей, ее спрашивает. Ей было приказано выразить все, что она могла, что хотела бы рассказать Потемкину - и она исполняла это приказание. Она перенеслась в свое прошлое, видела его ясно перед глазами, снова жила в нем и правдиво передавала то, что было перед нею. А между тем ее глаза оставались неподвижными, как у мертвой, недоступными никаким внешним впечатлениям; вся она застыла, ни один мускул ее тела не двигался, даже губы, произнося слова, с трудом шевелились. Голос ее был странный, глухой, совсем не ее обыкновенный голос.

- Нет, - повторила она, - мой муж не падал духом, он был спокоен, даже весел, и когда я приходила в отчаяние, когда я объявила, что не могу выносить больше этого путешествия, что теряю последние силы, он каждый раз умел на меня действовать... и мои силы возвращались, отчаяние проходило, я забывала все и бодро шла вперед. Наконец мы достигли Испании и пришли в Барцелону. Мой муж сказал мне, что мы здесь останемся довольно долгое время...

Однако нужно было жить, нужно было иметь пристанище и питаться. Тогда мой муж приказал мне идти исповедаться в церковь, находившуюся

вблизи от гостиницы, где мы остановились. Он научил меня всему, что я должна говорить, как должна поступать, и я послушно исполнила его приказание. Я сказала исповеднику, что мы оба, я и муж, принадлежим к знаменитым римским фамилиям, что мы тайно обвенчались, скрылись из города, добрались сюда, истратились в дороге и теперь нуждаемся в деньгах, так как сумма, которую наши друзья нам высылают, придет еще через несколько времени...

Монах мне поверил и дал мне деньги. На следующий день он пришел к нам, принес всякой провизии и, говоря с нами, не иначе называл нас как "экчеленца"...

Так продолжалось немало времени. Но всякой доверчивости бывает конец, и наш почтенный покровитель пожелал видеть наше брачное свидетельство. А между тем мы его не взяли с собою, оно осталось в Риме. Тогда, по приказу мужа, я отправилась к одному из первых богачей в городе, занимавшему важную должность, название которой я теперь забыла. Я понравилась этому человеку - более того, он сразу в меня влюбился...

Он взялся выхлопотать из Рима наше брачное свидетельство и снабдить нас значительной суммой денег. Мы могли расплатиться со всеми нашими долгами, и у нас еще осталось достаточно. Мы поспешили в Мадрид, оттуда в Лиссабон, а затем отправились в Лондон...

После трех недель жизни в этом городе наши денежные средства истощились и мне опять пришлось добывать деньги. Между нашими новыми знакомыми было двое: один богатый и уже пожилой человек, принадлежавший к секте квакеров, и молодой человек, называвший себя маркизом Вирона. Квакер, несмотря на все строгости секты, к которой он принадлежал, пленился мною и дошел до нежных признаний...

Как-то мы были вдвоем, мужа не было дома. Я смеялась, шутила, стыдила почтенного квакера, но

он не унимался. Он бросился передо мною на колени, ловил и целовал мои руки, уверял, что не может без меня жить. Наконец, он силою меня обнял. Тогда я пришла в негодование и закричала. Дверь отворилась, и в комнату вбежали мой муж и маркиз Вирона. Они схватили квакера и скрутили ему руки...

Я поспешила в свою комнату и не знаю, что было дальше, знаю только, что квакера, наконец, выпустили и что у мужа оказалось много денег...

Однако деньги у нас выходили скоро, и не прошло и двух месяцев, как моего мужа посадили в тюрьму за неплатеж квартирному хозяину. Но я обратилась за помощью к одному нашему знакомому англичанину. Я горячо плакала, объясняла безвыходное положение моего мужа. Этот англичанин дал мне нужную сумму. Мужа выпустили из тюрьмы, и на следующий же день мы уехали в Париж...

В путешествии мы встретились с французом, по имени Дюплезир. Через полчаса знакомства с ним я уже поняла, что он в меня безумно влюбился, хотя и не делала ровно ничего такого, что могло бы ему подать надежду на взаимность. Этот Дюплезир не разлучался с нами. Мы жили на его счет, и он считал себя счастливым доставлять мне возможность пользоваться роскошью и всеми удовольствиями...

У моего мужа оказались какие-то мне неизвестные дела в Париже. Он часто уходил из дому, иногда не возвращался целый день, и я оставалась одна, то есть не одна, а все с тем же Дюплезиром...

Но оказалось, что этот француз вовсе не богат, он истратил на нас слишком много и продолжать так не имел возможности. Постоянно беседуя со мною, он начал вооружать меня против мужа, доказывать мне, что это человек дурной и безнравственный и что если я хочу остаться чест-

ной женщиной, то должна немедленно его покинуть и вернуться в Рим к родителям...

Мой муж в это время был очень занят, обращал на меня очень мало внимания. Я слушала Дюплезира и кончила тем, что прониклась его взглядами и решилась последовать его советам. Он помог мне убежать из дома и скрыться...

Но по жалобе мужа, обратившегося к королевскому правосудию, меня отыскали и заключили в Сент-Пелажи, где я находилась несколько месяцев. Наконец мой муж явился в место моего заключения. Я была очень рада его видеть. Я просила у него прощения...

Калиостро усмехнулся.

- Искренно ли ты просила у него прощения, поняла ли ты свою вину? - спросил он.

- Да, поняла, муж явился - и я была в его власти. Он сказал мне, что я виновата - и я узнала, что я действительно виновата, и была рада и счастлива, когда он простил меня и увел с собою. Снова начались наши путешествия. Из Парижа мы отправились в Брюссель, потом в Германию, в Италию и, наконец, в Палермо. Но из Палермо мы должны были бежать, так как муж мой подвергался какой-то опасности, о которой не хотел мне сказать... Мы очутились в Неаполе, и тут я в первый раз поняла, чем занимается мой муж. Это открытие привело меня в ужас и в то же время показало мне, что я навсегда в руках этого человека... Мой муж был колдун, и я помимо своей воли была его помощницей в колдовстве... Он мною владел посредством тайной силы... Он отдал душу дьяволу и погубил мою душу...

Голос Лоренцы оборвался.

По лицу Калиостро скользнула краска досады.

- И ты бы так сказала ему это? Обвинила бы своего мужа в колдовстве, в том, что он погубил и свою, и твою душу? - воскликнул он. - О, глупая женщина! Я объяснил ей все, я открыл ей многие тайны... Она говорила, что понимает, она

одобряла меня, клялась быть мне верной подругой и помощницей, клялась, что боготворит меня - и теперь я вижу, она лгала! В глубине души она осталась полной предрассудков, такой же темной и глупой, как и та среда, где она выросла. Она меня не любила и не любит... Она хотела предать меня, погубить, она предаст меня и погубит, если я навсегда не вырву ее жала... Зачем же я люблю ее!..

XVII.

Но и досада, и другое, более глубокое чувство, вызвавшее последние слова Калиостро, быстро в нем замерли. Лицо его сделалось спокойным и горделивым. Он взглянул на Лоренцу, положил ей руку на лоб и повелительно произнес:

- Продолжай, говори слово в слово так, как ты бы ему сказала!

Снова раздался в карете странный, глухой голос Лоренцы, с трудом вырывавшийся из почти неподвижных губ.

- Прожив некоторое время в Неаполе, мы переехали в Марсель, - начала она, - здесь мы познакомились с одной пожилой дамой, которая, несмотря на свой возраст, сразу пленилась моим мужем. Она засыпала нас дорогими подарками и деньгами... У этой дамы был старинный друг сердца, человек еще более почтенного возраста, чем она. Он стал ревновать ее к моему мужу. Между тем дама вовсе не желала с ним разрыва, так как он был очень богат и пользовался хорошей репутацией. К тому же он мог сделать нам много неприятностей...

Во избежание этого дама просила моего мужа быть любезным со стариком, как оказалось, бредившим каббалистикой и уже давно искавшим философский камень. Очень скоро муж мой уверил этого человека, что может вернуть ему молодость.

Они стали вместе заниматься отыскиванием философского камня...

Так продолжалось несколько месяцев. Все были довольны, и наши карманы постоянно наполнялись золотом. Наконец старик нашел, что пора ему достигнуть цели, то есть превратиться в молодого и иметь философский камень. Между тем мой муж, несмотря на все свои познания, не мог ему еще доставить ни того, ни другого и кончил тем, что объявил ему о своем отъезде из Марселя. Он должен был ехать в Италию, чтобы достать только там растущую траву, необходимую для дальнейших работ...

Старик подарил ему прекрасный экипаж, снабдил его значительной суммой денег. Дама тоже дала много денег и мужу, и мне - и мы уехали, но вовсе не в Рим, а в Испанию. Экипаж мы продали в Барцелоне.

"Куда же теперь едем?" - спрашивала я мужа.

И он мне ответил:

- В Кадикс.

- Зачем?

- Затем, что там ждут меня.

В Кадиксе нас действительно ждали, так как только что мы приехали, как явился к нам какой-то человек и дал моему мужу тысячу экю для закупок различных предметов и веществ, необходимых при добывании философского камня... И вот мы опять в путешествии. Мы едем в Англию. Мы только что успели осмотреться в Лондоне, как явилась к мужу старая англичанка, миссис Фрей, и вместе с нею старик, по имени Скотт. Каким образом отыскивали моего мужа все эти люди, я не знаю. Все это были как бы случайные встречи, а между тем мы именно ехали в тот или другой город для этих встреч и только ими можно было объяснить наше пребывание то там, то здесь... Не будь этих встреч, мы не знали бы, чем существовать... Скотт и миссис Фрей занимались каббалистикой, или, вернее, отыскивали комбинации, при

посредстве которых можно выигрывать в лотерею. Мой муж сказал, что может им помочь в этом, так как владеет секретом комбинации чисел, при которой ошибка невозможна...

Калиостро, все время слушавший спокойно, с презрительной усмешкой, вдруг вспыхнул: в нем закипела кровь, глаза его метнули искры.

- Какой, однако, ужасный рассказ, - воскликнул он, - этого рассказа более чем достаточно для того, чтобы осудить меня на вечную тюрьму или даже на казнь, как грубого мошенника или шарлатана!.. Только неверное освещение, только маленькие изменения в подробностях - и я преступник!.. Но и в этом змеином рассказе должны быть явные противоречия!.. Лоренца, можешь ли ты сказать, что миссис Фрей и Скотт были обмануты, что обещание, данное им, было шарлатанской проделкой?..

- Нет, - прошептала Лоренца, - ведь муж мой настоящий колдун... Он, действительно, сделал так, что на указанные им номера билетов пали большие выигрыши. Тогда мой муж принял миссис Фрей и Скотта по их настоятельной просьбе в долю при своих работах: они вносили часть денег, необходимых для добычи философского камня. Но работа подвигалась медленно, было несколько неудачных опытов, поглотивших значительные суммы... Миссис Фрей и Скотт, оба скупые и жадные, испугались за свои деньги и потребовали их обратно... Мой муж не имел возможности вернуть им деньги и за недостатком средств должен был остановить свою работу. Тогда миссис Фрей и Скотт подали на него в суд жалобу, обвиняя его в мошенничестве. Однако на суде они ничего не могли доказать - и мой муж был оправдан. При этом он публично, на суде, объявил, что занимается каббалистикой, что знает много самых интересных вещей и предложил отгадать номер билета, на который падет первый выигрыш ближайшей лотереи...

- Да, и не нашлось никого, кто бы принял, хоть из простого любопытства, мое предложение, кто бы захотел проверить - дерзкий ли я обманщик, или, действительно, владею большими знаниями! - спокойно и раздумчиво проговорил Калиостро. - Ну, а потом, Лоренца, что было потом?

- Потом наша жизнь внезапно изменилась, стала совсем новой, и мы сами стали новыми!.. Я не узнавала моего мужа, да не узнавала и себя... Мы уже никогда не нуждались в деньгах, не скрывались от преследователей, не переезжали из города в город для того, чтобы встречаться с людьми, деньгами которых мы пользовались... У моего мужа стало столько денег, что трудно было и считать их. Мы путешествовали по-прежнему, но в блестящих экипажах, с большою свитой. Когда мы куда-нибудь приезжали, для нас уже было готово самое роскошное помещение. Мы давали богатые праздники, сыпали деньгами всюду, купались в золоте. Больные и бедные стекались к моему мужу - и он вылечивал больных и щедро оделял бедных. Во многих городах он устроил больницы и клиники... больные не только помещались в них даром, но во все время болезни и лечения семейства больных содержались на счет моего мужа. Тысячи людей обязаны ему своим здоровьем и благосостоянием...

Калиостро улыбнулся и остановил на Лоренце свой взгляд. Странный это был взгляд: в нем соединялись насмешка, негодование, презрение и любовь - любовь нежная, какая-то печальная, какая-то фантастическая.

- Так вот, теперь я уже не мошенник, не шарлатан, я благодетель человечества! - воскликнул он. И прямо так, в один миг, из мошенника и шарлатана превратился в благодетеля человечества? Как же это произошла такая метаморфоза? Откуда пришло все это?

И Лоренца отвечала:

- Я не знаю...

XVIII.

- Да, ты не знаешь, - продолжал Калиостро, уже говоря сам с собою страстным шепотом, - ты не знаешь и никогда не узнаешь!.. Для того чтобы получить несколько золотых монет, которые помогали мне прокормиться и прокормить тебя, я прибегал, по твоим уверениям, к самым позорным средствам; я был мелким мошенником и шарлатаном... Какое же страшное неслыханное преступление должен был я сделать для того, чтобы, как ты говоришь, купаться в золоте? Каких богачей я отравил, зарезал, обманул для приобретения этого неиссякаемого источника золота, для создания этих дворцов, клиник, больниц, для постоянных раздач милостыни, для бриллиантов, которыми мы с тобою усыпаны, для содержания многочисленной свиты, экипированной на заказ в Париже, где ливрея последнего моего лакея стоила мне не меньше двадцати луидоров?.. Кого я убил, кого отравил я, жалкий обманщик, для того чтобы излечить от всевозможных болезней тысячи людей, признающих меня теперь своим спасителем, молящихся теперь за меня Богу? Да, ты ничего не знаешь, хотя и могла бы знать... Но довольно! Ты змея... змея - и надо вырвать тебе жало, пока есть еще время.

Он замолчал на мгновение, сжал брови, нервная дрожь пробежала по всем его членам.

- Лоренца! - воскликнул он грозным голосом. - Слушай: ты забыла все, наше прошлое, наши путешествия, приключения, опасности, заключения в тюрьму... ты все забыла. Ты никогда не заикнешься ни о чем подобном Потемкину. Ты слышишь меня?

- Слышу, - прошептали ее бледные губы.

- Ты забыла?

- Нет, я еще помню, но все забуду.

- Говори мне, говори правду - любишь ли ты меня, как любила прежде?

И он расслышал!

- Я не люблю тебя...

Его сердце больно забилось.

- Нет? - дрогнувшим голосом произнес он. - В первый раз ты говоришь это... Когда ты меня разлюбила? Когда же ты ко мне изменилась?

- Я все та же, всегда была такая! Ты спрашиваешь меня, любила ли я тебя - и я говорю "нет!". Но я не могу сказать тоже, что не люблю тебя, потому что это будет неправда. Я связана с тобою. Ты сразу завладел мной и владеешь, пока хочешь этого... Ты прикажешь мне идти на пытку - и я пойду, но ведь это не та любовь, о которой ты теперь меня спрашиваешь... Та любовь - другое...

- Если бы я так владел тобою, тебе не пришло бы в голову поверять Потемкину такой рассказ о нашей прежней жизни, который может погубить меня.

- Это значит только, - глухо ответила она, - что бывают такие минуты, когда я силюсь выйти из-под твоей власти.

- Так я приказываю тебе никогда не думать об этом, я приказываю тебе не только забыть наше прошлое, но и любить меня так же, как я люблю тебя... Слышишь ли: люби меня - и с радостью, со счастием исполняй мою волю.

- Я не знаю, могу ли я это.

- Можешь! Я знаю, что можешь. Не рассуждай и повинуйся.

Слабый вздох раздался в карете, и едва внятно губы Лоренцы произнесли:

- Повинуюсь.

Он наклонился над нею и дунул ей в лицо. Она шевельнулась, вздохнула еще глубже, как бы вбирая в себя воздух, глаза ее внезапно изменились, зрачки сузились, вся ее мертвенность исчезла. Она пришла в себя и с изумлением огляделась.

- Куда мы едем? - спросила она.

- Домой, от Потемкина. Вот видишь, уже подъезжаем... Ты проспала всю дорогу.

- Да, я спала.

Она провела рукой по лбу и затем сказала:

- Спала, а между тем вся разбита... Мне нехорошо...

Но он взял ее руки, и через несколько мгновений она почувствовала, как приятная, бодрящая теплота пробежала по ее жилам.

Они в то время подъехали уже к дому графа Сомонова.

Калиостро вышел из кареты и ловким, привычным движением почти вынес из нее Лоренцу, маленькая нога которой едва коснулась откидной ступеньки.

Калиостро проводил жену под руку в ее спальню, и так как уже выходя из кареты заметил значительное движение у отдельного подъезда, куда впускались приезжавшие и приходившие к нему больные, он сказал:

- Сегодня, кажется, много народу меня ждет, я пойду туда, а ты переоденься и отправляйся к графине, если она дома. Если увидишь графа, скажи ему, что я с больными, что освобожусь к обеду, весь вечер свободен и буду присутствовать на заседании ложи.

- Хорошо, - послушно ответила Лоренца.

Калиостро ушел. Теперь она снова хорошо и бодро себя чувствовала, только в голове была как будто какая-то пустота, но и это ощущение мало-помалу уменьшалось, проходило.

Лоренца подумала о Потемкине, и самодовольная улыбка мелькнула на ее прелестном лице.

- Как он влюблен в меня!.. Такой всемогущий человек... а только одно слово - и он сделает какую угодно глупость...

Ведь Калиостро, в возбуждении и волнении спрашивая ее, любит ли она его и мучительно смутясь ее ответом, не подумал спросить ее: не

любит ли она кого-нибудь другого? А если бы он спросил, она бы ему ответила: "Я начинаю любить Потемкина".

Да, она действительно начинала любить русского великана. Она была его капризом, и он в свою очередь становился ее капризом. Еще недавно если бы сказали ей, что она его любит, она засмеялась бы своим почти детским, легкомысленным смехом, а между тем новое чувство с каждым днем закрадывалось к ней в сердце и делало в нем успехи.

Начав свои посещения потемкинских чертогов по приказу мужа, теперь она сама с тайной радостью стремилась туда. От могущественного вельможи веяло на нее чем-то особенным: жутким и слабым, что заставляло биться и трепетать ее почти бессознательно жившее сердце. Она чувствовала силу Потемкина, но эта сила не страшила ее, как страшила временами власть мужа. Бывали дни, когда она безумно боялась своего Джузеппе; Потемкина она никогда не боялась. Он был лев, одним движением способный ее уничтожить, но она инстинктивно чувствовала, что он никогда не сделает этого движения. Он лев, он может быть очень страшен, но не для нее. Он могуществен и прекрасен в своем могуществе, а она - маленькое, капризное и бессильное существо - в состоянии легко овладеть всей его силой. В этом и заключалась причина и тайна ее любви к нему. Она теперь вспомнила свидание с ним, мысленно повторяя каждое слово, им сказанное, видела каждый его взгляд. Она не видела только его стараний казаться перед ней молодым и красивым - ей было это не нужно, она ни разу не задумалась о его телесной красоте, о его молодости. Он просто казался ей интересным, привлекательным - и какое ей было дело до его морщин.

Да, она вспомнила все малейшие его движения, но конец своего разговора с ним не помнила, и если бы ее спросили, как они расстались, почему она уехала, она не могла бы ничего на это

ответить. Приказание Калиостро было исполнено - она забыла не только конец своего разговора с Потемкиным, свое невольно вырвавшееся признание в страхе перед мужем, но и свое желание откровенно передать ему все...

Да и что же она могла бы передать ему, когда сама теперь не помнила своей жизни?

Ей не запрещено было любить его, и чувство, запавшее в ее сердце, с каждой минутой росло в нем, но в то же время ей приказано было любить мужа - и она должна была исполнить это требование.

Она переоделась, она сейчас, по приказанию Калиостро, пойдет в апартаменты графини. Калиостро теперь со своими больными, но если бы он вернулся к ней, она кинулась бы к нему на шею, она покрыла бы его поцелуями, потому что ей приказано его любить... и она его любит. Да, любит... при мысли о нем закипает и трепещет ее сердце.

- Джузеппе! - бессознательно шепчут ее губы.

Но вот ее взгляд упадает на туалетный стол. На столе этом прекрасная перламутровая шкатулка. Она раскрыта, и в ней блестят, переливаясь драгоценными камнями, ее серьги, браслеты, колье, кольца. Взгляд упал на прелестное колечко с крупным бриллиантом и красным, как кровь, рубином. Это подарок Потемкина.

Она наклонилась над шкатулкой, она быстро и жадно схватила это кольцо, надела его на палец, любовалась им и потом вдруг громко и звучно поцеловала его и вся вспыхнула. Глаза ее загорелись страстью. Явись перед нею теперь Потемкин - и она, кажется, забыла бы все... все, и этот поцелуй с кольца перешел бы на того, кто подарил ей это кольцо. Да, она сразу любила двух людей, любила одинаковой страстной любовью, и сама не понимала, как это может быть, не могла задуматься над неестественностью всего этого. Она

просто ощущала эту двойную любовь, всецело ее наполнявшую, - и поддавалась своим ощущениям.

Никогда еще до сих пор не испытывала она такой любви - это совсем, совсем не то, что было прежде с нею!..

Она еще раз взглянула на кольцо, еще раз щеки ее вспыхнули румянцем, и она направилась к двери, исполняя приказание мужа.

XIX.

Если добывание философского камня в лаборатории Потемкина и подвигалось медленно и если светлейший терпеливо ждал результата работы только благодаря Лоренце, дела Калиостро у Сомонова и Елагина шли крайне успешно и быстро. Здесь философский камень не добывался, о нем не думали. Здесь Калиостро встретился уже с убежденными каббалистами, нисколько не сомневавшимися в том, что божественный иностранец способен создавать золото и даже составлять жизненный эликсир.

Пока в золоте надобности не оказывалось. О жизненном эликсире тоже некогда было подумать. Придет время - и то и другое появится к услугам сотрудников великого Копта.

Тут все дело было именно в великом Копте, то есть в главе и основателе египетского масонства. Сомонов и Елагин уже давно ожидали прибытия великого человека, который должен был посвятить их в высшие масонские таинства, проверить и утвердить их каббалистические познания. Прибытие такого человека было им обещано их заграничными друзьями, братьями-масонами.

Сначала вышло недоразумение: Сомонов принял Захарьева-Овинова за ожидаемого таинственного посланца, но недоразумение сразу объяснилось. Явился сам божественный Калиостро, на приезд которого они даже никогда не смели расчитывать.

Он представил им поразительные доказательства своих познаний, своих сил. И теперь он мог говорить им что угодно - они почли бы себя преступниками, если бы усомнились хоть в одном его слове.

Из кружка, первоначально составленного Калиостро, выбыло три члена: Потемкин, который уже не являлся в дом графа Сомонова, а предпочитал видеть Калиостро у себя; графиня Елена Зонненфельд, никуда теперь не показывавшаяся, и Захарьев-Овинов, о котором поразительно, совершенно неестественно, внезапно все забыли, как будто его никогда и не было, как будто никто никогда не знал и не видел его.

Но это выбытие трех членов нисколько не расстроило кружка. Два и даже три раза в неделю двери дома графа Александра Сергеевича закрывались для всех посторонних, и в библиотеке происходили таинственные заседания под председательством великого Копта.

Откровения, которые Калиостро под великой клятвой молчания сообщил своим новым ученикам, состояли в следующем.

Бесспорно, что масоны многочисленны, а разнообразные их ложи, работающие во всех городах Европы, имеют серьезное значение. Эти ложи приносят немалую пользу, так как собирают, разрабатывают все, что могут найти сохранившимся от древних истинных знаний. А между тем все же работа их крайне медленна и несовершенна, ибо главного ключа к познанию истины они не имеют. Познания их крайне незначительны, а частью даже извращены. Истина, сохранившаяся из века в век египетскими иерофантами, для них недоступна.

Но он, Калиостро, получил эту истину из рук ее законных владельцев, получил в глубине пирамид и призван для распространения ее среди лучших людей Европы. Единое истинное египетское масонство уже основано им во многих странах, и вот теперь он явился в Россию с тою же целью.

Он заранее знал, так как имел указания свыше, что здесь найдет людей, которые станут его ближайшими и главнейшими помощниками.

Здесь, в России, в Петербурге, в доме графа Сомонова, должна устроиться главная ложа египетского масонства. Здесь будет центр истинного света, долженствующего озарить все человечество. Сомонов и Елагин - два главнейших столпа, на которых будет зиждиться великое здание.

Само собою разумеется, что от такого значения и от такой роли ни Сомонов, ни Елагин не могли и не хотели отказаться. Счастью и восторгу кружка не было границ. Графиня Сомонова забыла всю свою осторожность. Она теперь была такой же пламенной поклонницей Калиостро, как и ее муж. Князь Щенятев тоже был доволен званием основателя главной египетской ложи, хотя к этому довольству примешивалась не покидающая его тоска. Тоска происходила от того, что приватные уроки магической силы, которые он брал у Калиостро, до сих пор не давали ожидаемых блестящих результатов. Но все же некоторые результаты уже появились, и он терпеливо ждал, постоянно ободряемый своим учителем.

Таким образом, египетская ложа была основана и составлялась уже программа деятельности. Вместе с этим Калиостро посвящал основателей ложи в тайны египетского масонства. Собрания в библиотеке превратились в лекции, и, вероятно, никогда еще у Калиостро не было таких горячих слушателей, какими оказались Сомонов и Елагин. Даже Щенятев, даже графиня восторженно присутствовали на этих беседах, несмотря на всю свою неподготовленность.

Калиостро говорил увлекательно, ясно, умел самые запутанные, отвлеченные вопросы изложить просто и понятно. Он, действительно, открывал своим слушателям великие тайны природы. Он поражал их самыми смелыми, неожиданными гипотезами, выдавая эти гипотезы за непреложные истины.

11 49

Теперь уже в библиотеке не только председатель, великий Копт, но и все члены - основатели главной египетской ложи были не простыми, обыкновенными людьми, а высшими существами, для которых Изида сняла с себя свое таинственное покрывало.

В конце последней беседы Калиостро объявил, что знаний у основателей достаточно для того, чтобы открыть ложу и что сила ложи будет развиваться по мере того, как станет увеличиваться число ее членов, так как чем обширнее цепь, тем больше и силы. Он говорил, что не пройдет года - и окажутся громадные результаты.

Поэтому настало время привлекать новых членов, открывая им истину мало-помалу, насколько они будут способны и достойны воспринять ее. Он спросил у Сомонова и у Елагина, исполнили ли они задачу, на них возложенную. Задача состояла в том, чтобы подготовить как можно больше лиц, желающих и достойных вступить в ложу. Сомонов и Елагин представили великому Копту список намеченных ими людей. Против каждого из них была составлена характеристика, собраны все необходимые сведения, для того чтобы дать великому Копту возможность убедиться в надежности избираемого лица.

Калиостро проверил список, одобрил выбор лиц и заявил, что в таком составе ложа сразу может начать широкую деятельность. Сомонов и Елагин тоже не сомневались в этом. Они были убеждены, что в скором времени во всех городах России, во всех дальних ее окраинах уже можно будет найти египетских масонов.

А Калиостро думал, проглядывая списки:

"Не удалось сразу подействовать на императрицу, но что отложено, то еще не потеряно. В конце концов и она должна будет сдаться и, сама того не подозревая, окажется среди замкнутой цепи египетского масонства, с которым ей уже не предоставится возможность бороться. Да, пройдет год,

другой - и, если все будет продолжаться так же успешно, великий Копт получит в этой стране первенствующее значение. В его руках будет действительная сила, в его руках будет все!"

XX.

Никогда еще граф Сомонов не был в таком волнении, как в этот вечер открытия великой египетской ложи. Труды и работы нескольких лет наконец должны были увенчаться успехом. Являлась высокая и прекрасная цель существования, плодотворная деятельность. Являлось именно то, чего недоставало графу, отсутствие чего так долго его томило.

В первые годы своих занятий тайными науками он поступал легкомысленно и теперь отлично сознавал это. Но его первоначальное легкомыслие было понятно и извинительно. Первые шаги на новом поприще всегда робки и неверны. Он искал, он нуждался в подтверждении тех истин, какие узнал из творений мистиков и каббалистов. Своими занятиями, своими опытами он вызвал в обществе насмешки, создал себе чуть ли не шутовскую репутацию.

Но теперь он уже хорошо проникся каббалистическим правилом молчания и работы втайне. Теперь уже никто не мог рассказывать о том, как он ищет дам и девиц для того, чтобы их магнетизировать и погружать в таинственный сон.

А между тем никогда еще он так серьезно не работал, как именно теперь, в последнее время, под руководством своего великого учителя Калиостро. Только магнетизировать дам и девиц и погружать их в таинственный сон ему уже не было надобности. Он убедился окончательно во всех чудесах, производимых магнетизмом. Он убедился в гораздо большем и интереснейшем, и его работы приняли иное направление.

Глубоко проникнувшись взглядами Калиостро, он находил, что прежде всего необходимо создать обширную и крепкую таинственную среду людей, неустанно работающих в одном и том же направлении. Раз эта среда будет создана и получит должное развитие, в ее распоряжении окажутся громадные силы.

Что значит могущество, даваемое грубыми материальными средствами, перед тем могуществом, каким будут владеть члены великой магической цепи?

Да, Калиостро, изучивший всю каббалистическую и мистическую мудрость и умевший с такой поразительной ясностью, с таким убедительным, душу захватывающим красноречием изъяснять ее, открыл ему глаза на все. Если многое до приезда великого Копта казалось не вполне понятным, туманным, неопределенным, теперь все выяснилось в полной простоте и величии...

Поэтому понятно, какое значение для графа имел настоящий день, день открытия египетской ложи.

Сначала ему хотелось, чтобы это великое торжество произошло в соответствующей его значению великолепной символической обстановке. Он уже представил себе, как устроить залу заседания, снабдить ее всеми предметами, фигурировавшими в заседаниях иерофантов в глубине египетских пирамид.

Но когда он обратился за советом по этому поводу к Калиостро, тот сразу охладил его, объяснив, что будет гораздо благоразумнее не делать ровно никаких приготовлений.

- Впоследствии, когда египетское масонство окончательно укрепится в России, - сказал Калиостро, - можно будет выработать все ритуалы; теперь же, для начала, ритуал не только излишен, но вреден... Кто-нибудь из новых членов может нас выдать, силы наши не так еще сплочены, чтобы затрачивать их на борьбу с внешними врагами и неприятностями.

Граф не мог не согласиться с основательностью этого взгляда и потому отказался от осуществления своего плана. Заседание было назначено в библиотеке, и для него не производилось никаких особенных приготовлений.

К назначенному часу собрались все приглашенные, и на первый раз для открытия ложи оказалось человек двадцать. Все это были люди, принадлежавшие к высшему обществу, люди хорошо испытанные Сомоновым и Елагиным. Все эти люди более или менее долгое время занимались тайными науками и были готовы на значительные пожертвования и труды для распространения того, что они считали великой истиной.

Женщин не было ни одной; даже графиня Сомонова, даже Лоренца отсутствовали. Членами ложи, первой великой египетской ложи, получившей наименование "лож Изиды", по выработанному уставу должны были быть исключительно мужчины. Для женщин основывалась другая ложа, устав которой, как говорил Калиостро, уже составлялся графиней Лоренцой.

Все собравшиеся хорошо знали друг друга. Да и вообще в этот вечер не ожидали ничего такого, к чему бы они уже не были приготовлены. Они должны были только выслушать Калиостро и скрепить своими подписями протокол открытия ложи...

Пробило восемь часов в графской библиотеке. Калиостро еще не появлялся, а потому в ожидании его выхода велся разговор, главным и даже единственным предметом которого был, конечно, он сам и его деятельность. Все изумлялись этому великому человеку, благоговели перед ним...

- Да, наконец, и при дворе уже не позволяют себе таких насмешек, как в первое время, - говорил он. - Вот уже две недели как я заметил большую, внезапную перемену... Удивительные люди! В течение нескольких месяцев к графу Фениксу стекаются не только из Петербурга, но и из иных мест больные. Все это происходит не тайно,

а явно, на глазах у всех... Ежедневно он производит необыкновеннейшие исцеления. Приносят умирающего - и через несколько мгновений едва граф Феникс к нему прикоснется, умирающий начинает выздоравливать... Ежедневно граф раздает деньги неимущим. Все это знают, все - и, не правда ли, мы только и слышали, что насмешки и самые пренебрежительные отзывы о нашем учителе! Но вот у князя Хилкина заболел единственный ребенок. Доктора отказались. Сам Роджерсон объявил, что смерть должна неминуемо последовать через несколько часов. В последнюю минуту, доведенные до пределов крайнего отчаяния, Хилкины, по моему настоянию и убеждению, обратились к графу Фениксу, над которым более других смеялись, - и умиравший ребенок теперь здоров... Чего не могли сделать ежедневные излечения самых жестоких болезней, то сделал этот один случай - он сразу изменил при дворе взгляд на графа Феникса...

- Да, это правда, - зашепелявил Щенятев, - я сам это заметил. Вчера я повстречал во дворце Роджерсона и не утерпел, подошел к нему и спрашиваю: "Правда ли, что вы приговорили к смерти маленького князя Хилкина?"

- Ну что же он? Это любопытно... Что он вам ответил? - заговорили все.

- Он посмотрел на меня как-то боком и отвечает: "Да, правда, приговорил к смерти, так как смерть была неизбежна, ребенок непременно должен был умереть". - Но ведь вот же, остался жив! - это я говорю ему - значит, не должен был умереть!.. А Роджерсон мне на сие: "Говорят, выздоровел!" - Я посмеялся: "Да не говорят, это верно, я сам был у Хилкиных... и вылечил его граф Феникс, которого вы называете шарлатаном!"

- Ну и что же, что же он на это? - раздалось вокруг.

- Пожал плечами. "Я, - говорит, - и теперь не изменил о нем мнения". И в тот же час отошел от меня, - завершил князь Щенятев свой рассказ.

- Да, положение Роджерсона теперь не из завидных! - заметил кто-то.

- Но он в большой силе, - прибавил Щенятев, - если бы вы видели, как он глядел, то поняли бы, что граф Феникс должен его опасаться, то есть я хочу сказать, он должен был бы его опасаться, если б был обыкновенным человеком...

В это время сам граф Феникс вошел в библиотеку, и все взоры с благоговением и восторгом устремились на него. Он, как и всегда, сверкал своей драгоценной одеждой, как и всегда, искрились и горели его проницательные глаза, которыми он обвел присутствовавших. Он крепко пожал всем руки, поместился на придвинутом ему кресле и на мгновение, как всегда это делал перед началом своих бесед, задумался, полузакрыв глаза. Но вот глаза его поднялись снова, и он начал:

"Господа, сегодняшний день - счастливый день, полный великого значения. Так как во всей природе нет ничего случайного, то и здесь мы собрались не случайно, и этот день, этот час обещают нам многое. Этот день, этот час, эта минута, в которую я говорю вам, избавлены от всех тех таинственных, но могучих влияний, какие могут пугать и заставлять сомневаться в благополучии задуманного дела. Я выбрал этот день, этот час и эту минуту именно потому, что мы находимся теперь при самом счастливом, самом светлом сочетании таинственных природных влияний. Мы собрались для того, чтобы положить основание великой работе, результаты которой должны принести счастье всему человечеству. Возблагодарим же Бога за то, что мы оказались достойными быть первыми работниками и, прежде всего, разберем и убедимся - действительно ли мы этого достойны. Только тот, кто, действительно, добр и намерен употребить свои силы и познания ко благу человечества, достоин владеть таинствами природы, только мудрый отыщет и познает эти таинства. Природа - добрый друг и у нее нет тайн для того, кто достоин ее дружбы.

Чванство, гордость, любопытство, высокомерие - вот свойства, при которых человеку обыкновенно кажется, что он близок к раскрытию тайн природы и при которых в действительности он быстро и невозвратно от них удаляется. Пусть каждый из вас проникнется этим, сделает эти слова мои своей первейшей заповедью и смело идет в путь, ничем не смущаясь и, прежде всего, не обращая внимания на людские мнения и толки. Пусть каждый из вас знает, что тайны природы доступны для человека, что они разнообразны и бесконечны. Пусть каждый из вас навсегда отречется от прежних мнений и взглядов и навсегда откажется произносить слово "невозможно". Слово это мы слышим на каждом шагу, но оно ни что иное, как величайшая бессмыслица, ибо понятия человеческие ограничены, и чтобы решиться разумно сказать, что то или иное невозможно, надо знать "все возможное". Вам вовсе не предстоит искать невозможного, а с каждым новым днем, с каждым новым усилием узнавать лишь то, что возможно...

Все жадно и внимательно слушали слова Калиостро, и он продолжал излагать своим мелодичным, убежденным голосом прекрасные мысли, над которыми стоило задуматься. При том же обаянии, какое он имел на всех собравшихся, каждое его слово являлось величайшей истиной и запечатлевалось в памяти, каждое его слово было для всех светлым обетованием, и кончилось тем, что он наэлектризовал всех. Когда он замолк, объявив, что великая ложа Изиды открыта, когда кругом стола Сомонов, возбужденный и вдохновенный, стал обносить лист для подписей, все подписались с каким-то священным трепетом. Все готовы были отдать себя всецело и всем пожертвовать для дела, указанного им великим Коптом.

Решено было собраться через неделю, и каждый должен был представить план своей дальнейшей деятельности. Затем Калиостро сказал, что он чув-

ствует себя несколько утомленным и ушел, приняв выражение всеобщего восторга и поклонения.

Прежде чем идти спать, он заглянул в свою рабочую комнату. Он зажег свечу и подошел к столу, не отдавая себе отчета, зачем он это делает, чего ему надо. Посреди стола лежал лист бумаги, и на этом листе неизвестным ему почерком было написано по-итальянски: "Берегись, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Жив или умер ребенок князя Хилкина?"

Калиостро несколько раз перечел слова эти, не веря глазам своим. Кто положил сюда этот лист бумаги, кто написал это?

Он поспешил в спальню, где на роскошной кровати, прекрасная в своей неувядаемой, юно-девственной красоте, лежала и крепко спала Лоренца. Он наклонился над нею, прижал свою руку к ее лбу и повелительно сказал:

- Гляди!

Выражение ее лица мгновенно изменилась. Она приподняла голову с кружевных подушек, села на кровати и шепнула:

- Я вижу.

- Гляди в мою рабочую комнату. Недавно, не более трех часов тому назад, кто-то пришел и положил ко мне на стол лист бумаги.

- Да, пришел и положил! - едва внятно произнесла она.

- Что написано на этом листе?

"Берегись, нет ничего тайного, что не стало бы явным! Жив или умер ребенок князя Хилкина?" - быстро, как бы читая, отвечала Лоренца.

- Кто же принес, кто положил этот лист? Кто написал?

Но прошло несколько мгновений - она оставалась неподвижной и ничего не отвечала.

- Разве ты не видишь?

- Нет, вижу.

- Так кто же это?

- Я не могу сказать!

- Как не можешь, отчего? Я приказываю тебе! Говори!

Она молчала.

- Говори!

- Он запретил мне, и я не могу назвать его, потому что он сильнее тебя, его сила преодолевает во мне твою силу. Твой приказ не уничтожает его запрета... Не мучь меня... я не могу!

Калиостро дотронулся до головы ее, и она упала на подушки. А он стоял побледневший, смущенный.

Он знал, хорошо знал, что она права, что если она не сказала ему сразу, то, значит, и не может сказать и что он только напрасно будет ее мучить...

Но ведь и без нее он знает, кто положил этот лист на его стол, кто написал ему угрозу... Он сейчас назовет имя этого человека. Это... это...

Но он не мог назвать его имени, как будто это было ему запрещено так же, как и Лоренце. Он забыл его, да забыл. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит, и панический страх, почти неведомый ему доселе, дрожью пробежал по его членам.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I.

Многочисленные друзья князя Щенятева были крайне им недовольны. В последнее время он становился неузнаваемым. Вот уже около десятка лет как весь Петербург знал его, как он то и дело обращал на себя внимание, заставлял о себе говорить... Начать с того, что князь Щенятев был вездесущим. Везде и во всякое время можно было видеть его длинную, сухопарую и вертлявую фигуру, его маленький, подобный пуговке, нос, будто вынюхивавший все новости, курьезы и семейные истории, которых он всегда был первым провозвестником в гостиных. Везде и всюду бросалась в глаза эта фигура, облаченная в самый роскошный наряд, только что выписанный из Парижа, сверкающая бриллиантами, буквально осыпанная ими, эти быстрые, любопытные глаза, этот бойкий, несмолкаемый, шепелявый голос...

Над наружностью князя Щенятева сначала смеялись, но потом даже и сама его наружность вошла в моду. Вся богатая петербургская молодежь стремилась подражать ему, неизвестно на каком основании признав его единогласно законодателем мод, образа жизни, вкусов светского человека.

Сам он никогда не стремился достигнуть такого положения, никогда не обдумывал своих манер, нарядов, образа своей жизни. Он просто был одиноким, рано осиротевшим богачем, у которого денег куры не клевали и которому так или иначе надо было убить время, развлечься, найти себе какое-нибудь удовольствие. Если он выписывал из-за гра-

ницы платье и экипажи, то единственно потому, что это стоило очень дорого, значит, было куда бросить деньги. К тому же заказы, сношения по поводу них, приемка заказов - все это поглощало некоторую частицу времени, которого некуда было девать...

Князь Щенятев искал удовольствий всюду, стремился туда, где, как ему казалось, можно было найти эти удовольствия. Если он находил их, то опять возвращался, не находил - стремился в новое место.

А между тем он вводил в моду все, к чему случайно прикасался, все, о чем говорил, чем заинтересовался на краткое мгновение. Он был щедр и даже расточителен, потому что ему никогда не пришло в голову подумать о том, что такое деньги, какую пользу, какое добро можно извлечь из них. И этим обстоятельством, конечно, широко пользовались весьма многие люди, вступавшие с ним в сношения, окружавшие его, называвшие себя его друзьями.

Его холостой дом представлял из себя воплощение беспорядка, где хозяйничали все, кто только желал этого.

Но вот с некоторого времени все это изменилось. Князя по-прежнему можно было встретить иной раз при дворе или в салонах; но он теперь появлялся как видение, появлялся - и исчезал. Внешней перемены в нем не было. Все так же удивительны и роскошны были его парижские костюмы, так же блистали его бриллианты, а между тем перемена в нем была огромная.

Он сделался каким-то таинственным, перестал даже любопытствовать, никого и ничего не пускал уже в моду. Проницательный человек, глядя на него, непременно сказал бы: "Вот господин, носящий в себе какую-то важную тайну". Даже речь его стала необычайной и загадочной. Он, прежде никогда не помышлявший и не говоривший ни о чем, что не имело прямого отношения к настоящему

дню и к животрепещущему интересу, теперь разражался отвлеченными, загадочными изречениями и фразами, приводил этим всех в изумление и, ничего не объяснив, исчезал.

Но этого мало. Иногда проходило несколько дней - и князя никто не видел. Мало и этого. Его дом, всегда открытый для всех и каждого, дом, куда всякий мог приходить когда угодно и распоряжаться по-своему, теперь почти для всех был заперт. Друзья являлись и, к величайшему своему изумлению и негодованию, получали от многочисленной княжеской прислуги решительный отпор: "Князь занят" или: "Князь нездоров", "Как есть никого не приказано принимать!"

Друзья возмущались и на основании прежних порядков намеревались входить в дом помимо всяких запретов. Но княжеская прислуга решительно запирала двери, так как была бесконечно рада этому нежданному благополучию, этим необычайным барским распоряжением никого не принимать.

Но все же некоторые из друзей, более ловкие и решительные, несмотря на сопротивление прислуги, врывались к князю, добирались до него и приступали к нему с требованиями разъяснить что все это значит. Таких назойливых друзей князь принимал вовсе не радушно. Они заставали его рассерженным, раздраженным до последней степени.

- Что же это такое! - восклицал он, безбожно шепелявя. - Неужто не могу я быть свободным у себя в доме?.. Если я сделал распоряжение никого не принимать, так незачем лезть ко мне силою!..

- Да чего же ты кипятишься, князь? - урезонивали друзья. - Согласись, что твое поведение очень странно...

Но князь ни с чем не соглашался. Он был совсем не прежним, а новым человеком. В нем появилась решительность и твердость, каких прежде не замечалось. Друзьям приходилось уходить из его

дома, ничего не добившись, и в ожидании, чем все это кончится, бранить его. Они так и делали...

Когда князь Щенятев спрашивал у своего учителя Калиостро, доволен ли он им, его работами, его рвением, учитель отвечал, что очень доволен. А между тем, в сущности, он был им крайне недоволен. Ему гораздо приятнее было бы, если бы ученик не выказывал столько рвения и не делал бы столь быстрых успехов...

Эти успехи, это рвение начинали смущать учителя. Щенятев брал у него слишком много времени, слишком отвлекал его от более важных дел. Он, чего не предполагал Калиостро, оказался не из тех людей, которых можно свести на нет. Он поставил себе цель, получил от учителя обещание в достижении этой цели и намерен был непременно достигнуть своего, заставить учителя исполнять данное обещание.

Калиостро требовал от князя терпения - и терпение было им выказано. Калиостро объявил, что прежде чем достигнуть каких-либо результатов, надо быть подготовленным изучением тайных наук, - и князь, уже несколько лет не бравший книги в руки, теперь по целым дням сидел, окруженный книгами, добытыми им у графа Сомонова, Елагина, а также выписанными из-за границы.

Он жадно поглощал одно за другим мистические и каббалистические сочинения, целые страницы заучивая наизусть. Наконец, голова его превратилась в битком набитый склад таинственных формул, вычислений, символов, фигур и тому подобного. Теперь при свидании с Калиостро он оглушал своего учителя целыми залпами своих познаний, целыми страницами и главами из прочитанных им сочинений. И Калиостро не мог убедить его, что прочесть и заучить - еще очень мало, что нужно переварить все прочитанное и пропитаться им. Впрочем, он и не пробовал этого.

По указанию учителя вместе с чтением князь занялся и опытами магнетизма, но делал эти

опыты очень тайно и осторожно, так что о них никто не знал. Сначала опыты были почти безуспешными, и князь горько жаловался на это Калиостро.

Учитель объяснил, что для развития в себе магнетической силы, человек должен вести определенный и правильный образ жизни.

- Скажите, что мне надо делать - и я все исполню! - прошепелявил князь.

Калиостро назначил ему самый строгий режим: ежедневно в шесть часов утра князь должен был просыпаться и, какова бы ни была погода, делать пешком большую прогулку. Он должен был отказаться от долгого пребывания в многолюдных собраниях, от завтраков, обедов и ужинов.

Ему было запрещено вино, а он был большой любитель тонких вин и в подвалах своего дома имел один из самых лучших погребов Петербурга. Стакан вина на целый день, ни больше, ни меньше - вот все, что ему было теперь дозволено. Пища его должна была состоять почти исключительно из молочных продуктов и зелени; только в крайнем случае мог он позволить себе кусок жареного мяса без всяких приправ и пряностей.

Такой режим сразу показался князю невозможным, чересчур жестоким. Но цель, к которой он шел, была слишком соблазнительна, и он твердо объявил своему взыскательному учителю: "Исполню!"

И, действительно, начал исполнять, только изредка поддаваясь искушению.

Так продолжалось около двух месяцев, и князь не мог пожаловаться: телесно он чувствовал себя очень хорошо, да и к тому же его магнетическая сила, видимо, прибавлялась. Опыты его становились удачнее, и хотя графиня Елена редко его к себе допускала и держала себя с ним очень сдержанно, но ему уже начинало казаться, что он на нее действует.

Он был прав. Она чувствовала это действие. Ее впечатлительная, нервная природа очень легко под-

давалась магнетизму. Но во всяком случае ощущения, испытываемые ею в присутствии Щенятева, были очень неприятными ощущениями. Желая привлечь ее к себе, он только с каждым разом все более и более ее от себя отталкивал...

А время шло, и цель не достигалась. Наконец, Щенятев потерял всякое терпение. Он сделал все, что только во власти человека. Он был самым ревностным, исполнительным учеником графа Феникса, доказал силу своей воли, произвел над собою чудеса. Срок, назначенный учителем, давно истек...

Терпение Щенятева не выдержало, он чувствовал, что дальше идти так не может, чувствовал также, что и поститься ему не по силам. Да и ранние утренние прогулки по дождю, метели и петербургской грязи опротивели до последней степени.

Наконец настала минута, когда князь просто вышел из себя и, несмотря на все свое благоговение перед Калиостро, на него рассердился, почувствовал себя оскорбленным и одураченным. Это случилось через два дня после открытия великой ложи Изиды.

"Если, несмотря на все мои усилия, я все еще слаб и не могу действовать сам, он должен помочь мне!" - решил князь и отправился к Калиостро.

Он застал учителя в его рабочей комнате, погруженным в какое-то писание. Ему показалось, что великий Копт не в духе и как будто чем-то расстроен; по крайней мере, он никогда еще не видел его с таким выражением лица, таким рассеянным, бледным, почти постаревшим.

Но он не смутился этим и прямо приступил к объяснению. В нем говорила неудовлетворенная страсть, которую он всячески разжигал в себе, страсть, доведенная до последнего отчаяния и бешенства.

Калиостро сразу увидел, что с человеком в таком состоянии шутить нельзя. Он даже стал раска-

иваться, что вошел с ним в сношения, что принял его в ученики и дал ему разные обещания. Положим, Щенятев был ему очень полезен для дела египетского масонства: он мог располагать и им, и его состоянием. Но теперь этот несносный ученик просто надоедал ему, мешал.

Великий Копт мог бы шепнуть Щенятеву несколько слов, дать ему один небольшой урок - и послать его к предмету его страсти. Очень может быть, что в таком случае цель была бы достигнута.

Но дело в том, что преемник египетских иерофантов не мог открыть ни Щенятеву, ни кому другому свою тайну. Если б он открыл ее, если бы она стала переходить от одного к другому, сделалась общим достоянием, то ближайшим последствием этого было бы то, что он, "божественный Калиостро", потерял бы в глазах своих учеников свой высший престиж, свое великое значение. Одного этого уже было достаточно, о других последствиях Калиостро даже и не думал.

Между тем Щенятев настаивал и требовал:

- Если я не могу сам, - помогите вы мне!

Калиостро скрыл свою досаду и сказал:

- Хорошо, я помогу вам, я отправлюсь вместе с вами к графине!.. Но помните, что надо, чтобы мы были одни с нею, без посторонних...

Щенятев от отчаяния, уныния и тоски сразу перешел к необузданной радости. Он до боли жал руки Калиостро, благодарил его и, задыхаясь, шепелявил:

- Граф! Нет ничего легче!.. и именно сегодня. Сейчас едемте, сейчас!.. Ведь я вам говорил, что ее трудно теперь видеть: известие о смерти этого Зонненфельда на нее как-то удивительно подействовало. Я не могу понять, отчего это, но это все знают и видят... Она изменилась, похудела, всегда печальна и почти нигде не бывает. К ней тоже попасть трудно. Но я ее встретил два дня тому назад и говорил ей о женской египетской ложе. Я

заинтересовал ее. Она разрешила мне быть у нее сегодня вечером и подробно ей передать все... Она непременно хочет поступить в ложу...

- Я на это и рассчитывал! - почти про себя проговорил Калиостро.

- И она сказала, что будет одна! - вне себя от восторга воскликнул Щенятев. - Едемте же, граф, скорее!.. Нельзя терять ни минуты... Она мне только будет благодарна за то, что я явлюсь с вами, именно с вами!

Калиостро склонил голову, загадочно усмехнулся и потом медленно, но решительно сказал:

- Хорошо... едем.

II.

Елена, действительно, ждала князя Щенятева. Ждала она его на этот раз даже с большим нетерпением, несмотря на то, что он все более и более становился для нее несносен, что в его присутствии она постоянно теперь испытывала какое-то неопределенное, но очень неприятное и тяжелое ощущение. Он не ошибся, говоря Калиостро, что заинтересовал ее женской египетской ложей.

После разговора с ним, она весь день продумала об этой ложе и решила вступить в нее непременно... Она ухватилась за эту возможность, как за последний якорь спасения. Невольно мечтала она о том, что с помощью таинственного посвящения приобретет тайные знания и они помогут ей достигнуть того, чего естественными, человеческими средствами, очевидно, ей нельзя достигнуть.

Елена была глубоко несчастна. Щенятев говорил, что со времени смерти Зонненфельда она изменилась, похудела, что все это замечают. Но никто не

замечал перемены более глубокой, происшедшей с нею за последнее время, или, вернее, никто не определил, не мог определить ее.

Смерть Зонненфельда на нее вовсе не подействовала. Какое дело было ей до этого чуждого для нее человека? Она могла только пожалеть о нем, как пожалела бы о всяком, кого знала и кто неожиданно умер.

В иное время и при других обстоятельствах, конечно, ей пришлось бы поглубже задуматься, узнав об этой смерти, и разобрать, не было ли ее вины перед этим человеком, не способствовала ли она так или иначе его преждевременной смерти? Но в том состоянии, в каком она теперь находилась, она не могла ни о ком и ни о чем думать, была исключительно поглощена своей собственной внутренней жизнью, своими муками, терзавшими ее все сильнее.

Не смерть Зонненфельда прибавила этих мучений, а те обстоятельства, при которых она о ней узнала. Кто принес ей первое известие? Молодая, красивая девушка, одна из новых фрейлин императрицы. Но она узнала в ней ту красавицу, образ которой видела в таинственном графине с водою, ту красавицу, которой страшилась пуще всего в мире. Ведь она о ней думала непрестанно, ее прелестное юное лицо преследовало ее, как самое страшное, невыносимое видение.

Она старалась забыть это лицо, старалась убедить себя, что оно только почудилось ей, что оно было бредом ее воображения, что его не существовало в действительности. И ей удавалось иной раз довести себя до этого убеждения, забыться, успокоиться на некоторое время...

А тут вдруг не в таинственной грезе, не в обольщении чародея, а наяву, при свете дня явилась к ней эта страшная женщина - и уже нельзя было себя обманывать, нельзя было убеждать себя, что это только одна случайность...

Нет, теперь она знала, знала наверное, что у нее есть смертельный враг и что этот враг ее погубит...

И она не выдержала. Жизнь, проведенная ею по большей части в высших и придворных сферах, и обстоятельства этой жизни приучили ее к большой сдержанности, к строгой выдержке, к безупречному умению владеть собою. Этому же должно было научить ее и ее большое самолюбие, ее врожденная гордость. Она могла вынести очень многое, могла подавить в себе глубокие сердечные муки и не дрогнуть, не выдать себя ничем постороннему человеку, а уж тем более врагу. Но при взгляде на прелестную девушку, явившуюся перед нею, она забыла все, была побеждена и уничтожена сразу. У нее хватило сил единственно на то, чтобы отказаться ехать к императрице, объявив себя больною.

Когда молодая фрейлина увидела, что она действительно больна, что она почти без чувств, и хотела помочь ей, Елена снова нашла в себе силу проговорить:

- Благодарю вас, мне ничего не надо... я лягу!

Она нашла в себе силу подняться, дойти до двери, отворить эту дверь и запереть ее за собою. Но едва дверь была заперта, силы ее оставили - и она упала тут же на пол, уже окончательно теряя сознание.

Ее обморок был продолжителен, и никто не знал о нем, никто не пришел ей на помощь. Наконец она сама очнулась, но долго еще сидела на полу, у самой двери, с почти безумными глазами, с единственной мыслью, безжалостно и отчаянно стучавшей ей в голову:

"Она существует... она здесь, все кончено... я погибла!"

Несколько дней Елена чувствовала себя настолько слабой, разбитой, как-то совсем униженной, что не могла встать с кровати. Она целыми часами

лежала не поднимая головы и почти не принимала никакой пищи.

Когда князь Калатаров, узнав о нездоровье дочери, пришел к ней, он не на шутку испугался. Она лежала бледная, ее великолепные глаза стали огромными и неестественно блестели; ее взгляд делался просто страшен.

Князь спрашивал ее, но она глядела на него и не отвечала. Она, очевидно, не слышала его вопросов.

Он послал за докторами. Доктора приехали, ничего не поняли, но прописали какое-то лекарство и успокоили князя, сказав ему, что у его дочери, очевидно, было внезапное потрясение, но что это ничего, что все пройдет через дня два-три.

И князь успокоился. Теперь он уже знал, какое именно было потрясение у его дочери. Зонненфельд умер! Эта смерть была будто насмешкой судьбы над Еленой. К чему теперь оказался весь этот скандал, трудный, тяжелый развод? Без всякого скандала Елена была бы теперь свободна и безупречна. Она по праву носила бы фамилию графов Зонненфельдов, получила бы после мужа значительное состояние. Она была бы теперь одною из самых лучших и привлекательных невест в России. Только бы несколькими неделями раньше умер граф Зонненфельд, до окончания развода - и в таком даже случае было бы несравненно лучше. Но он умер именно тогда, когда развод был произнесен, утвержден, все было окончено...

Елена не могла не ужаснуться такой насмешке судьбы, и князь объяснил этим ее болезнь.

Такое же точно объяснение придала этой болезни и государыня. Она знала Елену еще ребенком, восхищалась ее быстро развивающейся красотою. Ей вовсе не нравился внезапно решенный брак прелестного ребенка с немецким дипломатом, но она не нашла возможным вмешаться в это дело. Когда Елена явилась хлопотать о разводе, императрица

опять-таки была этим недовольна и сначала прямо объявила, что дело это невозможное.

Но если маленькая княжна Калатарова была прелестна и влекла к себе сердце и взоры Екатерины, любившей все прекрасное, все возвышавшееся над общим уровнем, то теперь графиня Елена Зонненфельд фон Зонненталь была бесконечно прекраснее. Она сумела сразу обворожить государыню, которая долго беседовала с нею, и кончилось тем, что Екатерина отказалась от своей первоначальной строгости и сделала все, о чем про-сила ее Елена.

Известие о смерти Зонненфельда не на шутку раздосадовало государыню. Ей было просто обидно за молодую женщину, которая, по ее выражению, "сделала большую глупость и была за это наказана насмешливой судьбою".

Когда Елена вышла из своего подавленного состояния и получила возможность владеть собою, она немедленно поехала во дворец и была принята государыней. Лицо Екатерины было не особенно ласково, брови сдвинуты. Но первый же взгляд в чудные глаза молодой женщины, горевшие каким-то особенным, поразившим Екатерину, страданием, смягчил ее сердце. Она не то укоризненно, не то печально, но во всяком случае ласково покачала головою и сказала:

- Что ж дело сделано, поправлять его уже нельзя. Vous n'avez pas voulu suivre mes conseis, mon enfant, et vous voyez que vous aves eu tort... Но во всем этом есть и другая сторона вопроса. Вы находитесь в таком неловком положении, из которого необходимо выйти... К тому же между нами произошло, как мне начинает казаться, некоторое недоразумение. Я была, как вам это хорошо известно, против вашего развода; ваши прекрасные глаза меня разжалобили (и при этом Екатерина невольно залюбовалась этими действительно прекрасными, печальными глазами), я помогла вам, но, помогая, я была уверена, что, говоря мне о своем

несчастном браке, вы кое-что от меня скрыли. Да, я не хотела вынуждать полной вашей откровенности, но была уверена, что вы разводитесь для того, чтобы выйти снова замуж, что есть человек, которого вы любите, с которым надеетесь быть счастливой, что новый брак уничтожит все последствия развода, то фальшивое положение, в какое вы себя ставили... Скажу больше, дитя мое: если б я не была уверена в этом, если бы я думала, что вы поступаете, как малый ребенок, не знающий жизни, я бы вам ни за что не помогла... Но вот время идет... Я все жду... Что же вы скажете мне на это?

Елена побледнела еще больше.

- Ваше величество, проговорила она, - если бы я разводилась для того, чтобы выйти замуж, я так бы вам это прямо и сказала. Я ничего не скрывала от вас...

Брови Екатерины сдвинулись, и на лице у нее выразилось неудовольствие.

- Ну, душа моя, я вам скажу, что вы никак не можете оставаться в теперешнем вашем положении, вы должны из него выйти. Я уже давно слышу, что в вас безумно влюблен, что вами бредит князь Щенятев. Я слышала также, что и вы от него не отвертываетесь, что он у вас часто бывает. Это хороший для вас жених, он сразу исправит все, и тогда можно будет помириться с глупостью, которую вы сделали и за которую теперь наказаны.

- Ваше величество, я никогда не выйду замуж за князя Щенятева, - едва слышно, но твердо прошептала Елена.

- Напрасно! - воскликнула Екатерина.

Она положительно начинала сердиться. Она положительно чувствовала большую, особенную симпатию к этой прелестной женщине, и ей неприятно было видеть ее несчастной и в фальшивом положении. Ее никак нельзя было оставить в таком положении! Императрица из нескольких продолжительных разговоров с нею и из того, что она

вообще о ней знала, смотрела на нее не только как на замечательно красивую и привлекательную женщину, но и как женщину умную, талантливую. Эта красавица могла бы пригодиться для какого-нибудь серьезного и хорошего дела. Императрица решила, что ей необходимо выйти замуж, уничтожить следы произведенного ею скандала, и затем она приблизит ее к себе, даст ей возможность принести и себе и другим всю пользу, на какую она способна.

- Напрасно! - повторила Екатерина.

Но затем, помолчав немного, прибавила:

- Однако, если не Щенятев, то, быть может, есть кто-нибудь другой?.. Soyez franche, mon enfant! Будьте откровенны со мною, ибо я от всего сердца желаю вам пользы.

И внезапно, забывая все свое неудовольствие, всю свою строгость, Екатерина взглянула в глаза Елены тем своим ласковым, неизъяснимым взглядом, который сразу всех обезоруживал и неудержимо влек к ней человеческое сердце. Елена чувствовала, как в груди у нее закипает что-то, как все выше и выше поднимаются и рвутся наружу безнадежные, отчаянные рыдания. И вот уже нет сил сдержать их. Слезы брызнули из глаз, и с глубокой, сердечной мукой, с полной безнадежностью она прорыдала:

- Никого нет!..

Императрица встала и подошла к ней. Она обняла ее и поцеловала.

- Теперь я все понимаю, - сказала она мягким ласкающим слух голосом, - и не надо мне никаких признаний. Никого нет - это значит есть кто-то, но нам кажется, что нас не любят... Дитя мое, это только кажется. С такими глазами, с такой красотою, с такой умной головкой нечего бояться. Если мы любим, то и нас полюбят.

И вдруг, несколько изменяя тон, она прибавила:

- Однако я полагала, что вы уже вполне женщина, а вы еще совсем ребенок. Покойный граф

Зонненфельд, как я вижу, был до крайности плохим мужем. Успокойтесь, моя милая, и когда это отчаяние пройдет и заменится более счастливым настроением, приходите ко мне и будьте откровенны со мною; тогда увидим, что надобно делать... я с удовольствием помогу вам во всем и подам вам добрый совет... Только предупреждаю: я заставлю вас теперь слушаться моих советов. Вы ребенок, и потакать вам не след.

На этом и кончилось объяснение Елены с императрицей.

III.

В долгие часы уединения среди никем и ничем не нарушаемой тишины своих комнат, где все дышало красотою, прелестью и художественным вкусом молодой, талантливой хозяйки, Елена горько думала:

"Ведь вот эти мудрецы, эти волхвы, открывшие в глубине древности таинственную науку и показывающие нам чудеса, отуманивающие нас своими чарами, говорят и утверждают, что все доступно человеку. Они говорят, что человеческая воля всесильна, и только надо, чтобы она, действительно, была крепка, чтобы ничто не было в состоянии ее изменить и ослабить... Хочу - и могу!.. Отчего же я бессильна, хоть и крепка моя воля, хоть и могуче мое желание?.."

Но Елена забывала, что те же мудрецы говорят:

"Страсть есть не что иное, как безумное опьянение, насылаемое на слабого человека силою смерти и разрушения. Страсть ослепляет, лишает рассудка, и обуреваемый, опьяненный ею человек превращается в раба фатальности. Он неспособен видеть, к чему клонятся его действия, неспособен видеть их ясных, прямых, неизбежных следствий. А потому все его поступки влекут его неизбежно к одной только цели - к погибели и разрушению..."

Да, Елена, глубокая и прекрасная любовь которой превратилась в это последнее время в безумную страсть, потеряла всякую способность поступать сознательно и разумно. Думая о могуществе воли, сама она отказалась от всякой воли, поддалась течению, и оно уносило ее в какую-то страшную темную бездну. Мрачная сила как бы окутала ее неведомыми чарами, и вместо того, чтобы обдумывать свое положение, чтобы стараться его выяснить, искать из него возможного, разумного исхода, Елена теперь только ждала чего-то, ждала страшного удара, который уже над собою чувствовала.

Безжалостная рука со смертоносным оружием занесена над нею - и она пригнулась к земле, замерла и ждет...

Сначала в ее ожидание порою вкрадывалась надежда. Вот он придет к ней. Ведь он обещал, ведь он должен прийти! Он придет и, быть может, все объяснится... Он разгонит ее сомнения, докажет, что она ошиблась, что ей нечего страшиться этой юной красавицы: не ее он любит. Она только его друг, его сестра, а сердце его, его страсть принадлежит одной Елене.

Он должен был прийти - и он приходил. Три раза она видела его у себя в доме, два раза встретила его у посторонних. Но никакого объяснения не было между ними, ни на одну минуту они не оставались вдвоем. Всегда так случалось, что им невозможно было ничего сказать друг другу.

Конечно, каждый раз она могла бы от него потребовать, чтобы он пришел тогда, когда никого нет с нею. Она могла бы прямо сказать ему, что ей необходимо говорить с ним. Но дело в том, что его появление теперь действовало на нее подавляющим образом. Она напрягала все свои силы, чтобы выдержать его присутствие, не смела поднять на него глаз, не решалась ничего сказать ему. И он уходил, а она опять ждала его.

Молодую фрейлину она не видела ни разу и ничего о ней не слыхала. Казалось бы, что ей

следовало постараться как можно подробнее узнать про эту девушку и, прежде всего, конечно, узнать, какие отношения существуют между нею и Захарьевым-Овиновым. Но в этом-то и заключалась вся особенность ее душевного состояния; она находилась под влиянием какого-то необычайного панического страха, и для нее невозможно было произнести имени молодой фрейлины. Что угодно, но она никого о ней не спросит.

Она старалась не думать об этой ужасной женщине и вся трепетала при одной мысли о ней - и все ждала, все ждала!..

Когда человек доходит до последних пределов безнадежности и отчаяния, когда он инстинктивно чувствует, что в нем уже не осталось никакой собственной силы и что сила эта никогда не проснется, он ищет помощи извне. И чем эта помощь фантастичнее, невозможнее, тем она начинает казаться ему вернее. Это последний крик отчаяния, последнее возмущение природы.

Такую помощь внезапно, вследствие разговора с встретившимся ей князем Щенятевым, Елена увидела в таинственном посвящении в египетскую ложу. Когда ей доложили о князе Щенятеве и графе Фениксе, она вся встрепенулась, на бледных щеках ее вспыхнул былой румянец, глаза загорелись, и граф Феникс, подходя к ней, поразился ее красотою.

- Вы меня извините, - начал он, - я являюсь незванный, но всему виною князь. Он уверил меня в добром вашем приеме.

Елена мгновенно забыла весь свой страх и ужас перед этим таинственным человеком. Она крепко сжала его руку и отвечала:

- Я глубоко благодарю князя за то, что он просил вас ко мне приехать, и вам благодарна за то, что вы захотели навестить меня. Я не встречала вас в последнее время и даже боялась с вами встретиться. Но не сердитесь на меня за этот страх и вспомните те ужасы, какие вы нам показывали.

Калиостро ласково улыбнулся.

- Ужасы! - воскликнул он. - Ужасы существуют только для непосвященных, для людей, не понимающих, что такое перед ними.

- Да, конечно, но все же редко кто может, даже и обладая большими познаниями, спокойно отнестись к сверхъестественному, - прошепелявил Щенятев, пожирая Елену глазами.

Калиостро опять улыбнулся и покачал головою.

- Нет, князь, - сказал он, - хотя вы и большие успехи сделали в тайных науках, а все же до сих пор повторяете очень странную всеобщую ошибку. Сверхъестественное, сверхприродное! Да разве может быть в природе что-либо сверхприродное! Ведь это чистая бессмыслица. Сверхъестественного не существует, не может существовать. Это первейшая истина, которой должен проникнуться всякий, кто желает подойти к тайным наукам.

Таким образом, разговор завязался.

Калиостро всецело овладел вниманием Елены, так что она не замечала многозначительных взглядов, которыми он обменивался со Щенятевым. Она жадно вслушивалась в слово чародея. Прошло несколько минут - и вот на нее стал наплывать как бы туман.

Мелодический голос итальянца, как музыка, звучал над нею. Блестящие черные глаза его горели прямо перед нею, и она не в состоянии была оторвать от них своего взгляда.

Еще мгновение - огненные глаза все ближе к ней, ближе...

Вот она слышит приказ:

- Спите!..

И она заснула.

IV.

Теперь она, как и Лоренца, была в полной власти Калиостро. Одно быстрое, почти неуловимое движение, мгновенное, даже ускользнувшее от внимания Щенятева прикосновение к ней руки великого Копта, его решительный, самоуверенный приказ "спите" - и все было кончено. Ни борьбы, ни возмущения. Она превратилась в собственность постороннего ей человека, потеряла свою волю, свои мысли, чувства.

Она сделалась более чем его рабой. Раба подчиняется силе, не смеет ослушаться, исполняет все, что прикажет ей господин, но все же в глубине души у нее остается внутренняя свобода, она может иметь свои чувства, свои мысли - и не выдать их господину, скрыть от него свой внутренний мир. А Елена ничего не могла скрыть от Калиостро. Приказал бы он ей - и она немедленно открыла бы ему все свои тайны. Приказал бы он - и она должна была бы исполнить всякое его требование не рассуждая, не смущаясь, проникнутая одним только тупым, но могучим, всепоглощающим ощущением необходимости как можно точнее исполнить данную ей задачу.

Одно слово Калиостро, да и не только слово, но один его мысленный приказ - и она совершит какое угодно преступление, кого угодно отравит, зарежет, задушит. И рука ее не дрогнет, и она успокоится только тогда, когда преступление уже будет совершено. А затем она забудет об этом преступлении, как будто его никогда не было, и пойдет на какие угодно пытки, искренно утверждая, что никогда никого не убивала, возмущаясь, как может быть взводимо на нее ни с чем не сообразное подозрение. Да, она сделает все это, если так будет ей приказано.

Какой же адской силой владеет Калиостро, чтобы так порабощать себе живую душу человека? Нет, то не адская сила, а просто знание одной из

бесчисленных тайн природы. Тайной этой вместо того, чтобы свято сохранять ее, он легкомысленно пользуется. Он делает именно то, что ему запрещено делать под страхом смерти. Он делает только то, что через сто лет после этого дня будет делать всякий легкомысленный или преступный студент медицины.

Калиостро был доволен. Теперь он окончательно убедился, какая отличная помощница будет у его Лоренцы в женской египетской ложе, как многого он будет в состоянии достигнуть с помощью этой женщины, отныне всецело находящейся в его власти.

В его быстро работавшей мысли мелькнули целые новые комбинации, новые планы. Этим комбинациям и планам вовсе не противоречило исполнить желания князя Щенятева. Пусть этот ревностный и надоедливый ученик добьется своего, пусть он женится на прекрасной графине.

И он обратился к Щенятеву, стоявшему в сильном волнении, с широко раскрытыми глазами и, не отрываясь, испуганно и страстно глядевшему на Елену.

- Князь, - сказал он, - я прошу вас на одну минуту выйти в соседнюю комнату.

Но Щенятев вместо того, чтобы беспрекословно исполнить требование учителя, вдруг возмутился. Он ни за что не хотел оставить с ним Елену, в нем заговорила ревность.

- Зачем же мне уходить? - довольно решительно воскликнул он.

- В таком случае уйду я, а вы оставайтесь.

Под вспыхнувшим взглядом учителя Щенятев вдруг присмирел и покорно пошел к двери.

Калиостро не терял времени. Он наклонился над Еленой и шепнул ей:

- Вы любите князя Щенятева?

- Нет, я не люблю его! - трепетно, с невыразимым ужасом в голосе произнесла она.

- Я вам говорю, что вы его любите. В этом не может быть никакого сомнения. Вы его любите страстно... Ведь так? Ведь я говорю правду?

- Да, вы говорите правду... Действительно, я страстно люблю его...

- Когда вы проснетесь, вы ощутите эту любовь, и если он станет говорить вам о своем чувстве, вы ответите ему полным признанием, выразив ему всю вашу нежность. Ведь вы сделаете это?

- Да, я это сделаю.

В это время из соседней комнаты, куда удалился Щенятев, послышался шорох. Калиостро почувствовал, что его ученик у самой двери - и подслушивает, подглядывает. Досада изобразилась на выразительном лице итальянца, но затем тотчас же сменилась насмешливой, презрительной и в то же время злорадной усмешкой. Он еще ниже склонился над Еленой и едва слышно шепнул ей:

- Глядите на меня! Можете ли вы видеть мои мысли?

- Могу! - так же тихо ответила она.

Потом, через мгновение, он спросил:

- Поняли?

- Да, поняла.

- Исполните?

- Исполню.

- Князь, прошу вас, войдите! - громко сказал Калиостро.

Щенятев во мгновение был у кресла, в котором бледная и неподвижная лежала Елена, и вопросительно, любопытно и робко глядел в глаза учителя.

- Вы знаете, что я владею большими силами, что я знаю величайшие тайны природы, - заговорил Калиостро, - и что природа мне послушна. Я даю вам теперь ясное тому доказательство: графиня вас любит, цель ваша достигнута, сердце этой прекрасной женщины принадлежит вам. Но, несмотря на всю мою силу, я на этот раз должен был бороться с природой, и мне нелегко далась

победа, так как в сердце графини была большая к вам антипатия.

Щенятев задыхался от радости, восторга и невольного, непонятного страха.

- Граф! Граф! - бормотал он. - Моя благодарность не имеет границы, и я сумею доказать вам это... Вы мой благодетель...

- Теперь же я чувствую себя очень утомленным, - продолжал Калиостро, скрывая усмешку, - я должен удалиться и вернуть известным мне способом затраченные мною силы. К тому же я не хочу мешать вашему счастью, ловите его, пользуйтесь каждым мгновением. Стойте неподвижно, пока я не уйду, а графиня не проснется.

Сказав это, он быстро подошел к двери, простер руки по направлению к Елене, а затем скрылся за спущенной портьерой.

V.

В то же мгновение Елена щевельнулась, открыла глаза, поднялась с кресла и увидела Щенятева.

Он стоял перед ней смущенный до последней степени, с выражением вора, застигнутого на месте преступления. Он не смел сомневаться в ожидавшем его счастье, но и боялся ему верить, и в то же время его наполняло неясное, но томительное сознание своей преступности. Если бы он поднял глаза и встретил строгий и холодный взгляд Елены, он ни за что не решился бы произнести ни одного слова и бежал бы от нее без оглядки, не ожидая действия чар великого Копта...

Но когда он робко, с усилием поднял глаза, перед ним блеснул не строгий, не холодный взгляд, а взгляд, полный ласки и нежности. Никогда еще Елена не была так обольстительно хороша. Любовь озарила все лицо ее особенным очарованием...

Он был так безумно влюблен в эту женщину, он жил ею, она одна наполняла все его сны, все

его грезы. Он ждал этого мгновения как высочайшего блаженства, представлял себе это прелестное лицо, озаренное нежной, вызванной им улыбкой, - и замирал от восторга, готов был отдать всю жизнь за одну минуту счастья...

И вот она глядит на него с лаской и любовью! Пришла блаженная, так долго, мучительно, страстно жданная минута... Она его любит!.. Он бросится перед нею на колени, он покроет ее руки безумными поцелуями, он умрет от блаженства и страсти...

А между тем он не смел шевельнуться: панический страх оковал его и пересилил его радость. Не он кинулся к ее ногам, а она быстро подошла к нему и взяла его руку. Ее глубокие, подернутые страстной влагой глаза нежно глядели, но возбуждали в нем не блаженство, а леденящий ужас. Ему казалось, что перед ним не Елена, а непонятное, неземное существо, одно из тех терзающих душу существ, вызванных графом Фениксом тогда, во время страшного вечера у Сомонова...

"Разве это она? Разве она может быть такою, так глядеть, так улыбаться?

Что-то непонятное возмущалось в нем и не верило, не могло верить такой внезапной перемене.

А Елена не выпускала его руки. Она шептала:

- Князь, как давно это было, когда здесь, в этой комнате, вы говорили мне, что меня любите!.. С тех пор вы молчали... отчего?

- Ведь вы запретили мне... я не смел! - безбожно шепелявя и дрожа, как в лихорадке, произнес он.

- Простите меня и забудьте... теперь говорите мне, говорите, что меня любите... пойдем вот сюда... это мой любимый уютный диванчик... сюда, садитесь рядом со мною...

Она увлекала его за собою. Его длинная фигура как-то неуклюже и деревянно упала на мягкие подушки низенького диванчика. Он был особенно смешон и некрасив в эту минуту, с высоко под-

12 49

нятыми коленями худых ног, с ужасом на побледневшем лице, на котором только один маленький круглый нос не изменил своего обычного цвета и краснел подобно яркой пуговице. Но Елена не видела его комичного безобразия - она с восторгом на него глядела, и в тишине комнаты раздавался ее мелодический шепот:

- Скажите же мне, что по-прежнему меня любите, что не изменились ко мне!..

И он отвечал все с тем же ужасом, будто делая самое мучительное, вынужденное признание:

- Я люблю вас...

- И я люблю вас, мой дорогой, мой верный друг! Слышите, я люблю вас!.. Что с вами?.. Да говорите же, говорите! Вы меня мучаете!..

- Я люблю вас... я люблю... вас! - бессмысленно повторял он.

Она крепко сжала его руки.

- О! Повторите, повторите еще!

Но вдруг она замолчала, будто припоминая что-то. Брови ее сдвинулись, и на лице появилось сосредоточенное, напряженное выражение. Она, очевидно, силилась что-то припомнить - и не могла. Наконец глаза ее блеснули, на щеках вспыхнула краска, напряженное, почти мучительное выражение уступило место сияющей улыбке.

- Как мне отрадно слышать ваш чудный голос! - воскликнула она. - Друг мой, как могла я до сих пор не видеть, не заметить вашей красоты? О, как вы прекрасны!.. Никогда не в силах была я себе представить, чтобы человек мог быть так прекрасен... В картинных галереях я видела чудные изображения, созданные великими художниками; но ни одно из этих изображений не может сравниться с вами в красоте!.. Дайте же мне налюбоваться вашими чертами...

Бедный Щенятев не знал, конечно, до какой степени он смешон и дурен, но все же он не почитал себя красавцем, и его лицо, отраженное в зеркале, а особенно этот похожий на пуговицу и

почему-то всегда чересчур румяный нос не могли не смущать его порою. Нежданные слова Елены звучали для него горькой обидой и насмешкой. А между тем она восхищалась им, горячо и страстно. Она любовалась им. Ему становилось все тяжелее и тяжелее, его панический страх усиливался... Все это было совсем не то, о чем он мечтал, к чему стремился...

Он закрыл глаза и силился освободиться от своих тягостных ощущений.

"Ведь это чары! - твердил он себе. - С какой же стати я боюсь? Чего боюсь?.. Она меня любит!.."

И он чувствовал ее все ближе и ближе... ее горячее дыхание уже касалось его щеки...

- Милый!.. Отчего ты так холоден?.. Или ты меня не любишь?..

Какое безумие! Ведь это ее голос ему шепчет... "Пользуйтесь каждым мгновением!" - вспоминаются слова Калиостро.

Вдруг будто электрическая искра пронзила его: тяжесть, страх, смущение, обида, неясное сознание своей преступности - все исчезло. Прежняя страсть закипела в нем. Он открыл глаза, встретился с ее манящим взором. Он охватил трепетной рукою ее стан, привлекая ее к себе... Еще миг - и губы их встретятся в долгом поцелуе блаженства, и она, гордая, целомудренная Елена, погибавшая от любви к таинственному, прекрасному человеку, всецело завладевшему ее душою, забудет все в объятиях смешного Щенятева!..

Но не дано было прозвучать этому противоестественному поцелую.

Новая, еще более внезапная перемена произошла в ощущениях Щенятева. Новый могучий ток пронизал его и парализовал его мысли, его волю. Он перестал сознавать присутствие Елены, не видел ее. Он вырвался из ее объятий и спешно направился к двери. Вот он в соседней гостиной, где несколько минут перед тем, удаленный великим Коптом, с

нетерпением и тревожной ревностью ждал позволения войти и, трясясь, как в лихорадке, подсматривал у спущенной занавеси таинственные действия учителя, подслушивал, тщетно стараясь расслышать его шепот и ответный шепот Елены...

Какая-то, неизвестно откуда появившаяся мужская фигура совсем неслышно ступая по ковру, приблизилась к нему и, прежде чем можно было ее заметить и удивиться, он почувствовал на своем лбу горячую руку. Мгновенно он потерял всякое сознание окружающего, будто его взяли и окунули в какую-то новую, непостижимую стихию. Перед ним носились в хаотическом беспорядке, появлялись и пропадали бесчисленные, различные образы.

В одно мгновение он увидел со всех сторон тысячи человеческих лиц, мужских, женских, старых, молодых, детских, во всевозможных одеяниях и положениях. Он увидел в то же время тысячи неизвестных и непонятных ему существ, доходивших до божественной, умиляющей душу красоты, и до цепенящего безобразия. Бесконечность всевозможных предметов, форм и сочетаний окружала его, неслась перед ним, клубилась и терялась в сияющем, серебристо-голубом, беспредельном пространстве...

"Забудь все и никогда не вспоминай! - зазвучал над ним, как удары колокола, потрясая все его существо, властительный голос. - Забудь все, что имеет отношение к женщине, с которой у тебя нет ничего общего: ты не должен любить ее, и она тебя любить не может... Не пытайся заглядывать в те сферы, где тебе нечем дышать, где ты ослепнешь, оглохнешь - и погибнешь... Вернись к своей прежней жизни: ешь, пей, веселись, ибо ты материя, и нескоро еще настанет время для развития твоего духа... Но это время придет - и далекий голос в редкие святые минуты никогда не перестанет напоминать тебе, что придет это время... Забудь же все!.."

Щенятев бессознательно, машинальнно прошел ряд комнат, оделся в передней, вышел на подъезд

и сел в свою карету. Только подъезжая к дому, он пришел в себя. Он не знал, где был, откуда едет... Впрочем, он и не останавливался на этой мысли. Приехав домой, он вспомнил, что завтра очень интересный маскарад у Нарышкина, прошел, сопровождаемый камердинером, в гардеробную, приказал отпереть шкафы с платьем и стал выбирать костюм для маскарада...

Между тем появившаяся в гостиной Елены фигура приблизилась к двери и остановилась... Елена была все на том же низеньком диванчике, где покинул ее Щенятев, все в той же позе, в какой он ее покинул... Она будто обнимала кого-то... Но вот под взглядом, на нее устремленным, ее руки опустились, она откинулась на спинку дивана, лицо ее приняло более спокойное выражение...

Темная фигура приблизилась к ней, и на нее пахнуло теплом...

"Забудь все это!" - и над нею прозвучал, подобно колоколу, властительный голос...

Ее душа рванулась навстречу этому теплу, этим звукам. Но иная сила удерживала ее, и несколько мгновений во всем существе ее происходила мучительная, жестокая борьба двух сил, двух влияний, двух воль. Это была разрушительная борьба. Елена оставалась неподвижной, но в то же время глубоко страдала. Холодный пот струился с ее лба, ее зубы были стиснуты.

Наконец вновь явившаяся сила восторжествовала. Чары Великого Копта были разрушены. Елена внимала новому приказу. Она забыла только что происшедшую возмутительную сцену, забыла Щенятева. Она открыла глаза и увидела перед собою Захарьева-Овинова.

Безумная радость охватила ее. Наконец-то он здесь, у нее, и они одни, и она читает любовь в его взгляде. Она хотела встать, но невыразимая слабость приковала ее к месту. Все ее тело было разбито. Сердце ее мучительно сжималось и горело, будто огнем палило ей грудь. Она могла только

ему улыбнуться, могла только глазам сказать ему, как она его любит, как счастлива и как невыносимо страдает.

VI

Появление Захарьева-Овинова в доме Елены не было случайным. Несмотря на тревожное состояние духа, великий розенкрейцер по-прежнему владел всеми своими знаниями и силами, и к тому же на его обязанности лежал надзор за действиями Калиостро. Никто не возлагал и не имел права возложить на него этой обязанности, но она прямо истекала из его положения.

Если он до сих пор считал возможным отстраниться от всякого деятельного вмешательства и быть только зрителем, то теперь, когда Калиостро, очевидно, забыл всякую меру и начинал ради своих личных целей наносить людям вред, делать зло, вмешательство сильнейшего становилось необходимостью.

И Захарьев-Овинов начал следить за Великим Коптом.

Если б Калиостро не был ослеплен своим успехом, а главное, если б он почаще вспоминал полученные им уроки и слова своих учителей, он понял бы, что Лоренца права, что он вовсе не в безопасности. Он должен был знать, что человек, получивший какое-либо посвящение и нарушивший клятву, возбуждает против себя могучую силу и сам роет бездну под своими ногами. Он должен был знать, как сам же рассказывал у Сомонова, что по пятам клятвопреступника следует неумолимый мститель...

Но он был ослеплен и начал считать фантастической старой сказкой то, чему сам глубоко верил в недавнее еще время, в знаменательные минуты своей жизни. К тому же мщение медлило, до

него было еще далеко. Он получил только предостережение...

Действительно, Захарьев-Овинов не хотел поступать решительно и жестоко, он надеялся, что Калиостро, после полученного предостережения поймет, что ступил на совершенно ложный и опасный путь и остановится, и начнет действовать иначе. Ведь в этом человеке заключается настоящая, большая сила; его деятельность могла бы принести пользу. Ведь на него еще недавно расчитывали не только масоны, но и сами розенкрейцеры. Следовательно, необходимо постараться спасти его - и для него самого, и для дела...

Но вот предостережение не подействовало - и великий розенкрейцер, вооруженный всеми своими тайными способами знать человеческие намерения, своевременно узнал о том, что Калиостро легкомысленно и преступно покушается на судьбу Елены и намерен внушить ей страсть к Щенятеву. Таинственный оракул, странными с виду знаками, цифрами и формулами рассказывавший великому розенкрейцеру изо дня в день все, что касалось Калиостро, не назвал прямо имени, но указания его были точны и определенны. Сомнений не могло быть никаких.

Захарьев-Овинов почувствовал глубокое негодование. В указанное ему его вычислениями время он был в доме Елены. Если б он опоздал на полчаса - преступное деяние уже совершилось бы. Но его расчеты были верны; он не мог ошибиться, не мог опоздать. Он вошел в дом именно в то самое время, когда дверь отворилась и слуга провожал Калиостро.

Великий Копт остановился на мгновение, почувствовал нечто странное, в чем не мог дать себе отчета. Но он никого не увидел, или, вернее, не заметил. Не заметил также нового вошедшего гостя и слуга, отпиравший и запиравший двери...

Сказка о шапке-невидимке, конечно, только сказка, но внимательное наблюдение окружающих

нас явлений, но истинная, без всяких предвзятых взглядов наука, смело идущая ежедневно вперед, доказывают нам все яснее и яснее, что нет такой сказки, которая не была бы основана на действительности. Да и откуда бы явилось у человека какое-либо представление, если б его не было в природе?..

Великий розенкрейцер захотел, чтобы его появление не было замечено, и так подействовал на Калиостро и на слугу, что они его и не заметили. Легко и неслышно ступая, скользя, подобно тени, он достиг комнаты, рядом с которой находились Щенятев и Елена. Он сбросил с себя плащ и, не трогаясь с места, отвлек Щенятева от Елены, а затем излечил его навсегда от его страсти...

Теперь он был перед Еленой, освободил ее от чар Калиостро, победил в ней его силу, его приказ, заставил ее забыть все, что произошло с нею. Она, измученная, обессиленная, глядела на него взглядом, полным беззаветной любви, она принадлежала ему всецело, и весь ее мир, все ее прошлое, настоящее и будущее заключались только в нем одном.

Но ведь он был теперь перед нею не затем, чтобы познать никогда неизведанное им блаженство земной любви. Он считал это блаженство жалким соблазном и глубоким падением. Испытывая страстное и нежное влечение к Елене, он признал его своим последним испытанием...

Они не должны были любить друг друга земной любовью. Но ведь он знал, что она его любит, что любовь эта владеет всем существом ее. Он знал все ее муки, понимал до какой степени несчастна, как гибнет, сгорая внутренним огнем, эта прекрасная и телом и душою женщина... Отчего же, избавив ее от всех мук, не вырвал из нее сжигавшего ее чувства? Ведь он мог это. Заставляя ее забыть все, что сейчас было, он мог прибавить: "Забудь и свою любовь ко мне, как будто ты никогда меня не любила..." И она,

подчиняясь все тому же неизбежному природному закону, исполнила бы его волю... и стала бы спокойной, и узнала бы, может быть, иное, возможное для нее на земле счастье...

Он не сделал этого потому, что должен был выдержать последнее испытание, не прерывать его, не бежать от опасности, не обходить ее, а испить до конца, до последней капли полный кубок соблазна - и остаться победителем на холодной, лучезарной высоте, где сиял, переливаясь волшебными лучами, великий символ Креста-Розы...

Еще в недавнее время мог ли он подозревать, что для него, закаленного в борьбе, неуязвимого, поправшего в себе все земное, будет так страшно и тяжко это последнее испытание! Сколько раз и в годы юности, и в зрелом уже возрасте вызывал он перед собою самые соблазнительные образы женской красоты - и всегда оставался к ним равнодушным и холодным.

Мало того, юная красота с манящим и стыдливым приветом во взоре - это вдохновеннейшее создание материальной природы - всегда представлялась ему враждебной, ядовитой, а потому отталкивающей. Ведь он знал, какое падение, какая бездна безнадежного отчаяния, напрасных и бесплодных сожалений, потерянной свободы и силы ожидают человека, стремившегося к порабощению природы и плененного тленной красотою быстро преходящих земных форм. Что может быть ужаснее: отдать всю жизнь достижению высшей цели, подняться почти на вершину горы, уже познавать все блаженство свободы и могущества - и в миг один быть сброшенным в самую глубину материи... Одной этой мысли было достаточно для розенкрейцера, чтобы глубоко презирать земную красоту и не бояться ее соблазнов...

Но ведь он также знал, что не напрасно последним испытанием мудрого является именно этот, а не иной призыв материи. Он знал, что для последней борьбы со своим поработителем природа

собирает все свои силы и сосредоточивает их в одном могучем центре.

И этот центр - всегда, везде и во всем - любовь, а в ней творческая сила, и следствие ее - жизнь...

Наконец, великий розенкрейцер понял, в чем состоит действительный соблазн и страшная опасность испытания. Природа, так решил он, выступая в последнюю битву со своим поработителем, отлично знает силы противника и обмануть ее нет возможности. Она не станет пленять телесной красотою того, кто понимает истинную цену и значение этой красоты. Она не вышлет жрицу сладострастия, сверкающую ослепительной наготою, соблазнять того, кто в силах отвернуться от такого соблазна.

Она покажет своему сильному противнику прекрасную душу в прекрасной оболочке и очарует его этой душою. Ему будет казаться, что он любит только прекрасную душу, что он ищет сближения только с родственной ему высокой душою. А между тем это будет один самообман, и когда природа достигнет цели, когда совершится падение ее поработителя, из-за прекрасной души, из-за духовного сближения выступит земная, материальная форма со своими неумолимыми, грубыми правами, со своим отравляющим опьянением животной страсти...

Так решил Захарьев-Овинов, и ему стало ясно, что тогда еще, в Риме, природа его обманывала. Он очищал душу Елены и поднимал ее в высокие духовные сферы, находя в ней сродство с собою - а материальная, земная Елена незаметно опутывала его незримой паутиной...

Но ведь он понял коварство природы и понял также, что природа стоит перед ним во всеоружии, готовая смертельно поразить его. И он содрогнулся, в первый раз за всю жизнь почувствовав в себе возможность слабости.

Он долго откладывал последнюю битву, долго к ней готовился. Но медлить долее было бы трусостью, его недостойной.

И вот он решил, наконец, принять вызов. Он лицом к лицу с грозящей опасностью. Елена глядит на него глазами, полными неизъяснимой любви - и его сердце трепещет и замирает от этого взгляда...

VII.

Но как она изменилась, как много и глубоко она страдала! В его душу закрадывается новое чувство, никогда еще им неизведанное. Это чувство щемящей, терзающей жалости. Только стоит поддаться ему - и все будет забыто: он направит свои силы и знания в известном направлении и успокоит это истерзанное, потрясенное сердце, даст ему мир и забвение...

Но нет, он стоит на своем, он вышел в битву, и только его губы почти бессознательно шепчут, повторяя мысль его:

- Графиня, зачем вы допускаете в себе такие страдания, зачем вы себя губите!..

Безумные, жестокие слова. От этих слов Елену охватило такое отчаяние, душа ее так возмутилась, что она позабыла всю свою слабость, сила жизни закипела в ней, и она негодующая, изумленная такой нечеловеческой жестокостью поднялась перед Захарьевым-Овиновым и глянула на него сверкающим взглядом.

- Зачем вы говорите о моих страданиях? - воскликнула она. - Ведь вы знаете, что я не в силах бороться с ними, что не я в них виновата, а вы!.. Я ждала вас, ждала долгие дни, целую

вечность... Наконец вы со мною... Но зачем вы здесь? Неужели для того, чтобы терзать меня и надо мной издеваться?!.

Она ждала ответа. Но ведь не мог же он сказать ей, что явился для того, чтобы бороться против любви и страсти, возбуждаемых в нем ею. Он только опустил голову, а она, не дождавшись ответа, продолжала с мучительной горечью:

- Или вы ни в чем не виноваты? Но в таком случае зачем же вы пришли тогда и взяли мою душу?.. Я не знаю, кто вы... вы князь Захарьев-Овинов; но это мне ничего не объясняет... Я знаю только одно, что вы бесконечно выше других людей, что у вас непонятное для меня таинственное могущество... Вы знаете все, и все можете...

- Я никогда не говорил вам этого и не давал вам доказательств какой-либо особенной моей силы...

- Да, вы никогда о себе не говорили; но доказательств у меня много... Или думаете вы, что за все эти долгие месяцы, когда я жила только вами, я ничего не поняла, ни в чем не уверилась? Я не знаю, кто вы, но все же я вас знаю... Тогда... в Колизее... Вы появились предо мною - и в один миг навсегда взяли мою душу, мое сердце, мою жизнь... Вы знали это - значит, этого хотели, значит, вам нужны были моя душа, мое сердце, моя жизнь!.. С этой минуты вы от меня не уходили, были всегда со мною, зримый или незримый, но всегда были. Вы разбудили меня от долгого сна, от забытья, от томительного ожидания... вы показали мне новую жизнь, приподняли передо мной на мгновение завесу, за которой скрываются великие тайны... И тогда вы велели мне возродиться, отрешиться от прежней жизни, навсегда покончить с нею - и следовать за вами... Или это неправда? Не так оно было? Не то означал ваш отъезд из Рима и наша первая встреча здесь, когда я исполнила все, чего вы от меня требовали?

Он взглянул на нее своими загадочными, как звезды сиявшими, глазами и твердо ответил:

- Все это правда.

Как будто тихий голос какой-то неясной надежды закрался ей в сердце.

- Зачем же томили вы меня до сей минуты? Ведь вы знаете, что я давно жду вас, что я все исполнила, готова следовать за вами повсюду, что я люблю вас и не сделала ничего такого, за что могла бы стать недостойной любви вашей!.. Или это было испытание? Или, может быть, внезапно, уже здесь, вы изменились и вам уже не надо ни моей души, ни моего сердца, ни моей жизни?..

- Я все тот же... Не изменился и не могу измениться.

- Так что же это значит?

- Это значит, что к моему и вашему несчастью мы оба ошиблись... Вы говорите мне о таком чувстве, какого не может и не должно быть между нами.

Она подняла на него свои прекрасные глаза, в которых изобразилось глубокое изумление.

- Между нами может быть только любовь - произнесла она, - любовь одна, и я говорю о ней, и вы знаете, что ни о чем ином я говорить не могу.

- Нет, вы ошибаетесь! - горячо воскликнул он. - Любовь - не одна!.. Вспомните, что я говорил вам, в одну из наших встреч, о страдании и блаженстве. Я говорил вам: главный закон, действующий во всей природе, - это стремление к соединению. Закон этот необходим, ибо в нем заключается сила подобий и соответствий, а без сей силы не может быть жизни. Всякое препятствие к соединению производит усилие для избавления себя от этого препятствия. Такое усилие и есть то, что мы называем страданием. Но всякое препятствие временно, ибо его можно побороть, а посему и страдание преходяще. Пока существуют препятствия, дотоле продолжаются и страдания. Коль скоро пре-

кратятся препятствия, прекращаются и страдания, и настанет покой и соединение. Все в мире, начиная с самого низшего творения и кончая высочайшим, стремится и должно стремиться к соединению с себе подобным. Чистое не может соединиться с нечистым, высшее с низшим, ибо соединение состоит в подобии. Быть существенно соединенному со своим подобием есть высочайшее блаженство всякого существа, ибо только к этому клонятся все его усилия и стремления... Вот что я говорил вам - и вы поняли эти истины...

- Я и теперь их понимаю, - раздумчиво сказала Елена, - но не могу еще ясно понять вашей мысли.

- Моя мысль проста: два существа, имеющие между собою подобие, не могут и не должны стремиться к соединению в низшей природной сфере, когда получают возможность соединиться в высшей. Человек на земле состоит из временной, преходящей материи и вечного духа. От него зависит во время своей земной жизни дать в себе преобладание или материи, или духа. Я всю жизнь трудился над развитием своего духа и поработил себе материю. Вы способны на то же - и я пришел в вашу жизнь именно для того, чтобы направить эту работу и помочь вам... А вы... вы говорите мне о земной любви, о соединении в сфере временной и враждебной духу материи, о соединении грубом, животном, задерживающем развитие духа, тогда как наше соединение может быть вечным и блаженным в блаженной и вечной сфере духа!..

Елена все поняла, но он ни в чем не убедил ее. Она чувствовала, что в этих словах звучит какой-то разлад - и этот разлад терзал ее...

- Да, мы люди, состоящие из тела и духа, - воскликнула она, - и если мы подобны, если стремимся друг к другу, то и соединение наше должно быть полным, временным и вечным, земным и небесным!.. Не старайтесь смутить меня. Я верю в высший разум Творца и в Его благость. Я не

верю и не могу поверить, чтобы честное исполнение Его закона, без которого прекратилась бы вся земная жизнь, Им созданная, могло быть греховным, грязным, недостойным человека... Земная любовь! Да ведь я говорю об истинной, чистой и самоотверженной любви, о любви мужа и жены, соединяющихся навеки, а не о разврате, не о мимолетном, изменчивом капризе!.. Вы хорошо знаете, какой любовью я люблю вам!..

- Да, я знаю и не могу отвечать вам подобной любовью, ибо такая любовь, любовь земного мужа к земной жене была бы моим падением...

Но этих последних его слов она даже и не слушала. Дикими и жалкими казались ей теперь всякие рассуждения. Ее всю охватила ее любовь; она чувствовала только присутствие давно жданного, давно любимого человека; она знала только, что должна победить его, ибо в этой победе или поражении был для нее вопрос жизни и смерти. Она сжала руку Захарьева-Овинова и привлекла его. И он склонился, почти упал к ногам ее на мгновение обессиленный и тоже охваченный одним ощущением, ощущением близости любимой женщины.

Природа побеждала, природа зачаровывала. Он не мог оторваться от этих чудных глаз, он ловил, как дивную музыку, звуки этого милого голоса.

Она говорила:

- Милый, велики твои силы, знания, твое могущество! Но я чувствую и знаю, что не могу ошибаться: твоя жизнь прошла без тепла, без счастья, без любви... И моя жизнь была такою же - унылой, холодной, безотрадной. Недаром пришел ты ко мне, судьба привела тебя, мы назначены друг другу. Как я тебя узнала и полюбила с первого мгновения, так и ты должен был узнать и полюбить меня... Иначе не могло быть, и так оно было... Не обманывай меня... не силься отвратить от меня свое сердце словами и рассуждениями... забудь все слова и слушай только то, что говорит тебе твое сердце... Не к падению я зову тебя, а к

блаженству! Любовь счастливая, это светлое и теплое солнце жизни, не ослабит, а разовьет твои силы, окрылит твои мысли и вознесет тебя высоко... и я вознесусь вместе с тобою... Да, вместе, вместе... Я жизнь и душу готова с радостью отдать тебе, так разве может быть такая любовь тебе в чем-либо помехой?.. Гляди же на меня, гляди в мои глаза - ты умеешь читать в душе, ты видишь все мысли и чувства... читай же мою душу!..

И он глядел, и он видел, что эта прекрасная душа, чистая, как хрусталь, заключающая в себе все качества для быстрого и пышного расцвета, всецело принадлежит ему и ждет от него решения своей участи, ждет жизни или смерти...

То счастие, то блаженство, которого он достигал всю жизнь и не мог достигнуть на дивных высотах знания, теперь впервые наполняло его, потрясая все существо его неведомым трепетом. Только теперь постигал он впервые, что такое тепло, что значит быть согретым...

Ее слова звучали в нем и внутренний голос шептал им в ответ:

"Да, ты права, такая любовь не погибель... она может окрылить, укрепить, а не ослабить добытые трудом и волей силы... она светла и тепла, как солнце... она и есть солнце жизни!.."

Но вот заглушая все: и голос сердца, и ее нежный молящий голос, из глубины гордого, стремящегося к высшей власти духа, внезапно раздалось грозное слово:

"Великий розенкрейцер! Ты гибнешь! Не взойти тебе на высшую ступень... природа победит тебя... вечная Изида из послушной рабыни превратится для тебя в неумолимую властительницу... Бездна под твоими ногами... еще один шаг, один миг - и все погибло!"

Лицо Захарьева-Овинова покрылось смертельной бледностью. Глаза его померкли. Он поднялся с колен и быстрым движением высвободил свои руки из рук Елены.

Она поняла эту внезапную перемену, прочла свой приговор в его помертвевшем лице, но все еще не смела верить - ведь это было так безумно жестоко, так несправедливо, так неестественно!..

- Ты уходишь?.. Нет, этого не может быть... ты не можешь уйти, потому что я люблю тебя и ты меня любишь!.. - растерянно шептала она.

Она силилась удержать его; но он отстранил ее руки.

- Прощай Елена, - сказал он, - я не могу сойти к тебе, и не дано мне поднять тебя... Прощай навеки!..

Его нет. Она одна. Проходят минуты, а она все неподвижна, без мыслей, в тупом оцепенении... Но внезапно нежданная мысль мелькнула перед нею.

"Безумная! Если он ушел, значит, не любит тебя, значит, любит другую!.. Как же ты о ней забыла, об этой ужасной красавице?! Ведь ты знала, что в ней твоя погибель... Как же ты забыла?!"

Дикий, нечеловеческий хохот, смешанный с рыданиями, вырвался из груди Елены. А бедное, истерзанное сердце стучало все больнее, заливаясь кровью...

VIII.

Он победил природу, но никогда еще, с тех пор как ему приходилось выдерживать всевозможные испытания, победа не требовала стольких усилий, не давалась так трудно. До сего времени после каждого пройденного испытания, после каждой победы он всегда изумлялся ничтожности выдержанной борьбы.

Сначала, до розенкрейцерского посвящения, ему казалось, что не он силен, а слабы борящиеся против него силы. В последние годы, когда он хорошо узнал и значение этих сил, и могущество их, он стал приписывать легкость одерживаемых им побед своей твердости, своей железной воле.

И, конечно, такое сознание было для него лучшей наградой. Он видел себя на недоступной для других высоте, чувствовал, что стоит на ней твердо, мог глядеть на все и на всех спокойно, сверху вниз - и это было единственным наслаждением его суровой, холодной жизни.

Какое же высокое наслаждение и довольство должен был он ощущать теперь, выйдя победителем из самой тяжелой борьбы, благополучно выдержав свое последнее испытание! Ведь он был уверен, что теперь беспрепятственно поднимается на высшую ступень дивной лестницы посвящений.

А между тем ни наслаждения, ни довольства собою в нем не было. Он чувствовал себя разбитым, подавленным, уничтоженным, будто не он одержал самую блистательную победу, а его победил могучий враг и низринул с высоты в темную бездну. Именно таковы были его ощущения: ему казалось, что он потерял почву под ногами и быстро стремится куда-то вниз, и не в силах удержаться.

Что же это значило? Или он не победил соблазна любви? Или он нашел в себе только временно силу оттолкнуть Елену, уйти от нее, но скоро опять к ней вернется?.. Нет, он хорошо знал, что победа, одержанная им, не мнимая, а действительная победа; он никогда не вернется к Елене; она ему чужда теперь - их дороги разошлись навеки. Он даже не думал об этой прекрасной женщине, оставленной им в жертву глубокому отчаянию. Он сказал себе: "Если она не в силах подняться выше материи и должна поэтому погибнуть, значит так тому и надо быть". Он сказал себе это и отогнал от себя ее образ. И этот соблазнительный образ побледнел, померк, испарился.

А ему было все так же тяжело, еще тяжелее. Он спешил к себе домой быстрым, мерным шагом, едва касаясь земли, и пешеходы, попадавшиеся ему навстречу среди тишины темных, окутанных в осен-

ний туман улиц, давали ему дорогу, с изумлением, почти со страхом на него глядя, невольно спрашивая себя: кто это? Человек или призрак?

Но он был не призрак, и природные влияния действовали на него, как и на всех, если только он не противопоставлял им свою волю, способную творить чудеса как в духовной, так и в материальной сфере. Теперь он не думал о природных влияниях, не боролся с ними, а потому это быстрое и продолжительное движение на воздухе произвело в нем телесную усталость и в то же время несколько успокоило его душевное волнение, освежило его горящую голову.

Он вошел в свою рабочую комнату уже не тем, каким вышел из дома Елены. Он был снова, как и всегда, холоден и спокоен, и черты лица его выражали несколько мрачную неподвижность.

На жестком кожаном диване, прислонив голову к его высокой деревянной спинке, сидел и крепко спал отец Николай. Захарьев-Овинов нисколько не изумился, увидя здесь своего двоюродного брата, так как, приближаясь к спящему, знал, что с ним встретится. Он подошел к спящему священнику, остановился перед ним и устремил на него свой загадочный взгляд, в котором трудно было прочесть что-либо.

Но вот этот взгляд как бы внезапно вспыхнул, и в нем мелькнули вопрос, изумление и недоумение над вопросом, на который нет ответа. Никогда еще в течение всей жизни не встречал Захарьев-Овинов на лице человеческом такого света, такой безмятежности, такого невозмутимого, торжественного спокойствия.

Он знал одно поразительное лицо, навеки запечатленное в его памяти, чудное старческое лицо отца розенкрейцеров. Не раз видел он это лицо в то время, как мудрый старец после долгих работ и ночных бдений забывался кратковременным сном. Захарьев-Овинов делал тогда над ним свои наблюдения. Черты учителя тоже выражали торжественное

спокойствие, тоже были светлы и безмятежны, но все же между седыми, нависшими бровями всегда и неизменно лежала глубокая тень, говорившая о тяжелой внутренней борьбе, о прожитых сомнениях и бурях.

На лице же спящего священника не было никакой тени - один только свет, одна чистота и радость.

И Захарьев-Овинов, отрешась внезапно от всей своей внутренней жизни, проницательным, привычным взглядом разглядывал этого спящего перед ним человека. И он понимал, видел ясно, что человек этот разгадал великую тайну, тайну, не дававшуюся ему, великому розенкрейцеру, неразгаданную даже и его мудрым учителем-старцем. Человек этот был счастлив. Он изведал истинное, духовное блаженство и теперь спал, ища во сне не забвения, не успокоения от внутреннего разлада, а просто телесного краткого отдыха.

Этот краткий отдых был действительно необходим священнику. Прошло немного больше недели с тех пор, как он приехал в Петербург и произвел поразительную перемену в состоянии здоровья старого князя. За это время больной был неузнаваем: его страдания почти прекратились, силы вернулись. Он уже снова, закутанный в меховой халат, сидел в своем покойном кресле и даже несколько раз в день, чего с ним не случалось уже более года, мог медленно, с трудом, но все же мог пройтись по комнате. У него явился аппетит, мысли его прояснились, он снова жил.

Для каждого, кто видел его в последнее время, а тем более для сына, такая перемена являлась необычайной, чудесной. Но только он сам действительно понимал весь ее смысл, все ее значение.

В течение всей своей жизни равнодушный к религии и обращавшийся к ней только внешним образом, только по привычке, старый князь теперь по целым часам горячо молился. Он постоянно тре-

бовал к себе отца Николая и долго беседовал с ним наедине. А когда священник уходил, старик оставался в каком-то особенном, почти экстатическом состоянии, с просветленным лицом, с тихими радостными слезами, незаметно катившимися по щекам.

Однако весьма часто его желание видеть отца Николая оказывалось неисполнимым. Слуга доказывал князю, что батюшки нет дома, что он пошел по больным и еще не возвращался.

Дело в том, что на следующий же день по приезду священника у него оказалось очень много занятий в Петербурге, хотя он никогда здесь не был, хотя еще за сутки перед тем никто не знал его, да и сам он никого не знал.

Но теперь его знали.

Старый слуга князя, бывший свидетелем необычайного исцеления своего господина и глубоко пораженный всем виденным, конечно, немедленно же рассказал обо всем другим княжеским слугам. Не прошло и суток, как уже далеко разнеслась весть о святом священнике, приехавшем откуда-то и исцелившем почти уже мертвого князя Захарьева-Овинова.

Двор княжеского дома стал наполняться всяким народом. К отцу Николаю начали стекаться со всех сторон недугующие, страждущие, труждающиеся и обремененные. Всем была нужда до батюшки. Добившись свидания с ним и получив его благословение, каждый открывал ему свою душу, просил его молитвы и помощи. Он никому не отказывал, принимал всех в отведенной ему в княжеском доме комнатке, со всеми молился, всех утешал, обнадеживал. И каждый выходил от него с облегченным сердцем, с облегченными телесными страданиями, с надеждой и верой.

Отца Николая стали звать к таким больным, которые сами не могли к нему прийти. Он спешил по первому зову.

Прошла неделя, и казалось, что у него не было ни днем, ни ночью возможности отдохнуть, не было возможности остаться наедине с самим собою. Выходя из спальни старого князя, он знал, что внизу у него уже давно ждет его множество народа. А отпустив этот народ, дав каждому то, чего тот просил, он спешил из дома, сопровождаемый толпою.

Княжеская прислуга, чувствовавшая к нему благоговейную любовь, все более и более волновалась:

"Совсем замучают батюшку, сам он заболеет!.. Шутка сказать, восьмой день, восьмую ночь на ногах, неведомо когда спит, когда кушает..."

Но эти опасения невольно забывались при взгляде на священника. Несмотря на бессонные ночи, на образ жизни, который всякого довел бы до болезни и полного ослабления, отец Николай был неизменно бодр и свеж и производил впечатление человека, только что отдохнувшего, освеженного сном, подкрепленного пищей.

Наконец у него выдался спокойный час, он отпустил всех пришедших к нему, обошел и объездил всех требовавших его присутствия. Он знал, что старый князь теперь мирно спит, а потому прошел к Юрию Кирилловичу, которого не видал в течение двух дней и с которым не успел до сих пор побеседовать так, как бы хотелось.

Юрий еще не возвращался, но он скоро вернется. Так, по крайней мере, сказал себе отец Николай. И вот в ожидании брата и друга своего детства он присел на жесткий диван, прислонился головой к его деревянной спинке и заснул тихо и безмятежно, как засыпают дети.

IX.

Крепок и мирен был сон его, только вдруг среди этого крепкого сна он почувствовал какую-то

тяжесть, открыл глаза и встретился с пристальным, недоумевающим взглядом великого розенкрейцера.

Он поднялся с дивана и улыбнулся опять-таки такой точно улыбкой, какой улыбаются дети, если их застанут заснувшими не в свое время и не на своем месте.

- Вот и ты, князь, - сказал отец Николай, - а я пришел, тебя нет, и я стал дожидаться, да притомился за день, прилег - и заснул. Если я тебе не мешаю, то останусь, благо я нынче свободен.

- Я и вернулся домой скорее, я и спешил, чтобы побыть и побеседовать с тобою, - отвечал Захарьев-Овинов. - Мы почти не видались все эти дни, но я знаю о тебе все, каждый твой шаг. Не ведая усталости, забывая требования человеческой природы, днем и ночью ты молишься с приходящими к тебе и зовущими тебя, ты исцеляешь больных, и я ведь сам был свидетелем тому, что природа, столкнувшись с твоею силою, останавливает свою работу и подчиняется твоей воле... Кто же ты?

Изумление выразилось в светлых глазах отца Николая.

- Как кто я? - сказал он. - Ты знаешь, кто я: я темный и грешный человек, служитель алтаря Господня, напрягающий все свои слабые силы к тому, чтобы служение мое было честно. Я стараюсь исполнять все обязанности моего служения, и Господь иной раз, не по заслугам моим, помогает мне.

Захарьев-Овинов видел, что иного ответа на свой вопрос он не получит, что отец Николай не даст и не может дать себе иного определения.

- Скажи мне, как ты жил, как достиг того, чем теперь владеешь, скажи мне все не таясь, брат мой!

Опять священник как бы с некоторым недоумением взглянул на него.

- У меня ни от кого нет тайностей, - воскликнул он, - а уж перед тобой, князь, перед присным

и кровным моим, зачем же мне таиться? Ты желаешь знать, как я жил? Видимо, жил, как и все живут в моем звании; но я понимаю, что не видимые обстоятельства моей жизни тебя занимают, а духовная, внутренняя жизнь моя... Видишь ли, брат мой, что я скажу тебе: если Господь мне помогает и проявляет через меня, недостойного, свою силу и благость, то это потому, что с отроческих лет моих возлюбил я Его всей моей душою, возлюбил добро и возненавидел зло.

- Добро и зло! - перебил его Захарьев-Овинов.- И ты уверен, что всегда правильно отличал добро от зла, что безошибочно знаешь в чем добро и в чем зло?

Отец Николай отвечал спокойно и уверенно:

- Когда человек живет вдали от Бога, не освящаясь Его светом и не согреваясь Его теплом, то он окружен ночной темнотою и в этой темноте может, конечно, принять зло за добро и добро за зло. Но если он прилепится душою к Богу, то, согретый и освященный Богом, он не может ошибиться. Как бы ни был ограничен его разум, он легко отличает добро от зла. Бог есть любовь, человек же создан Творцом по Его образу и подобию, и цель земной человеческой жизни ради вечного блаженства души должна состоять лишь в том, чтобы усовершенствовать в себе образ Божий и подобие, то есть наполняться любовью...

Захарьев-Овинов ничего нового не услышал в словах этих, - они много раз звучали над ним и в нем, они были так просты и ясны. А между тем ему показалось, будто он слышит их впервые, и вместе с этим что-то смущающее, как бы неясный упрек какой-то прозвучал в них. Отец Николай продолжал:

- Да, брат мой, только понять и почувствовать это - и тогда не будет, не может быть никакой ошибки!.. Дерзай, сознавая все свое ничтожество, уподобляйся Богу!.. Люби своего ближнего - и отдай себя ему на служение. Знай, что в каждое

мгновение твоей жизни ты должен любить не мыслью, а сердцем, не словом, а делом... Давай всем и каждому то добро и благо, какого у тебя просят...

- А если у тебя просят того, чего ты не можешь дать, чего у тебя нет?

При этих словах Захарьева-Овинова глаза отца Николая загорелись каким-то особенным светом. Он поднялся перед великим розенкрейцером во всем блеске своей духовной красоты и силы.

- Если у тебя чего нет! - воскликнул он. - Так проси у Бога, ибо у Бога есть все. Проси с дерзновением, взывай всею душой своей, пока Господь не услышит твоего голоса! И знай, слышишь ли, знай, что тебе непременно дано будет то, чего ты просишь, о чем неустанно взываешь для блага ближнего, ради любви к ближнему! Знай тоже и то, что если в разум твой или в сердце твое закралось хотя малейшее сомнение, если хоть на единый краткий миг ты сказал себе, что Бог может тебя не услышать, что Он может не дать тебе того, чего ты у него просишь, - ты становишься недостоин получить просимое, ты не в силах поднять дары любви и передать его ближнему. И напрасно тогда будешь ты взывать - твой глас замрет, не поднявшись к Престолу Подателя всех благ. Вот и все, вот в чем заключается то, что ты называешь моей силой.

Отец Николай замолк.

- Да, это так, - зазвучал металлический голос розенкрейцера, - дело не в словах... ты развил в себе волю, ты победил в себе материальную природу, и, освобожденный от уз ее, ты умеешь хотеть, а потому твое хотение исполняется. Да, я приветствую тебя, вдвойне брат мой! Хоть разными путями, но мы стремимся к одной цели - и достигаем ее...

- Погоди, - спокойно и решительно перебил его отец Николай, - ты говоришь, что мы стремимся к одной цели разными путями. К моей цели ведет

только один путь, тот путь, о котором я сказал... другого пути нет и быть не может. Брат мой, страшусь, что ты находишься в заблуждении. Если б ты верным путем шел к единой святой цели, ты был бы счастлив и блажен, а я уже говорил тебе, что ты несчастлив, а в сей час ты еще несчастнее, чем когда-либо. Юрий, открой мне свою душу, ведь я здесь, перед тобою, затем, чтобы помочь тебе - не своею, а Божьею силой.

Он устремил свой светлый взгляд в глаза Захарьева-Овинова.

- Юрий, скажи мне, веришь ли ты в Бога?

И при этом слове он невольно содрогнулся сам, испугавшись своего вопроса.

Захарьев-Овинов ответил:

- Верю, только не так, как веришь ты. И моя вера даже не позволяет мне говорить о Боге, ибо как могу я говорить и судить о Непостижимом?

Отец Николай побледнел. Он хотел возразить - и не мог, хотел попросить - и не был в состоянии сделать вопроса, даже мгновенно забыл о своем вопросе. На него в первый раз в жизни действовала какая-то неведомая ему сила. То не была сила зла, ибо со злыми влияниями он давно умел бороться и умел распознавать их. Тут же он не знал с чем и как бороться. Он поддался неведомой силе. Но ведь он не мог не исполнить того, зачем пришел сюда.

- Теперь и ты расскажи мне, как ты жил, - спросил он брата, и розенкрейцер в свою очередь поддался его силе и без сопротивления передал ему в общих чертах рассказ о своей внутренней жизни, о своей борьбе, о своих работах, о той великой науке, которую он изучал и изучил...

Отец Николай слушал внимательно; многое для него было непонятно в рассказе брата, но с каждой минутой выражение его лица становилось тревожнее и тревожнее.

- Я человек мало ученый, - наконец сказал он, - и та премудрость, о которой ты говоришь, для

меня темна... Не знаю, так ли я тебя понял: твоя наука должна была научить тебя творить чудеса. Скажи мне, пробовал ли ты облегчить страдания твоего родителя, пробовал ли исцелить его?

- Да, пробовал! - с невольной тоскою в душе ответил Захарьев-Овинов.

- Пробовал и не мог... а всякий темный и неученый человек с Божьей помощью, с верой и любовью может исполнить то, чего ты не в силах был исполнить.

И вдруг как бы внутренний свет озарил его, теперь он все понял.

- Так вот отчего ты так несчастлив!.. Ты живешь без любви, ты живешь без Бога!

X.

Захарьев-Овинов ничего не возразил на слова эти. Он сидел неподвижно; ни одна черта его как бы застывшего лица не дрогнула; прекрасные и холодные глаза глядели прямо в глаза священника. Этот взгляд, полной притягательной силы и власти, смутил бы всякого своей загадочностью, чем-то особенным, неизъяснимым, что в нем заключалось. Самый смелый и самоуверенный человек вряд ли бы его вынес.

Между тем отец Николай не только не смутился, но даже все пристальнее, все глубже всматривался в глаза брата и, казалось, начинал все яснее читать в них братнюю душу.

Сам он преображался с каждым мгновением. Простые и добрые черты его лица озарялись теперь высоким вдохновением, и в то же время в них разлита была большая скорбь и жалость.

- Да, Юрий, - повторил он с непоколебимой уверенностью. - Ты живешь без любви, а стало быть, без Бога! Ты ходишь в непроглядной, погибельной темноте и обуянный себялюбием и гордостью мнишь, что поднялся на светлую высоту...

Но то, что ты принимаешь за свет, не есть свет истины, ибо истинный свет и освещает, и согревает, а тебе холодно... Твой свет только слепит и повергает в холод вечного мрака и отчаяния... И ты уже ослеплен!.. Но милосердие Божие безгранично - ты можешь прозреть снова!..

Захарьев-Овинов положил свою холодную, бестрепетную руку на плечо священника.

- Остановись, Николай! - сказал он спокойным, как-то чересчур спокойным голосом. - Не предавайся чувству, ибо чувство весьма часто бывает склонно к заблуждению и мешает правильной работе разума... Не предавайся преждевременным сожалениям и не обрекай меня на погибель... Ложный свет, конечно, только ослепляет и губит, но разберем спокойно - ложен ли тот свет, к которому я стремился всю жизнь и который меня теперь окружает. Если я пришел к погибели - значит, шел неверным путем. А между тем путь мой был единственным путем спасения. Для того чтобы возвысить и очистить свою душу, человек должен как можно выше подняться над грубой материей, победить все страсти, вожделения, телесные потребности, уничтожить, вырвать с корнем из своего сердца злобу, зависть... Ведь все это и есть именно то, что было совершено людьми, которых ты признаешь святыми, приблизившись к Богу, ставшими наследниками вечного блаженства... Или это не так?

- Нет, это так! - сказал отец Николай с глубокой печалью в голосе.

- А если это так - мой путь был путем правым. Я победил в себе грубую материю, возвысился над нею. Если я говорю тебе это - ты должен мне верить. Я овладел своим телом - и оно мне послушно. Ничем земным нельзя соблазнить меня. Я не знаю, что такое злоба, месть, зависть...

- О, Боже! - воскликнул отец Николай. - Да лучше почувствуй злобу, месть и зависть! Ты будешь тогда ближе к спасению!

Захарьев-Овинов слабо улыбнулся.

- Но ведь я не только не злобствую и не завидую, а всему миру, всем людям желаю добра и блага...

- Желаешь добра и блага! - и голос священника дрогнул слабой надеждой, когда он говорил это. - Скажи мне, Юрий, как ты желаешь, что делаешь для добра и блага своих ближних?

- Что могу...

- Да, я знаю... еще у нас в деревне знал я, что ты подумал о бедном крестьянстве... знаю все твои распоряжения... Ты приказал управляющим и приказчикам быть милостивыми с народом, не взыскивать с бедных недоимок... Все я знаю... Но скажи мне, страдаешь ли ты страданиями твоих ближних, плачешь ли о них, думаешь ли о них непрестанно, отдаешь ли им жизнь свою, свою плоть и кровь, свою силу?

Захарьев-Овинов покачал головою.

- Ты снова поддаешься чувству и сам себе противоречишь, - сказал он, - если высшее благо человека, с чем ты согласен, состоит в уничтожении материи и освобождении духа, если материя - зло, а земная жизнь - лишь миг перед вечностью, лишь кратковременная темница духа, если земные беды - одно ничтожество, то как же я могу страдать и плакать от того, что людям, быть может, холодно и голодно? Ведь я хорошо знаю, что телесный холод и голод - ничто, вовсе не беда, не горе, а спасение... Я понимаю, что люди, не зная истины, могут поддаваться земным страданиям и сильно их чувствовать, но, зная как посредством этих страданий и только ими душа человеческая развивается и приближается к совершенству, именно любя людей, не должен страдать с ними, а только радоваться, глядя на мудрую и неизбежную работу совершенствования души...

Отец Николай с ужасом всплеснул руками.

- Боже мой! - воскликнул он. - Так вот до чего довела тебя твоя мудрость! Ты мнил достиг-

нуть света, а ныне окутан беспросветной темнотою... За великую твою гордость у тебя отнимается разум. Твоя мудрость вместо того, чтобы просветить и согреть твое сердце, иссушила его, превратила в камень! Ты мог служить Богу, а служишь духу зла! Ты можешь знать все тайны, недоступные другим людям, можешь читать в прошедшем и будущем, но к чему тебе все эти знания, когда ты не знаешь единственного, что потребно душе твоей и при чем твои знания могли бы принести драгоценный плод?.. Ты можешь переставлять горы, но к чему тебе это, когда ты одинок и мир представляется тебе пустыней?.. Для кого и для чего ты будешь переставлять горы?.. Для своей забавы?.. Ты жил, и работал, и боролся... много в тебе сил... но вся жизнь твоя - пустоцвет, ибо ты не осушил ни одной слезы, не сделал счастливым ни одного Божьего создания... Вокруг тебя мрак и холод... и только несчастье можешь ты принести с собою... На тебе проклятие - ты сам несчастлив, и несчастлив всякий, кто близок к тебе, кто тебя любит!.. Но Господь поможет мне снять с тебя это проклятие!..

Отец Николай порывисто положил руки на плечи Захарьева-Овинова, и в первый раз в жизни человеческое прикосновение заставило содрогнуться великого розенкрейцера. В первый раз в жизни он испытывал странное, непонятное ощущение: неведомая сила действовала на него, охватывая его каким-то теплым туманом и в то же время обессиливая его. Он оставался неподвижен, с опущенными глазами и забывал действительность. Только каждое слово священника повторялось в нем, входило в него как нечто имеющее над ним власть и неизбежное. И теперь у него не было никакого желания оправдываться и возражать, у него было одно только желание - слушать. Зачем же этот негодующий и страдающий, полный силы и боли голос вдруг замер?.. Но вот он слышит снова:

- Раньше или позже ты должен прозреть и спастись. Ты должен отойти навсегда от гордости, от самопоклонения и смиренно, с верой, надеждой и любовью принести все дары свои Тому, кто один может указать тебе истинный свет и спасение... Раньше или позже ты повергнешься во прах, сознав все свое ничтожество, и душа твоя скажет: Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим!.. А теперь я оставлю тебя; но не покину и буду непрестанно о тебе молиться...

Проговорив это, отец Николай осенил Захарьева-Овинова крестным знамением и быстро вышел из комнаты.

Прошло несколько минут, а великий розенкрейцер оставался неподвижным. Наконец он поднял голову и движением руки как бы отогнал от себя туман, на него наплывший. Глаза его блеснули глубоким огнем, и никогда еще прекрасное лицо его не выражало столько гордости, столько безжалостного презрения.

"Видно, трудна была моя последняя борьба, - думал он, - если я так ослабел, если слова брата так смутили меня и показались мне новыми... Как будто я не знал всего этого прежде... Как будто этот соблазн уже не являлся и уже не побежден мною!.. Любовь!.. Какая любовь?.. От этой любви недалеко до слабости, до падения..."

Но одна мысль стояла перед ним.

"Он говорит, что я несчастлив!.. Я не могу быть несчастливым, не могу... Я достиг всего!.." А между тем он чувствовал свое несчастье и вместе с этим знал, что брат его Николай - счастлив...

Он выдвинул один из ящиков своего стола, вынул оттуда небольшую склянку с какой-то темной жидкостью и проглотил несколько капель. Его голова медленно склонилась на спинку кресла, в котором он сидел, и он заснул крепким сном, без грез и без сновидений.

XI.

Граф Феникс добился своего. Он внезапно сделался самым модным, самым известным человеком в Петербурге. Всюду, начиная с придворных сфер и кончая самыми низшими слоями населения, шли толки об удивительном иностранце.

Молва, с необыкновенной быстротой облетавшая город, преувеличивала действительность и придавала деятельности графа Феникса окончательно фантастический характер. О нем говорилось уже как о сверхъестественном существе, для которого нет ровно ничего невозможного. Для многих он являлся чудотворцем, добрым гением человечества. Он не только исцеляет всевозможные болезни, немых заставляет говорить, хромых - ходить, слепых - видеть, умалишенным возвращает рассудок, но может даже воскресить мертвого, лишь бы тот не успел еще совершенно застыть. Его одновременно видели во многих местах. Он обладает способностью становиться невидимым и в одно мгновение переноситься через какое угодно пространство. При этом у него столько золота, что он мог бы им вымостить все улицы Петербурга. И он щедр: стоит обратиться к нему с просьбою - и он засыплет деньгами.

В бедных домиках теперь можно было подслушать такие разговоры:

- Вот пойду завтра к итальянскому графу - и конец всем нашим бедствиям, выручит он нас, озолотит...

И действительно, к нему ходили за деньгами, и с каждым днем у сомоновского дома собиралось столько народу, что уже должна была вмешиваться полиция и разгонять толпу.

Однако далеко не все признавали графа Феникса благодетелем человечества; весьма многие, никогда его не видав и не имея о нем понятия, чувствовали к нему ненависть и ужас.

- Какой там чудотворец, какой благодетель! - просто еретик, колдун, действует он дьявольской

силою и всякий, кто к нему обращается, всякий, до кого он коснется, погибает. Он и приехал только для того, чтобы губить православные души. Может, болезни какие и вылечит на недолгое время, а душу-то и погубит! Едва коснулся человека - и на человеке том уже клеймо дьявольское...

Наконец немало было людей, смотревших на приезжего иностранца просто как на обманщика, шарлатана, морочащего легковерных, отводящего глаза. В особенности все петербургские медики били тревогу.

Но как бы там ни было, о графе Фениксе говорили все, и защитников у него было более, чем врагов, и защитниками его являлись люди сильные. Египетская ложа Изиды разрасталась не по дням, а по часам. Ежедневно в нее прибывали новые члены.

Если до последнего времени Великий Копт только сыпал деньгами и упорно отказывался от всяких подарков и благодарностей своих состоятельных пациентов, теперь египетская ложа давала ему возможность принимать от членов ее богатые взносы. Эти взносы являлись как раз вовремя, так как крупные суммы, привезенные с собою, истощились, а делать золото посредством философского камня, очевидно, было еще некогда.

Граф Феникс решил, что настало самое удобное время извлечь всю материальную выгоду из князя Щенятева. Этот несносный ученик теперь достиг всех своих целей и желаний. После вчерашнего вечера он более чем когда-нибудь, находится в руках учителя - стоит намекнуть ему, что достигнутое им счастье может быть мимолетным, может пройти, как светлый сон, что сам он еще не в силах укрепить за собою свое счастье и без помощи учителя не обойдется. Прямо просить у него денег на ложу Изиды Калиостро не хотел... но он сам наконец должен предложить - и предложить сегодня...

Князь Щенятев только что вернулся с какого-то холостого обеда, во время которого окончательно

забыл свое недавнее воздержание, особенно по части вин. Ему доложили о приезде графа Феникса. Он встретил своего учителя достаточно любезно, но граф Феникс при первом же на него взгляде пришел в большое изумление. Он увидел и почувствовал, что перед ним как бы совсем новый человек, не имеющий ровно ничего общего с тем князем Щенятёвым, которого он оставил вчера в гостиной графини Зонненфельд. В чем заключалась эта перемена - сразу сообразить было трудно, но она была необыкновенна.

Затем произошел следующий разговор:

- Князь, я заехал к вам вот по какому делу: наверно, вы будете у графини, если не сегодня, то завтра. Скажите ей, что она должна как можно скорее повидаться с моей женою, так как открытие женской ложи последует в самом непродолжительном времени.

Щенятев с изумлением посмотрел на графа Феникса. Вообще ему на этот раз было очень не по себе в присутствии учителя, хотелось как можно скорее освободиться от него и отдохнуть. Он бессознательно чувствовал почти злобу и отвращение к этому человеку, а главное ко всему таинственному миру, которого граф Феникс являлся представителем... Зачем он приехал?..

- Про какую графиню вы говорите? - спросил он.

- Как про какую? - не веря своим ушам, воскликнул Калиостро. - Разумеется, про графиню Зонненфельд!

- Я вряд ли увижу ее сегодня и завтра. Очень может быть, что долго не встречусь с нею - она совсем не выезжает, а к ней ехать мне неохота, так как вовсе неприятно выслушивать у дверей: "Графиня никого не принимает..."

Даже кровь ударила в лицо Калиостро. К чему такая глупая и неожиданная комедия! А между тем самодовольное, пылавшее лицо Щенятева с его красным маленьким носом и любопытными, бегав-

шими глазками, подернутыми теперь влагой и несколько воспаленными, не выражало ни малейшего признака смущения. Если кому стало неловко, так это Калиостро. Он почувствовал себя в глупом положении и, несмотря на всю свою находчивость, даже не знал, как из него выйти. Наконец он проговорил:

- Ну да, я понимаю ваши чувства... и одобряю... но ведь передо мной-то надевать эту маску вам нельзя, так как если вы не могли вчера обойтись без моей помощи, то не обойдетесь без нее и завтра... Вы убедитесь, что недостаточно взять клад - надо уметь удержать его.

Глаза Щенятева широко раскрылись.

- Граф, - сказал он, - вы говорите такими загадками, каких я не понимаю.

Калиостро побледнел, и сердце его закипело. Он решительно не был приготовлен ни к чему подобному, и этот безобразный, смешной князь, которого он презирал и который теперь вот просто издевался над ним, выводил его из всякого терпения.

- Как! - воскликнул он, забывая все и отдаваясь своему гневу. - Как! Вы находите возможным говорить со мною таким тоном... Что ж, вы хотите смеяться надо мною? Вы клялись быть мне послушным... уверяли меня в своей преданности, толковали о вечной благодарности... и вот, когда я сделал для вас то, что вы называли величайшим благодеянием, когда я доставил вам все счастие, к которому вы безнадежно стремились и которого никогда не достигли бы без моей помощи, когда, одним словом, вам кажется, что можно без меня обойтись, - вы делаете вид, что ничего не понимаете!.. Вот это благородно!.. Теперь я буду знать, на что способны русские дворяне!..

Щенятев не понимал, о чем толкует Калиостро, не понимал его намеков; но последние слова итальянца заставили его вздрогнуть.

Если бы все это происходило до обеда, а не после двух-трех бутылок старого вина, огонь ко-

торых все еще разливался по жилам, Щенятев, наверное, смутился бы при виде бешенства Великого Копта. Ведь он знал его силу и, подобно многим, трепетал перед ним.

Но теперь, услышав и поняв оскорбление, ему нанесенное, он внезапно забыл, кто оскорбил его. Он забыл, что этот человек может мановением руки превратить его в камень, может наполнить всю комнату выходцами из могил, да и мало ли еще что он может. Теперь он был храбр, не боялся никого и ничего, даже забыл совсем и про выходцев из могил, и про всю каббалистику, над которой проводил в последнее время дни и ночи.

Он поднялся и несколько неровной поступью подошел в упор к Калиостро.

- Повторите, что вы сказали! - стиснув зубы, прошептал он.

Но ведь и Великий Копт ничего не понимал, отуманенный своим гневом, не видал, в каком состоянии находился Щенятев. Он тоже встал и жестикулировал, сверкая глазами.

- А! Вы не слыхали того, что я сказал!.. Вы хотите, чтобы я повторил... Я говорю, что знаю теперь, на что способны русские дворяне... они способны...

Но он не договорил, оглушенный полновесной, звонкой пощечиной, заставившей его пошатнуться. Искры посыпались у него из глаз - и несколько мгновений он не в состоянии был сообразить и понять, что такое случилось.

Между тем эта пощечина, неожиданная и для самого Щенятева, сразу его отрезвила. А отрезвясь, он пришел в ужас от того, что сделал. Он испуганно взглянул на окаменевшего Калиостро, и как-то пятясь, но очень спешно выскользнул из комнаты и запер за собою двери.

Наконец очнулся и Калиостро. Огляделся - никого нет. Он схватился руками за голову. Губы его шептали страшные проклятия. Он, видимо, соображал что-то, решался... Но вдруг, подняв с полу

свою шляпу, он быстрыми шагами направился не за исчезнувшим во внутренних комнатах хозяином, а к выходу...

XII.

Мрачнее ночи приехал к себе Калиостро. Он не разбирал того, что с ним случилось, и даже просто не думал о человеке, нанесшем ему такое оскорбление. Он инстинктивно чувствовал, что Щенятев во всем этом почти не причем, что он только орудие. Ужасна была возможность случившегося, и эта возможность являлась для Калиостро страшным предзнаменованием, самым зловещим призраком.

Он понимал и чувствовал, что до полученного им оскорбления было одно, а теперь, внезапно, стало совсем иное, что он теперь находится среди новых, враждебных ему влияний, что недавно еще, всего за час какой-нибудь торжествующий, сознававший всю силу и удачу, он сразу превратился в человека, стоящего перед бездною, в которую его уже начинает тянуть.

Что же такое случилось? Откуда вдруг взялись все эти враждебные силы? Откуда эта его собственная слабость, выразившаяся в том, что он потерял власть над собою, поддался гневу, когда надо было оставаться холодным и спокойным?.. Он еще не видел врага, не понимал в чем именно надвигавшаяся беда, но своими чуткими нервами ощущал близость грозы, близость опасности...

Он был бледен, как полотно, и рука его заметно дрожала, когда он отпирал дверь в свою рабочую комнату. Внезапная мысль мелькнула в нем:

"Верно, ждет меня новое предостережение!"

И он затрепетал, внутренне решая, что на этот раз нельзя будет пренебречь предостережением.

Он вошел. Комната была освещена канделябрами, и в кресле у большого стола сидел кто-то. Он

сделал несколько шагов и остановился, поддаваясь охватившему его ужасу.

В кресле сидел Захарьев-Овинов и спокойно, холодными и пронзительными глазами, смотрел на вошедшего.

Прошло несколько мгновений, прежде чем Калиостро справился со своим волнением и подошел к нежданному гостю.

- Князь, - сказал он, изо всех сил стараясь придать своему голосу спокойствие, - кто это провел вас сюда?.. Я здесь никого не принимаю... и чем я могу служить вам?

Захарьев-Овинов привстал с кресла, поклонился, затем сел снова и ответил по-итальянски:

- Мне надо говорить с вами, и если я здесь, у вас, в этой комнате, где вы никого не принимаете и где нам никто не помешает, значит, наш разговор будет серьезен. Пожалуйста, сядьте и слушайте меня внимательно, не перебивая.

Снова бешенство как и во время разговора с Щенятевым поднялось в груди Калиостро, но это бешенство победил какой-то панический страх. И вместо того чтобы насмешливо ответить на странный тон и странные слова неожиданного гостя, Великий Копт послушно сел в кресло против него и даже не решился поднять своих глаз, боясь этого холодного и страшного взгляда.

Захарьев-Овинов начал:

- Помните, я был в числе ваших слушателей, когда вы рассказывали темную историю вашей юности и подробности посвящений, будто бы полученных вами в глубине пирамид. Вы рассказывали сказку или, вернее, истину, которой уже более двух тысяч лет и действующим лицом которой вы не могли быть. Я знаю, что в Египте вы кое-чему научились, но, во всяком случае, не в подземельях пирамид, где теперь все мертво и тихо и где давным-давно стерты следы древних испытаний... Не египетские иерофанты посвящали вас, а немецкие масоны...

Между тем Калиостро вдруг нашел в себе свою прежнюю силу и смелость. Он решился поднять глаза на Захарьева-Овинова и выдержал его взгляд. Даже насмешливая улыбка скользнула на губах его.

- В числе моих учителей-масонов вас не было,- проговорил он, - во всяком случае я вижу, что имею дело с масоном... вы знали меня до моего приезда в Петербург... вы почему-то враждебно ко мне относитесь, но из этого еще не следует, что я должен выслушивать все, что вам угодно говорить мне - и притом... таким наставительным тоном...

- А между тем вы будете слушать все, что я нахожу нужным сказать вам...

Калиостро почувствовал в себе приток той магнетической силы, которая столько раз при напряжении его воли производила удивительные действия. Сколько раз с помощью воли и этой силы он заставлял людей исполнять его мысленные приказания, замолкать перед ним...

Все существо его напряглось теперь в одном порывистом, могучем желании, чтобы человек, бывший перед ним и, очевидно, ему сильно враждебный, ослабел и ушел. Этот порыв был действительно очень силен, и Захарьев-Овинов болезненно ощутил его в себе. Но в тот же миг сам Калиостро почувствовал утомление и понял, что его сила пропала даром. Незванный гость оставался спокойным, и его металлический голос говорил:

- Напрасно пытаетесь вы бороться со мною... мы только теряем время... Да, я давно вас знаю, хоть и не был в числе учителей ваших, хотя я и вовсе не масон, как вы предполагаете...

Но Калиостро не сдавался.

- Так, значит, вы здесь для того, чтобы следить за мною, - воскликнул он, - вы принадлежите к какому-нибудь тайному обществу... Но вы взялись за поручение, которое трудно исполнить... Ведь и я тоже послан, ведь и я исполняю важное поручение... и я имею достаточно средств для защиты...

Захарьев-Овинов усмехнулся такой холодной и презрительной усмешкой, что Великому Копту стало очень неловко и он едва снова не поддался паническому страху.

- Не говорите мне о поручении, вам данном, - сказал Захарьев-Овинов, - вы сами придумали это поручение, вы сумели заставить несколько богатых лож служить вашим личным целям и доставлять вам денежные средства. Но вы обманули доверчивых людей - и только. Если бы вы остались только масоном, каким были три года тому назад, я не явился бы к вам, не говорил бы с вами. Но вы посвященный розенкрейцер, вы оказались недостойным полученного вами посвящения - и я говорю с вами только как с недостойным, преступным розенкрейцером... Понимаете ли вы меня, Джузеппе Бальзамо?

При этом имени Калиостро вздрогнул, нервно схватился за ручку кресла и несколько мгновений оставался неподвижным. Он начинал понимать, что дело очень серьезно, а главное, он с каждой минутой все более и более чувствовал это.

Его ощущения, не могшие обмануть, доказывали ему, что перед ним человек, действительно облеченный большою силою и властью. Размеров его силы и власти он еще не мог определить, но знал, что во всяком случае с этим смелым и сильным человеком надо считаться. Но он ведь сам был смел и силен, он быстро справлялся с неожиданностью и решил бороться. Он опять поднял глаза на Захарьева-Овинова, опять выдержал его взгляд и сказал:

- Вы знаете забытое имя, на которое я не отзываюсь... Знаете, что три года тому назад я стал розенкрейцером... я ощутил на себе вашу силу - и не могу не признать ее... Я вижу в вас розенкрейцера, и вы здесь самовольно или по поручению для того, чтобы покарать меня... Но смотрите на меня и убеждайтесь, что я не боюсь

кары, что я готов защищать себя от ваших обвинений. В чем же именно мое преступление?

XIII.

Захарьев-Овинов должен был внутри себя сознаться, что тот, кого он назвал Джузеппе Бальзамо, теперь не лжет и не хвастает, что он действительно осилил свой страх и приготовился к защите. Но ему даже приятна была такая смелость, потому что он глубоко презирал всякую слабость и трусость. Даже что-то похожее на симпатию к этому вызывающе глядевшему на него человеку скользнуло у него в сердце.

- Преступление ваше, - сказал он, - заключается в том, что вы сознательно нарушили все обязанности истинного розенкрейцера, что вместо того, чтобы служить общей великой цели и развивать в себе великие способности духа, вы воспользовались всеми вашими знаниями и полученными вами откровениями для достижения не только земных целей, но и целей корыстных... Вы убиваете в себе дух и становитесь рабом плоти, служа силам разрушения...

- Брат, остановитесь! - горячо перебил Калиостро! - Если бы я кому-либо и при каких бы то ни было обстоятельствах выдал тайну великого общества, к которому мы принадлежим, если бы даже слово "розенкрейцер" сорвалось с уст моих, вы имели бы право обвинять и карать меня... Но в этом я неповинен... тайну моей принадлежности к обществу я храню свято... Что же касается выраженных вами обвинений, то это уже дело моей совести! Если я недостоин своего посвящения, если я унижаю мой дух и служу моей плоти - это мое дело... В подобных преступлениях мы, братья, не имеем права обвинять друг друга... Для того чтобы судить меня, вы, по крайней мере, должны мне представить ваши полномочия от моего

учителя, которому я обязан подчиняться... Где же ваши полномочия? Назовите мне имя моего учителя!

Захарьев-Овинов медленно поднялся с кресла.

- Имя твоего учителя... его розенкрейцерское имя: Albus... Полномочия мне не нужны... Я здесь не для того, чтобы сурово карать тебя, а для того, чтобы, скорбя о погибели твоей души, остановить тебя от падения, если это еще возможно... А потому я больше не скрываюсь перед тобою...

И с этим словом быстрым движением он расстегнул свой камзол и обнажил часть груди, на которой ослепительно сверкнул прямо в глаза Калиостро знак предпоследнего великого посвящения Креста-Розы.

Калиостро приподнялся и будто замер, не отрываясь своими широко раскрывшимися глазами от этого чудного знака.

Неожиданность была велика, и невольный трепет пробегал по жилам Великого Копта. Он посягал на многое и в глубине души относился скептично и даже с отрицанием ко многому из того, перед чем благоговели его братья-розенкрейцеры. Но несмотря на всю свою дерзновенность, часто соединявшуюся с легкомыслием, он все же был мистик, все же был адепт тайных наук - и знал то, что знал.

И он знал, что этого чудного знака, сиявшего особенным, таинственным светом, затмевающим блеск самых чистейших бриллиантов, светом самостоятельным, озаряющим ночную темноту, нельзя подделать. Он знал, что человек, способный постигнуть тайну этого света, сосредоточить его и бестрепетно носить на груди своей, - есть никто иной, как могучий победитель природы, перед которым склоняются великие учителя-розенкрейцеры. Доселе он никогда не видал этого человека, даже не было ему открыто его имя, но он знал о его существовании и не раз в минуты мечтаний представлял себя на его месте...

Так вот когда и где пришлось им встретиться! Так вот какая сила следила за ним!.. Туман, нередко заставлявший его в последнее время плохо видеть и понимать, тот самый туман, производимый чужою, могучей волей, который не дал ему произнести имени человека, оставившего здесь, на этом столе, предостережение, - теперь разъяснялся. Могучий человек перестал скрываться, он был перед ним во всеоружии своей тайной, мистической власти, и чудный свет сиял на груди его... Всякая борьба должна прекратиться, так как борьба с носителем света в знак Креста-Розы - безумие...

Калиостро вышел из своего оцепенения. Он быстро отбросил от себя кресло, шагнул к великому розенкрейцеру и склонился перед ним. Движение это было искренно и невольно. Лицо Калиостро и вся его фигура выражала смирение, покорность, благоговейный трепет.

Захарьев-Овинов слегка коснулся рукою его плеча, и в тишине комнаты властный и холодный голос великого розенкрейцера произнес:

- Встань.

В это время шевельнулся занавес, скрывавший дверь в соседнюю комнату. То была Лоренца. Она неслышно отперла дверь в тот самый миг, когда блеск знака Креста-Розы поразил Калиостро. Но лица Захарьева-Овинова она не могла видеть, а потому не могла видеть и чудного знака. Она заметила только движение своего мужа, его трепет, волнение... Она только видела через мгновение потом своего Джузеппе, гордого и могучего Джузеппе, у ног таинственного человека. Она почти не узнала мужа - таким он представился ей жалким, приниженным... А этот был велик и могуч и повелительно, как господин рабу, сказал: "Встань!" Лоренца слабо вскрикнула и скрылась.

Ни Захарьев-Овинов, ни Калиостро не обратили внимание на ее присутствие, не расслышали слабого звука ее голоса - они были совсем в иной сфере.

Калиостро провел рукою по своему горевшему лбу. Теперь он сразу стал как бы новым человеком, и в этом человеке уже никак нельзя было узнать великолепного графа Феникса, самоуверенного и полного сознанием своего превосходства надо всеми. Но в то же время в нем уже не замечалось страха неизвестности, не замечалось никакой приниженности - прикосновение великого розенкрейцера подействовало на него успокоительно. Он безо всякого дурного чувства и с полным доверием взглянул в глаза Захарьева-Овинова.

- Светоносный наставник! - дрогнувшим голосом и в то же время торжественно сказал он. - Жду твоего суда и покоряюсь твоей власти.

- Я уже сказал тебе твои преступления, - ответил Захарьев-Овинов, - они очень тяжки и чем же ты можешь оправдать их?! Ты уже несешь за них наказание. Ты сам хорошо знаешь, что со времени посвящения, вот уже три года, ты не приобрел ничего, твои богатые силы не только не получили дальнейшего развития, но и значительно ослабели... В тебе заключались прекрасные задатки духовной мощи, ты один из тех избранных, кому при рождении дается великое сокровище и чья свободная воля может или сохранить и приумножить это сокровище, или расточить его и уничтожить... Как такого избранника мы приняли тебя в среду нашу, но только после данного тобою обета стать новым человеком, искупить заблуждения и зло твоей молодости и неустанно идти по пути спасения... Подумай, какое жалкое, преступное прошлое было у Джузеппе Бальзамо и какая работа духа требовалась от тебя, чтобы Джузеппе Бальзамо действительно исчез и созрел истинный Калиостро!.. Ты был так искренен в своем раскаянии, но не прошло и нескольких месяцев - ты обманул и нас, и себя... Ты предаешься всем земным страстям, ты весь охвачен материей... Тебе надо золота, поклонения слепцов - и для достижения этого ты не останавливаешься ни перед

какою ложью, ни перед каким обманом, ты морочишь людей, рассказываешь им сказки, издеваешься над ними... Ты создаешь зловонную грязь и сам в ней купаешься... Или я не прав? Или не след этой зловонной, умерщвленной грязи я вижу на лице твоем, опозоренном ударом пьяного глупца, которому вчера ты преступно отдавал живую человеческую душу!.. Ведь если бы я не остановил этого гнусного твоего действия - теперь на тебе лежала бы новая ответственность за величайшее злодейство!..

Калиостро побледнел и опустил голову.

- Твои обвинения справедливы, - прошептал он, - но так как ты знаешь все, зачем же ты видишь во мне только мрак и не видишь никакого света?.. Ведь ты знаешь, что свет озаряет мрак и его изменяет...

- Покажи мне свет твой, - сказал Захарьев-Овинов, - представь мне все, что может служить к твоему оправданию.

Глаза Калиостро загорелись внезапным одушевлением.

- Да, я скажу все, - воскликнул он, - но прежде всего я, недостойный, преступный розенкрейцер, осмеливаюсь спросить тебя, великого светоносца: счастлив ли ты в своем величии?

И он ждал ответа, и только его волнение помешало ему подметить трепет в голосе Захарьева-Овинова, ответившего ему:

- Конечно, счастлив...

- Ты счастлив, а я не мог бы найти никакого счастия даже на твоей высоте, если бы мне нельзя было время от времени спускаться на землю и погружаться в ее волнения и радости, в ее зло и добро, в ее любовь и ненависть... Только смешение всего этого может произвести то семя, из которого зарождается порою мгновение истинного, горячего счастья!.. Я понял это и, поняв, отказался от той высоты, где мне было бы невыносимо холодно... Счастье! Я всю жизнь его жаждал и к нему

стремился!.. Ведь оно - единственная сладость жизни, и оно так чудно, что не может быть преступным!..

- И ты не заблуждаешься? Ты действительно можешь сказать, что хоть когда-нибудь испытал его? - пытливо смотря в глаза Калиостро, спросил Захарьев-Овинов.

- Да, я его испытал! - убежденно и восторженно воскликнул Калиостро. - Конечно, счастье такая редкость, такое сокровище, что надо искать его долго и ничего не жалеть для этих поисков... Но я все же находил и нахожу его... Поклонение, трепет и восторг толпы, роскошь и гармония красоты, страстные ласки жены, которую я люблю всею кровью моего сердца, благословения и радость бедных, щедро наделяемых мною и вырываемых из нищеты, блаженные улыбки матери, сына которой я излечил от тяжкой болезни, - все это приносит мне счастье... И для этого счастья я готов на все... Я все отдаю ему... Казни же меня, великий светоносец, за мое счастье!..

Калиостро поднялся весь пылающий, объятый вдохновением. Он забыл все, посягал на все, ничего не страшился.

Лицо великого розенкрейцера дышало холодом и безнадежной строгостью.

- Я казнить тебя не стану, несчастный, неизлечимый безумец, - медленно произнес он, - ты сам будешь своим палачом... Я предоставлю тебя твоей судьбе, ибо в своем опьянении ты понять меня не можешь... Но ты носишь доселе наименование розенкрейцера, и я не могу допустить, чтобы ты устраивал здесь свое обманное египетское масонство... Я приказываю тебе немедленно прекратить твою деятельность, уничтожить основанную тобою ложу Изиды и затем покинуть Россию. Я тебе приказываю это - и жду повиновения!..

Воодушевление Калиостро мгновенно исчезло. Снова панический страх, снова трепет пробежали

по его членам. Его взгляд померк, мертвенная бледность покрыла лицо его. Он не мог произнести ни слова и только, как в тумане, видел неумолимый, беспощадный взгляд великого розенкрейцера. Затем видел он, как его судья удалился, или, вернее, исчез. И не знал он, что этот бестрепетный судья, этот великий светоносец, удаляясь, думал:

"И он счастлив!.. и Николай! Что общего?.. А между тем они, пожалуй, и поняли бы друг друга... Николай простил бы его... за любовь!.. Но я простить не могу... да и не в прощении дело..."

XIV.

Прошло два дня, а Калиостро, по-видимому, вовсе не думал об исполнении приказания, данного ему великим розенкрейцером. Он имел в эти два дня совещание с графом Сомоновым и Елагиным, назначил второе собрание ложи Изиды, принимал больных, раздавал бедным деньги. Он даже казался особенно оживленным и довольным, уверенным в себе, и ровно ничего не указывало на близость его отъезда из России. Об отъезде не было и речи...

Калиостро принадлежал к числу людей, жизнь и деятельность которых никак не может уложиться в правильно ограниченные, хотя бы и самые просторные рамки. Его разносторонняя и замечательно способная природа, кипучая и чуткая, представляющая собою смесь самых поразительных противоречий, неизбежно должна была кинуть его в постоянную борьбу. Эта борьба была его стихией - без нее он не мог жить.

Волна жизни с одинаковой быстротой и неожиданностью то возносила его вверх, то опускала вниз. И по мере того как шли годы, как расширялась его деятельность, эти порывы жизненной волны становились все сильнее. Он возносился все выше и падал все глубже, и так

должно было продолжаться до тех пор, пока падение его не станет настолько глубоким, что он уже не в силах будет вынырнуть из поглотившей его бездны.

Он мог падать духом, испытывать страх, подчиняться чужой воле, признавать над собою власть - но все это длилось лишь мгновение. Миг проходил - и он ободрялся снова, забывал страх и признавал над собою единственную власть, власть той тайной силы, которая жила и кипела в нем и заставляла его стремиться все вперед, за всеми благами, какие только может дать жизнь.

Его чувство и мысль были постоянно в движении и постоянно менялись. Он поддавался всем впечатлениям и быстро от них освобождался. Все, что случилось с ним так нежданно для него, а главное - появление великого розенкрейцера, его глубоко поразило. Услыша свой приговор из уст Захарьева-Овинова, он понимал, что ослушание невозможно, что следует без рассуждений повиноваться, ибо из неповиновения выйдут только самые печальные последствия. В тайном могуществе великого носителя света Креста-Розы он не мог сомневаться...

Но вот прошел час, другой - и Калиостро освободился от своего трепета; он снова никого и ничего не боялся.

"Пусть будет, что будет, - решил он, - но я не уйду отсюда... Ведь очень часто сила только потому и сильна, что сталкивается с трусостью и слабостью... И это еще надо узнать - насколько он меня сильнее, если я противопоставлю ему всю мою волю... если я не боюсь его!.. Я останусь здесь!"

И он, приняв такое решение, совсем даже успокоился... О Щенятеве, о полученном оскорблении он не думал. Он был уверен, и основательно, что Щенятев теперь трепещет, ни за что не посмеет перед ним явиться и будет молчать о случившемся...

Но ведь что бы ни решал Калиостро, приказание великого розенкрейцера должно было исполниться. И оно начало исполняться.

Императрица проснулась очень рано, даже раньше обыкновенного. Вообще всю эту ночь ее сон был как-то тревожен, чего уже давно с нею не случалось, так как она отлично себя чувствовала все это последнее время. Она всегда засыпала после своей изумительной дневной деятельности, чувствуя большую потребность в отдыхе, а потому засыпала быстро, сразу, крепким здоровым сном. Сон ее был всегда спокоен, и она уже давно не видела никаких снов или, по крайней мере, просыпаясь, их не помнила...

А тут, в эту ночь, на нее нахлынули самые пестрые, фантастические грезы, и среди этих грез то и дело являлось перед нею лицо человека, которого она видела всего раз, - лицо графа Феникса. Она проснулась под впечатлением этих сновидений, и ей даже почудилось уже наяву, что кто-то как будто прошептал над нею: "Феникс".

Поглощенная интересами своей исключительно разнообразной умственной и духовной жизни, воспринимая ежечасно новые впечатления, Екатерина совсем было забыла о чудодейственном иностранце. После свидания с ним она послала запрос испанскому посланнику Нормандесу, но для того чтобы узнать, числится ли в королевском войске полковник граф Феникс, надо было получить ответ из Испании, а его пока еще не было.

Теперь же, проснувшись, она никак не могла отвязаться от мысли об этом человеке. Его лицо ежеминутно представлялось ей, его имя все повторялось и повторялось в голове ее, мешая отдаться иным, более интересным для нее, серьезным мыслям.

Под конец это даже раздражило Екатерину. Снова заснуть она не могла, а потому зажгла свечу и дернула за сонетку. На ее звонок в спальню вошла Марья Саввишна Перекусихина, не-

изменная прислужница и самый близкий человек к императрице. Женщина совсем простая и необразованная, обладавшая, однако, природным умом, проницательностью и сметливостью и притом, действительно, боготворившая свою "матушку-царицу", она пользовалась неограниченным доверием Екатерины, знала все мельчайшие подробности ее интимной жизни, знала ее душу.

Они виделись ежедневно утром и вечером, когда Марья Саввишна одевала и раздевала императрицу, и в то время между ними всегда происходил обмен мыслей относительно новостей дня. Так как Марья Саввишна существовала исключительно для царицы и жила только ее интересами, то в течение дня она очень ловко и обстоятельно узнавал все, что касалось Екатерины, что так или иначе могло занимать ее. Царские приближенные нередко изумлялись всеведению царицы, невозможности скрыть от нее что-либо; виновницей такого всеведения была Марья Саввишна.

Так и на этот раз, одевая Екатерину, Марья Саввишна, полная, румяная женщина неопределенных лет, с добродушным лицом, толстыми губами и очень проницательными серыми глазами, передавала "матушке" самые свежие новости и представляла собою живую утреннюю почту. Но императрица слушала ее довольно рассеянно...

- А вы бы, матушка, пожурили светлейшего, - вдруг каким-то особым, многозначительным тоном проговорила Марья Саввишна.

- За что же это? - спросила Екатерина.

- Да уж чудит больно... К причудам его, оно точно, все привыкли, но все-таки ж причуда причуде рознь... Помните, матушка, докладывала я вам про итальянку-то, про жену этого лекаря да чудодея заморского...

- Ну?- перебила Екатерина, внезапно оживляясь.

- Ведь причуда-то его не проходит... От верных людей знаю: итальянка-то, почитай, каждый день к нему то с мужем, а то и одна ездит. Да и это

бы еще ничего, а вот, говорят, он на сих днях при всем честном народе по Невскому с ней в экипаже проехал...

- Вздор! - воскликнула Екатерина. - Григорий Александрович такого не сделает... Ведь ты не видела, Саввишна, так и нечего болтать попусту...

Но Марья Саввишна ничуть не смутилась.

- Может того и впрямь не было, да уж одно, что могли такое выдумать люди - неладно... Никак не след Григорию Александровичу за приезжими итальянками волочиться и, воля ваша, матушка, а пожурить его надобно...

Екатерина задумалась.

- В амурные дела светлейшего я вступаться не желаю, - сказала она, - а дурить и всякие слухи своими дурачествами пускать ему не подобает - это ты правду говоришь, Саввишна...

Когда Перекусихина вышла, оставив "матушку" в одиночестве, к неотвязной мысли о графе Фениксе присоединилась новая неотвязная мысль о красавице итальянке, так долго, чересчур долго занимающей Потемкина. Теперь Екатерина вспомнила свои последние встречи с светлейшим и решила, что он находится в каком-то не совсем обычном состоянии. Неужели итальянка серьезно его очаровала? Но в таком случае его надо избавить от наваждения, не то он и взаправду наделает всяких глупостей...

За такими мыслями застал императрицу ее лейб-медик Роджерсон.

- Любезный Роджерсон, - своим ласковым тоном сказала Екатерина, в то время как медик внимательно прислушивался к ее пульсу, осторожно держа ее руку двумя пальцами и как-то особенно отставив свой мизинец, - я еще вчера говорила вам, что совсем здорова, а вот сегодня чувствую себя нехорошо: голова болит и какое-то беспокойство...

- Да, ваше величество, пульсация несколько беспокойна, - отвечал Роджерсон, - но это пустое, успокоительные капли вам быстро помогут...

Он подошел к столу и написал рецепт. Екатерина сейчас же заметила, что он медлит уходить.

- У вас ко мне есть дело? Я слушаю! - проговорила она.

Глаза Роджерсона блеснули злым огоньком.

- Не дело, ваше величество, - сказал он, - а я осмелюсь обратить ваше внимание на действие некоторого человека, шарлатана...

- Вы говорите о графе Фениксе? Я знаю, что он должен очень интересовать вас, - не без легкой иронии в голосе перебила его Екатерина, - в чем-же, однако, вы его обвиняете?

- В большом преступлении! - воскликнул Роджерсон. - Судите сами, ваше величество. У князя Хилкина заболел головной водянкой единственный сын. Ребенку несколько месяцев. Меня пригласили на консилиум. Мы все решили, что ребенок должен умереть, ибо иначе быть не может. Затем явился этот граф Феникс и уверил князя и княгиню, что он отвечает им за жизнь и полное выздоровление их мальчика. Но лечить его у них в доме он не может и требует, чтобы его привезли к нему и оставили на его исключительное попечение. При этом он предупредил, что не допустит даже, чтобы отец и мать, да и вообще кто-либо навещали ребенка до его полного выздоровления. Князь и княгиня долго не соглашались, но вид умиравшего сына довел их до крайнего отчаяния, они совсем потеряли голову и совершили безумный поступок - отдали его с рук на руки Фениксу...

- Отчего же это безумный поступок? - перебила императрица. - Я сделала бы то же самое! Ведь вы все, господа медики, приговорили ребенка к смерти, и он действительно умирал... вылечить его не было никакой возможности... Чувство родителей понятно - утопающий хватается за соломинку... Но соломинка не спасает, а Феникс спас ребенка... Этот поступок с его стороны большая глупость, но где же преступление?

- Я еще не кончил, ваше величество, - торжественно сказал Роджерсон. - Через неделю Феникс известил князя Хилкина, что мальчик поправляется; через две недели он разрешил князю на несколько секунд увидеть сына. Счастливый отец убедился своими глазами, что ребенок спасен. Через три недели мальчик был возвращен домой в самом цветущем состоянии, и при этом его спаситель отказался от всякого вознаграждения, объявив, что он делает добро ради добра, а не ради денег...

Императрица устремила на своего медика взгляд, в котором мелькнула и исчезла насмешка.

- Теперь я понимаю в чем преступление: вы полагаете, что граф Феникс подменил ребенка!.. Но ведь это надо доказать, любезный Роджерсон!

Лейб-медик вспыхнул.

- Доказать подмен такого маленького ребенка довольно трудно, - проговорил он, - судьей может быть только мать... и княгиня Хилкина всех уверяет, что Феникс подменил ее сына...

- Очень жаль, что она не заметила этого сразу, - раздумчиво сказала Екатерина.

Взгляд ее упал на стол. На столе она увидела до сих пор незамеченный ею пакет из испанского посольства. Она распечатала его и прочла заявление Нормандеса о том, что на королевской испанской службе никогда не было и нет никакого графа Феникса.

- До свиданья, - сказала она Роджерсону, - за вашими каплями я пошлю, и, может быть, даже приму их... а о рассказе вашем подумаю, благодарю, что предупредили...

XV.

Это было утром, а в шестом часу вечера, вернувшись к себе от Елагина, Калиостро не застал Лоренцу. Его поджидал граф Сомонов и не без

волнения объявил ему, что вот уже часа три, как графиня Феникс отправилась к императрице. За ней была прислана придворная карета с приказанием государыни явиться немедленно и без всяких провожатых. Калиостро, как и Сомонов, сразу понял, что событие это не представляет ровно ничего утешительного. С большим нетерпением стали они дожидаться возвращения Лоренцы.

Прекрасная Лоренца по своему характеру не только не испугалась, когда ей объявили, что ее немедленно требует к себе императрица, но даже была очень рада этой поездке. Робости перед людьми она вообще никогда не чувствовала, приключения ее прежней скитальческой жизни с мужем развили в ней и спокойствие, и самообладание; она знала, как надо ей держать себя с русской императрицей, и ей было очень интересно близко увидать и услышать эту удивительную, как она всегда слыхала, женщину.

Над вопросом: зачем она так вдруг понадобилась Екатерине - Лоренца не задумывалась: она сразу решила, что это все устроил Потемкин и что кроме хорошего от этого свидания ничего не будет. Джузеппе вернулся из дворца недовольным - она отлично это тогда заметила, - ну, так вот, она сделает то, чего не удалось Джузеппе: она очарует царицу и поможет мужу в достижении его целей... Ведь это не в первый раз...

Решив все это, она быстро оделась к лицу и поехала. Карета остановилась у маленького подъезда. Лоренцу провели пустынными коридорами и оставили в небольшой прелестной комнате, затянутой бледным розовым штофом и уставленной самыми роскошными, самыми грациозными безделушками. Комната эта была совсем во вкусе молодой женщины, и она весело любовалась ею, когда занавеси, скрывавшие дверь, распахнулись и на бледно-розовом штофном фоне появилась небольшая, полная женская фигура.

Лоренца взглянула и увидела, что перед нею царица, лицо которой ей было хорошо знакомо по многим портретам. Тогда она, нисколько не смущаясь, почтительно поклонилась, вложив в этот поклон всю свою врожденную грацию. Екатерина оглянула ее быстрым взглядом и поразилась ее прелестью, ее капризной, затуманивающей красотой. Она ответила на ее поклон величественным движением головы, села на низенький розовый диванчик и, указывая Лоренце на легкий золоченый стул, стоявший в некотором расстоянии от диванчика, пригласила ее сесть мягким голосом, звук которого очень понравился Лоренце.

Прошло несколько мгновений. Лоренца смело, но в то же время почтительно глядела на императрицу и ждала.

- Вы и ваш муж заставляете так много говорить о себе, - наконец сказала Екатерина, - что я, уже имев случай видеть его, пожелала видеть и вас...

- Я очень счастлива, ваше величество...- прошептала Лоренца.

- Скажите, пожалуйста, я хочу слышать это от вас, правда ли, что вы занимаетесь вызыванием духов, предсказываете будущее и к тому же еще делаете золото и жизненный эликсир?

Все это было сказано так же мягко, но с очень насмешливой полуулыбкой. Лоренца смутилась. Она не знала, о чем будет говорить с ней царица и, отправляясь во дворец, вовсе не подумала об этом. На такие же вопросы что было ответить ей? Она смущенно улыбнулась и остановила на царице ласкающий, нежный и молящий взгляд. Этот ее взгляд, как она давно уже убедилась, производил чудное действие не только на мужчин, но и на женщин. Однако на Екатерину он, очевидно, не произвел своего обычного действия, так как она уже довольно строго повторила:

- Я жду ответа!

- Уверяю вас, ваше величество, что я совсем не умею предсказывать будущего и не знаю, как мой муж делает золото... а призраков, духов я очень боюсь...

И говоря это, Лоренца даже вздрогнула и неподдельный испуг изобразился в ее прекрасных глазах.

Екатерина сдвинула брови.

- Однако же мои сведения идут из очень верного источника, - сказала она, - мне князь Потемкин говорил, что он сам видел призраки, вызванные вами...

При имени Потемкина Лоренца невольно вспыхнула, и это не ускользнуло от внимательного взгляда царицы.

- Князь сказал вам это, ваше величество? ,- воскликнула молодая женщина. - А между тем он знает, что не я вызываю призраки... я даже, по счастью для меня, никогда их не видала... они являются тогда, когда я сплю...

- Как когда спите? Что такое вы мне рассказываете, моя милая?!

- На меня очень часто находит какой-то особенный внезапный сон, и когда я так засыпаю, то иногда являются призраки... это чистая правда, ваше величество, и я ничего другого не могу сказать вам...

В глазах Лоренцы даже блеснули слезы. Совсем, совсем не того она ожидала от своего свидания с царицей. И какое у нее теперь суровое лицо!.. Лоренца вдруг почувствовала себя будто в западне... Ее допрашивают, и она не знает как быть... хоть бы ее скорее отпустили!..

Ждать этого ей пришлось недолго. Екатерина достаточно ее разглядела, поняла всю ее силу и всю слабость, узнала все, что ей надо было знать, в чем она хотела убедиться.

"Глупа, но хороша, как чертенок, - подумала она, - может вскружить голову кому угодно... и особенно такие глупенькие и очаровательные жен-

щины бывают опасны для людей уже не первой молодости..."

И, подумав это, она величественно встала с диванчика. Ее движение инстинктивно заставило подняться и Лоренцу.

- Я не имею основания вам не верить, - снова без всякой строгости в голосе сказала царица, - у вас, очевидно, какая-то странная болезнь, и ваш муж очень бы хорошо сделал, если б полечил вас от этих ваших внезапных засыпаний, во время которых являются призраки... Слушайте внимательно, что я скажу вам: ровно через сутки вы с мужем должны выехать из Петербурга и покинуть пределы России. Такова моя неизменная воля... Вам доставят такую сумму денег, какой будет достаточно не только на ваше путешествие, но даже и на уплату некоторых долгов - их, наверное, немало у вашего мужа, хоть он и делает золото... Если же завтра к вечеру вы не уедете, то предупреждаю вас: и вы, и муж ваш будете арестованы... Мне говорят о подмененном ребенке, и о другом ребенке, который исчез... Очень дурные слухи растут с каждым днем и ходят по городу... До сих пор я еще не обратила на них должного внимания. Но вашему мужу, да и вам как его сообщнице, следует очень остерегаться... Уезжайте же... я советую вам это... я вам это приказываю...

Екатерина слегка наклонила голову и вышла из розовой комнаты. Лоренца дрожала, как в лихорадке, сердце ее усиленно стучало, на глазах стояли слезы...

- Сударыня, пожалуйте! - услышала она непонятные ей слова.

Ее проводили теми же пустынными коридорами, вывели на тот же маленький подъезд и усадили в карету. Карета тронулась.

XVI.

Долго еще Лоренца не могла прийти в себя и находилась в состоянии, подобном тому, в какое приводил ее Джузеппе, когда таинственным способом прикасался к ее голове и повелительно говорил ей: "Спи!" Она ничего не сознавала, не видела, не чувствовала.

Но вот она пришла в себя и прежде всего рассердилась на царицу, да так, как еще до сих пор ни на кого и никогда не сердилась. С ее прелестного лица сбежало полудетское выражение, щеки зарделись краской гнева, глаза сверкнули злобой. Она даже с такою силой сжала свои маленькие, нежные руки, что одно из колец, покрывавших ее тонкие пальчики, втиснулось в тело и до крови прорвало кожу. Но она и на боль не обратила внимания.

"И за что восхваляют эту ужасную женщину! - бешено думала она. - За что называют ее необыкновенной, великой?! Она злая, капризная, дурная, завистливая - и больше ничего... Она только хочет показать свою силу... Но это еще посмотрим! Князь могуществен, он делает все, что хочет... Я не желаю уезжать... Я люблю князя... я хочу с ним остаться!"

Она изо всех сил дернула за шнурок, один конец которого находился в карете, а другой был привязан к поясу кучера. Карета остановилась. В миг один Лоренца распахнула дверцу, выпорхнула из нее с легкостью и грацией, каким позавидовала бы первейшая танцовщица, и прежде чем кучер мог придти в себя от неожиданности, была уже далеко.

Она закуталась в свою соболью шубку и неслась по снежному тротуару, пока не заметила стоявшего на перекрестке извозчичьего возка. Тогда она все с той же легкостью и быстротою оказалась в возке и кое-как объяснила извозчику куда ее надо везти, всунув ему при этом в руку сере-

бряный рубль. Извозчик изо всей мочи погнал пару застоявшихся лошадок. Ухабы, ухабы, опять ухабы... снежная пыль в глаза... кто-то кричит, бранится - чуть не раздавили кого-то... опять ухабы - и вот Лоренца перед хорошо знакомым ей одним из крылец потемкинских чертогов.

По раз и навсегда данному приказу светлейшего здесь ее впустят во всякое время. Ей знакома дорога, и перед нею распахнутся все двери. Она знает где именно найти "его". А если он выехал - она останется ждать и дождется...

Но он был у себя и ждал ее. Он часто, слишком часто ее ждал и слишком волновался, когда его ожидания оказывались тщетными. Едва она вошла и он ее увидел, разгладились морщины на его прекрасном лбу, и счастливая улыбка разлилась по всем чертам его лица, на котором за минуту изображались скука, тоска и раздражение. Он взял ее маленькие белые ручки, склонился к ним и стал целовать их жадно и страстно.

Но вот он взглянул ей в глаза и невольно отстранился: он почти не узнал Лоренцу, ему никогда даже не могло прийти в голову, что она способна быть такою.

- Что с вами, моя дорогая маленькая синьора?- спросил он. - Кто вас обидел?

- Знаете ли откуда я? - дрожа, в волнении шепнула Лоренца. - Я прямо от вашей царицы!

- Что? От царицы?

Он сдвинул брови.

- Успокойтесь и расскажите мне все подробно...

Не выпуская ее рук, он усадил ее рядом с собою и внимательно, не перебивая, выслушал ее рассказ, прерывавшийся слезами и едва сдерживаемыми рыданиями. Лоренца была из числа тех женщин, к которым идет решительно все, даже слезы. Под конец Потемкин не столько ее слушал, сколько любовался ею. С первых же ее слов он догадался в чем дело, все сообразил, и когда она довела свой рассказ до конца, он уже был спокоен

и улыбнулся ей какой-то мечтательной, влюбленной улыбкой.

Улыбка эта озадачила и смутила Лоренцу.

- Вам смешно, князь! - с горьким упреком в голосе воскликнула она. - Вы рады тому, что нас преследуют, вы хотите, чтобы я уехала?!

- Перестаньте говорить пустое, - сказал Потемкин, снова покрывая ее руки поцелуями, - мне вовсе не смешно, но и печалиться не вижу пока причин... Вы уедете только в том случае, если того сами захотите.

Она остановила на нем долгий взгляд и стала внимательно слушать.

Он продолжал:

- Воля царицы - закон. Если она приказывает, чтобы муж ваш завтра же выехал, то он и должен выехать... Но ведь вы, по словам царицы, подлежите высылке только как его спутница. Вы можете остаться... для этого надо, чтобы вы решились оставить мужа... чтобы вы доверились мне... чтобы вы любили меня так же, как я люблю вас...

Лоренца вздрогнула. Оставить мужа! Ведь она не помнила, что было время, когда она убегала от своего Джузеппе, что еще недавно она готова была его покинуть, и если не делала этого, то единственно потому, что у нее не хватало сил и решимости, потому что она трепетала перед тайной, колдовской властью этого человека.

После того как он во время ее странного усыпления приказал ей любить его, она исполняла его приказ, она любила его страстно. Но не менее страстно любила она и Потемкина. Если бы теперь Джузеппе был здесь, она не могла бы ни на что решиться, ее одинаково влекло бы к этим двум людям... Джузеппе нет, она не чувствует его присутствия, его влияния... а русский великан перед нею среди почти сказочного великолепия своей царственной роскоши, во всем блеске своего могущества, силы, очарования...

И он говорит ей, что ее любит, он покрывает поцелуями ее руки и шепчет ей: "Лоренца, останься со мною!.." Он ее любит!.. Он, грозный лев, перед кем все трепещут, сам трепещет, ожидая ее ответа... Уехать завтра!.. Навсегда его покинуть... никогда больше не видеть этого величественного, гордого лица, которое умеет так страстно, так нежно улыбаться!.. Нет, это невозможно!..

Ее сердце бьется все сильнее и сильнее. Она уже не помнит о Джузеппе, она все забыла... А ласковый, соблазнительный голос шепчет ей:

- Лоренца! Ты в моей власти. Лоренца! Моя воля - тоже закон. Я хочу, чтобы ты меня любила - и ты меня любишь. Я хочу, чтобы ты сама сказала мне это - и ты скажешь!.. Ты останешься со мною и будешь жить для меня одного. Я спрячу тебя так, что никто тебя не отыщет. Я окружу тебя всем, что только может придумать и пожелать твое воображение, твоя прихоть. Говори же мне, что ты меня любишь, что ты останешься!..

Лоренца подняла на него свои чудные глаза, подернутые страстной влагой, - и эти глаза сказали ему все. Она слабо, как-то радостно и в то же время испуганно вскрикнула и, охватив его шею своими тонкими руками, припала головой к широкой груди его.

- Лоренца! Встань и уходи отсюда навсегда! - вдруг прозвучал над ними странный голос, полный необычайного спокойствия и непобедимой власти.

Она затрепетала всем телом. Это "он", непонятный, великий, перед кем должно склоняться все, перед кем чародей Джузеппе превращается в бессильного покорного раба, как она видела два дня тому назад. Это "он"!

И она почувствовала себя совсем уничтоженной властью этого непонятного существа. Ужас охватил ее, такой ужас, какого она не испытывала никогда в жизни. Она выскользнула из объятий Потемкина и с единой мыслью о том, чтоб не увидеть "его",

не встретиться с "его" взглядом, как безумная, выбежала из комнаты.

Все это произошло так быстро, что Потемкин не успел шевельнуться, не успел не только удержать ее, но даже понять, что она от него вырвалась и убегает. Но вот она исчезла. Он порывисто поднялся и страшный от гнева взглянул на стоявшего перед ним человека.

Кто это? Кто этот дерзновенный безумец, осмелившийся сюда проникнуть?

Он узнал его - и гнев мгновенно стих, уступив место изумлению, такому изумлению, что мысль о Лоренце пропала вместе с порывом возбужденной ею страсти.

Было чему поразиться и от чего прийти в изумление! Несколько месяцев тому назад этот человек в первый раз появился здесь. Потемкин принял его высокомерно, принял только по желанию и просьбе царицы. Но прошло не больше часу времени - и человек этот овладел высокомерным, могущественным вельможей, потряс его душу и стал близок и дорог этой душе. Он обещал появиться тогда, когда это будет надо, в минуту величайшей опасности, и ушел.

С тех пор Потемкин несколько раз встречал его, даже подолгу находился с ним в одной и той же комнате и не обращал на него внимания. Он забыл, да, непостижимо забыл свою с ним беседу, забыл значение для него этого человека. Как могло случиться это? Ведь это невозможно! А между тем оно было именно так: он забыл все - и только теперь вспомнил.

- Князь, я исполнил свое обещание... я пришел к тебе в тот самый миг, когда готово было совершиться твое падение, такое падение, всю глубину которого ты не можешь исчислить! - произнес между тем Захарьев-Овинов, поднимая глаза на Потемкина и заставляя его сразу вернуться ко всем впечатлениям их первой встречи, сразу как бы

уничтожая и сглаживая все, что было со времени этой встречи до настоящей минуты.

Широкое чувство любви, доверия, почти восторга к этому неведомому, но близкому человеку наполнило сердце Потемкина.

- Но как же мог ты сюда проникнуть? - воскликнул он, едва веря своим глазам.

- Если б кто-нибудь спросил тебя, как можешь ты одним росчерком пера решить дело, последствия которого отразятся, быть может, на миллионах людей, что ты ответишь? Если скажешь: "Могу, ибо имею власть и силу" - будет ли это ясным ответом? Для того чтобы ответ твой был ясен, тебе пришлось бы объяснять и рассказывать весьма многое и коснуться даже множества таких предметов, которые для тебя самого непонятны и тайны. Так и я отвечаю тебе кратко: "Мог сюда проникнуть, ибо имею власть и силу" - не удовлетворю тебя, а потому оставим подобные вопросы...

- Так я задам тебе другой вопрос, - перебил Потемкин, внезапно вспомнив Лоренцу и вновь ощущая при этом воспоминании только что покинувшее его страстное волнение. - Почему должен я выносить насилие над моей волей и над моими действиями и считать это для себя спасительным? От падения ли ты пришел меня избавить, или просто мешать моему счастию, которого так мало в моей жизни?

- На это ты сам себе сейчас ответишь, вспомнив все, что испытал, узнал и в чем уверился в течение своей жизни.

Сказав это, Захарьев-Овинов положил руки на плечи Потемкина и устремив ему прямо в глаза взгляд, от которого нельзя было оторваться.

Внезапно одно за другим с необычайной яркостью встали перед Потемкиным многие забытые им воспоминания. И воспоминания эти громко и убедительно доказали ему, что к Лоренце влекла его не любовь, истинная и прекрасная, дающая настоящее счастье. К Лоренце влекла его только

похоть, только дразнящий каприз раздраженного воображения. Он хорошо знал эти капризы, обещающие так много и быстро приносящие после минутного самозабвения только пустоту, недовольство собою, доходящее до омерзения.

Что было всегда, то было бы и теперь! И только что он понял это, как Лоренца представилась ему совсем в новом свете. Он не мог до сих пор беспристрастно судить ее да вовсе и не желал этого. Но теперь соблазнительная ее красота отошла на второй план, и он увидел, что ни любви, ни счастья не могла дать ему эта ребячливая, легкомысленная женщина. Она дала бы ему только одно опьянение, и чем продолжительнее оказалось бы это опьянение, тем было бы хуже...

Не находя исхода своим стремлениям, своей тоске по неведомому, изнывая от скуки и пресыщения земными благами, он нередко сам искал такого опьянения, забывался, не заботился о том, что погружается в грязь, почти теряет свое человеческое достоинство. Но человеческое достоинство всегда просыпалось в нем внезапно, и чем грубее и сильнее было его опьянение, тем он с большим гневом на себя стряхивал грязь, проникался сознанием своего падения и рвался к свету.

Это были периоды высочайшего подъема его духа, самых глубоких и светлых мыслей, кипучей и плодотворной деятельности, плоды которой не пропали и зреют доселе.

Именно такое сознание ничтожности и презренности наслаждений, составлявших предмет его капризных мечтаний со времени встречи с Лоренцой, наполнило его теперь под влиянием нахлынувших на него воспоминаний. В один миг и бесповоротно вырвал он из своего сердца образ Лоренцы, и если б она сама явилась перед ним со всеми своими соблазнами, он посмотрел бы на нее тем гордым и презрительным взглядом, который всегда создавал ему стольких бессильных врагов.

- Да! - сказал он с просиявшим лицом и горячо обнимая Захарьева-Овинова. - Ты прав, непонятный друг, ты отвел меня от падения. И мне именно теперь не след было падать: время приходит горячее, нужны все мои силы на многие работы.

Он задумался. Его опять поразили мысли, вызванные появлением Захарьева-Овинова.

- Ты не любишь вопросов, - воскликнул он, - но все же скажи мне, зачем ты заставил - ибо я вижу, что это ты заставил - и меня, и царицу, и всех, кажется, забыть про тебя, не замечать тебя даже и тогда, когда ты был у всех на глазах?

Захарьев-Овинов усмехнулся.

- Ведь я сказал тебе, когда ты спрашивал меня: кто я? - что я тот, кому ничего не нужно. Если человеку ничего не нужно, если он не стремится ни к чему из того, что могут дать люди, он только тогда свободен и спокоен, когда люди его не замечают. Бросаться в глаза и заставлять говорить о себе любит лишь тот, кто не чувствует под собой твердой почвы, кто нуждается в людях.

- Да, - раздумчиво проговорил Потемкин, опустив голову на руки и закрывая глаза, как он всегда делал в минуты глубокого раздумья, - когда ты знаешь, что не нуждаешься ни в ком, а что в тебе каждый может нуждаться - это великая услада для гордого духа! Но это не все! Скажи мне, человек непостижимый, познавший все и достигший такой власти, в существование которой я всегда верил наперекор тому, что люди называют здравым смыслом, скажи мне, в чем познал ты истинное счастье и где мне искать его?

Он долго ждал ответа. Наконец тихий голос, полный горькой муки, произнес над ним:

- Брат мой, я скажу тебе в чем истинное счастье только тогда, когда буду наверное знать, что нашел его!

Потемкин открыл глаза, поднял голову - и никого не увидел перед собою. Захарьев-Овинов

исчез так же внезапно и неслышно, как и появился.

XVII.

В доме графа Сомонова, да и вокруг его дома, происходило некоторое замешательство с самого утра. Крыльцо, через которое выпускались больные и вообще все желавшие видеть православного целителя и благотворителя, графа Феникса, было теперь наглухо заперто. На его ступенях сидел человек, объявлявший всем подходящим, что нынче приема нет, что граф Феникс уехал на некоторое время из Петербурга. На тревожные вопросы: когда же он вернется? - был ответ, что это пока неизвестно. Больные и чаявшие графской милости уходили повеся голову и с глухим ропотом.

В самом доме, или вернее, в той его части, где находились комнаты, занятые графом Фениксом с супругою, был заметен беспорядок и все признаки сборов к неожиданному и скорому отъезду. Лоренца наблюдала за слугами, укладывавшими в различные ящики и сундуки самые разнородные вещи. Сам Калиостро появлялся бледный, с горящими глазами, повелительным голосом отдавал слугам приказания и затем удалялся в библиотеку графа Сомонова, где с самого утра были собраны влиятельнейшие члены - основатели ложи Изиды.

Накануне вечером Великому Копту и Сомонову пришлось долго ожидать возвращения Лоренцы. Граф Александр Сергеевич прошел все степени недоумения, ожидания, волнения и опасений. Наконец он не выдержал и обратился к Калиостро с такими словами.

- Однако нам могут заметить, что все наши труды и работы, все наши тайные знания немного стоят, если мы, как и все посвященные, должны томиться в неизвестности и не можем знать того, что для нас важно и нас интересует. Положим, я

еще слаб, я еще владею только незначительной долей таинств... но вы, наш великий учитель, зачем оставляете вы себя в томительной неизвестности относительно того, что с вашей супругой, почему она до сих пор не возвращается и для какой цели вызвала ее царица?

Калиостро, сидевший в глубокой задумчивости и давно уже безо всякой помощи каких-либо тайных знаний понявший положение, встал и, стараясь казаться спокойным, ответил:

- Отчего же вы думаете, граф, что я в неизвестности? Если вы сомневаетесь в том, что я вижу теперь мою жену и знаю все, что произошло с нею, то, значит, вы перестали считать меня тем, кем знали до сих пор! Вы полагаете, что поездка жены моей к царице взволновали меня? Вы ошибаетесь...

Услыша слова эти, граф Александр Сергеевич мгновенно воспрянул духом и оживился. Между тем Калиостро продолжал:

- Я был уже взволнован, когда вернулся, и вы меня встретили известием о поездке графини Лоренцы. Мне тяжело и неприятно сообщать вам истинную причину моего волнения; но все равно несколькими часами раньше или позже - а сообщить придется. Дело в том, что сегодня я получил известие, заставляющее меня, не теряя времени, ехать в Германию, а оттуда во Францию.

Говоря это, Калиостро думал: "Если я ошибаюсь, если Лоренца привезет иную весть, то легко будет их всех обрадовать, объявив, что обстоятельства изменились и я могу еще на некоторое время до окончательного устройства ложи остаться в Петербурге".

Отчаяние и почти ужас изобразились на лице графа Сомонова.

- Как?! - глухо прошептал он. - Вы должны ехать? Вы покидаете нас именно в такое время, когда присутствие ваше необходимо, когда от

присутствия вашего и от вашей силы зависит утверждение и благоденствие нашего великого дела?!

- Я очень хорошо знаю, как важно и необходимо мое присутствие здесь, - с глубоким и очень искренним вздохом сказал Калиостро, - если и еду, то единственно оттого, что мое присутствие еще нужнее в другом месте... Моя поездка необходима для того же общего великого дела, которому посвящена вся моя жизнь. Не спрашивайте меня, зачем именно я еду, я не могу ни вам, да и никому на это теперь ответить, придет время - и вы все узнаете, все станет вам ясно.

Граф Сомонов опустил голову и в глубоком унынии шептал:

- Да ведь это несчастие! Это истинное несчастие!

- Истинный мудрец и адепт великой науки никогда не должен предаваться унынию! - наставительно проговорил Калиостро, подавляя в себе самом приступ уныния, досады и бессильной злобы. К тому же для утешения вашего и всех членов нашей египетской ложи я скажу вам следующее: вы очень скоро убедитесь, что мой отъезд именно теперь избавит всех нас от больших неприятностей.

- Моя жена близко, она возвращается и через несколько минут будет здесь! - вдруг, перебив сам себя, воскликнул Калиостро.

И он знал, что в этих словах его не может быть ошибки. Он всегда чувствовал приближение Лоренцы, хоть она иной раз находилась на дальнем расстоянии, лишь бы только она именно к нему стремилась. Это никогда еще не обманувшее его ощущение явилось и развилось в нем уже несколько лет тому назад совсем неожиданно и помимо его воли. Нервная чуткость была в нем велика, и велика была его связь с безумно, хоть и странно любимой им женою.

Действительно, через несколько минут Лоренца была перед ними, бледная, дрожавшая, с испу-

ганными глазами. Один взгляд на нее убедил Калиостро в том, что он не ошибся в своих предположениях относительно ее свидания с царицей. Он подавил в себе крик бешенства, готовый вырваться из груди его, он только побледнел и уверенным, спокойным голосом сказал:

- Граф, вы сейчас увидите, что я был прав и что мой отъезд необходим вдвойне. Лоренца, упокойся... ведь ничего неожиданного ты не можешь сказать мне, и то, что ты скажешь, вовсе не так ужасно, как ты думаешь... говори же!

Лоренца упала в кресло, залилась слезами и сквозь ее рыдания граф Сомонов расслышал:

- Царица!.. Она жестокая и несправедливая... она объявила мне свой приказ... мы завтра же должны выехать отсюда... иначе нас арестуют!..

- Вы видите! - окончательно овладев собою, торжественно произнес Калиостро. - Соберите завтра утром членов - основателей ложи... сделайте это очень осторожно... Я прощусь с вами, оставлю инструкцию. Ровно в семь часов мы выедем. Будьте так добры, прикажите распорядиться нашим отъездом... только без всякой огласки... Теперь же я ухожу - мне необходимо заняться и привести в порядок мои бумаги.

Он крепко пожал руку графа Сомонова, совсем растерявшегося и безмолвного, и сопровождаемый Лоренцой, ободрившейся под влиянием его никак нежданного ею спокойствия, пошел в свою рабочую комнату.

Все следующее утро до обеда было посвящено совещаниям в библиотеке. Калиостро был важен, торжественен и всего менее походил на человека, вынужденного выезжать против воли, под страхом ареста по обвинению в уголовных преступлениях.

Впрочем, он искренно далек был от мысли считать себя преступным. Когда Лоренца передала ему все подробности своего разговора с царицей и умоляла сказать ей, неужели правда, что он подменил умершего ребенка (ребенок находился

хоть и в доме Сомонова, но в особом флигеле, и Лоренца его ни разу не видала), он, блеснув глазами, ей ответил:

- Все это пустое!.. Да если бы и действительно мальчик князя Хилкина умер и я заменил его ребенком бедных родителей, то это было бы не преступление, а благодеяние - и для бедных родителей, и для Хилкиных, и для ребенка.

Наконец совещания основателей ложи Изиды были окончены. Калиостро дал подробную инструкцию, как вести дело во время его отсутствия, сказал красноречивое, горячее слово и закончил его обещанием вернуться в скором времени и при изменившихся к лучшему обстоятельствах. Египетские масоны благоговейно простились с Великим Коптом, и даже граф Сомонов и Елагин не смели выражать своей печали.

Когда стемнело, огромный дормез на полозьях был подан к крыльцу. Ровно в семь часов отворились двери, две закутанные фигуры сошли с крыльца и исчезли в глубине дормеза. Снег заскрипел, лошади тронулись. Калиостро в темноте крепко сжал маленькую руку своей спутницы.

- Все к лучшему, моя Лоренца! - бодро и даже весело сказал он.

XVIII.

В нижнем этаже царского дворца находились три небольшие комнаты, убранство которых указывало на некоторую поспешность и случайность. В этих комнатах с недавнего времени помещалась камер-фрейлина императрицы, Зинаида Сергеевна Каменева, известная при дворе под именем "la belle Vestale". Название это было дано ей Екатериной и так за нею и осталось, повторяясь со всевозможными оттенками, начиная от искреннего восхищения поразительной красотой юной камер-фрейлины и кончая тоном пренебрежения и на-

смешки над бедной девушкой-сироткой, пользовавшейся особым вниманием царицы.

Судьба прекрасной весталки не представляла ничего необыкновенного. Отец ее, мелкопоместный дворянин Рязанской губернии, умер очень рано, оставив после себя вдову и маленькую единственную дочку. Не имея возможности справиться после смерти мужа с деревенским хозяйством и к тому же теснимая заимодавцами, вдова Каменева с ребенком добралась до Петербурга, где у нее были зажиточные родственники. Родовое именьице с несколькими десятками душ крестьян пришлось продать. Вырученные деньги почти все ушли на оплату долгов. И таким образом, Каменева осталась с дочкой без средств к существованию. По счастью двоюродный ее брат приютил ее у себя, а девочку года через два ему удалось пристроить. Он имел доступ к Ивану Ивановичу Бецкому, сумел заинтересовать его судьбою ребенка, и маленькая Зина Каменева была определена в Смольный институт. Прошел год. Мать ее умерла от простуды, Зина стала круглой сиротой. Узнав о смерти матери, она очень горевала и своим искренним детским горем возбудила к себе участие всего институтского начальства. Но детское горе, как бы ни было сильно оно, не может быть продолжительным.

Жизнь Зины в институте оказалась счастливой. Все ее любили, и скоро она позабыла о своем сиротстве. Она была способная, живая девочка, всегда почти веселая, хотя веселье ее никогда не выражалось в шумных порывах. Любила она всех. Душа ее всегда была открыта для каждой из подруг. Но эти подруги чувствовали, что могут найти сочувствие и поддержку Зины только в том случае, если они правы, если не сделали ничего дурного. Зина была очень справедлива, и это сразу замечали и понимали все, кто знал ее.

Наружность маленькой институтки сначала не могла обратить на себя особого внимания, но по

мере того как она вырастала, с каждым новым годом красота ее развивалась все пышнее и пышнее, и к концу институтского курса Зина превратилась в настоящую красавицу. О красоте ее уже говорилось в институтских стенах, только сама она про то не знала, или, вернее, не обращала на свою внешность никакого внимания. И в этом она совсем не походила на подруг своих. Смолянки очень рано начинали думать о своей наружности и заниматься ею. Частые посещения института императрицей и ее приближенными, роскошные придворные праздники, устраиваемые в институтских залах с участием воспитанниц были тому причиной.

Девочки не могли не замечать, какое значение имеет в свете красота. Во время праздников они не раз, быть может, подслушивали чересчур громкие суждения о своей наружности. После каждого праздника, конечно, между ними шли долгие разговоры, вызванные впечатлениями и всеми подробностями праздника. Из этих разговоров выяснилось, что вот такая-то и такая-то воспитанница обратила на себя общее внимание. Государыня сказала то-то, Иван Иванович Бецкий - то-то, граф Безбородко сделал такой-то и такой-то комплимент, и так далее. В девочках невольно появлялось желание быть отличенными на следующем празднике, и к торжественному дню все они готовились заранее, изучали себя, придумывали прически, изыскивали все маленькие средства, бывшие в их распоряжении, чтобы увеличить свою красоту и произвести как можно лучшее впечатление. Все это, естественно, развивало в них женское кокетство и в большинстве случаев смолянки, окончив курсы и выйдя из института, оказывались хотя и совсем не знавшими жизни, но хорошо владевшими тайной пользоваться своей природной красотою и возвышать ее с помощью иной раз почти неуловимого, тонкого искусства. А в Зине Каменевой не было ровно никакого

обдуманного кокетства. Все ее кокетство, бессознательное и тем более могущественное, заключалось в данной ей природой удивительной женственной красоте, естественности и грации.

Перед праздниками и посещениями института высокими особами Зина никогда ни к чему не готовилась, не помышляла ни о своей прическе, ни о мелочах своего туалета. Она всегда и всюду являлась такою, какой была ежедневно с утра и до вечера, и производила на всех самое чарующее впечатление.

В последние годы пребывания в институте, когда девочки уже окончательно превратились в молодых девушек, Зине пришлось испытать большие разочарования и горести. Она увидела перемену к себе во многих подругах; прежняя всеобщая любовь к ней значительно ослабела. Ее продолжали обожать воспитанницы младших классов, но взрослые девицы и ближайшие подруги, за исключением немногих, как-то охладели к ней и от нее отдалились.

Ей было это очень горько, но она далеко не сразу поняла причину такого отчуждения. А когда, наконец, уже перед самым окончанием курса поняла, то сильно удивилась и огорчилась еще больше. Все дело было в ее красоте и в той невольной зависти, которую эта красота возбуждала в подругах. Не будь праздников и вызываемого ими в девочках кокетства, красота Зины не создала бы ей из недавних друзей завистниц...

Во всяком случае Зина уже начинала чувствовать, что жизнь вовсе не так светла, как ей до сих пор казалось, что люди вовсе не такие хорошие и добрые, как она хотела это думать.

Когда после выпуска в Смольном был великолепный придворный праздник, где Зина играла роль весталки и где она так неожиданно для самой себя и для всех упала в обморок, она поразила своей красотою императрицу, и даже сам ее обморок обратил на нее особое царское внимание. Через несколько дней после праздника Екатерина,

расспросив подробно Бецкого о смолянке Каменевой, приказала привезти ее к себе.

Зина, хотя и была несколько смущена, но в то же время чувствовала себя очень счастливой. Как и все смолянки, она боготворила царицу.

Представленная Екатерине, она держала себя с обычной своей безыскусственной простотою. Она сумела, нисколько о том не думая, очень мило и наивно выразить царице свои чувства. Великая Екатерина любила красоту в чем бы ни выражалась она. Ее светлый ласковый взор долго покоился на Зине, изучая ее и любуясь ею. Под конец она обняла молодую девушку и сказала ей:

- Дитя мое, ты прекрасна, и не думаю я ошибиться, полагая, что у тебя доброе сердце. Я верю в искренность чувств ко мне, выраженных тобою. Ты сирота, близких родных у тебя нет... ты останешься со мною... я назначаю тебя моей камер-фрейлиной.

Зина едва верила ушам своим. Она совсем растерялась. Но первое ее чувство была радость и, заливаясь благодарными, счастливыми слезами, она припала к руке милостивой и доброй царицы.

Когда она вернулась в институт для того, чтобы объявить там свою радость и приготовиться к переезду во дворец, ее встретили со всех сторон поздравления, пожелания счастья, ее обнимали, целовали, ласкали. Но чуткое ее сердце чувствовало, что не все эти выражения расположения и участия искренни, что многие из них скрывают за собою совсем иные чувства. Да и вообще, успокоясь от неожиданности и обдумывая свое положение, она уже не знала сама - следует ли ей радоваться или печалиться. У нее явилось предчувствие ожидающей ее борьбы и грядущих бед...

XIX.

С тех пор прошло несколько месяцев. Она исполняет свои обязанности во дворце. Царица попрежнему расположена к ней и неизменно ласкова. И любовь к царице все усиливается в сердце Зины.

Первое время она жила как бы в тумане так велика была перемена, происшедшая в ее жизни, так сильны и неожиданны были получаемые ее ежедневно впечатления. Но мало-помалу она начинает разбираться в этих впечатлениях, вглядывается в новых окружающих ее людей, приучается к жизни.

Свободные от дежурства дни она по большей части проводит одна у себя, в своих трех комнатках, занимаясь чтением и музыкой и думая свои думы.

Теперь, когда недавний туман рассеялся, когда она успокоилась и вошла в новую колею, ее все чаще и чаще преследует одно воспоминание. Воспоминание это соединено с тем великолепным праздником, во время которого решилась ее судьба. Перед нею восстает образ человека, два раза мелькнувшего перед нею в тот незабвенный вечер.

В первый раз она увидела его перед собою и остановилась пораженная, с мучительно и сладко забившимся сердцем. Второй раз она увидела его вдали среди толпы в тот самый миг, когда она играла свою роль весталки, зажигала свой пламенник. Она увидела его, и его взор произвел на нее самое непонятное действие. Она не выдержала этого взора и потеряла сознание.

Потом она уже больше не встречала этого человека, не знает даже, кто он, боится, да, боится о нем узнавать и спрашивать. А между тем она, конечно, никогда его не забудет, он перед нею навсегда. Между ними какая-то могучая связь, и она бессознательно чувствует, что никто и ничто не разрушит этой связи.

Вспоминается ей и еще одно обстоятельство: ее посещение по воле императрицы прекрасной графини Зонненфельд. И эту женщину она никогда не забудет. Не забудет она ее чудного лица, так непонятно страшно, так непонятно мучительно на нее глядевшего. С прекрасной графиней ей тоже после того не пришлось ни разу встретиться, но о ней она узнает и расспрашивает. Только немного до сих пор узнала: графиня все нездорова и ее почти не видно в петербургском обществе.

Между тем Зине с каждым днем все более и более хочется опять встретить эту женщину и поближе узнать ее. К ней влечет ее неодолимая симпатия...

Она сидела у себя и думала именно о Елене в тот самый день, когда граф Феникс с Лоренцей выезжал из Петербурга. Эти думы были так настойчивы и вместе с тем такая непонятная тоска закрадывалась в сердце Зины, что сама она удивилась, наконец, этому. Но каково же было ее удивление, когда она услышала, что наружная дверь, ведшая из коридора ее комнаты, с шумом отворилась и когда через мгновение была перед нею та, о ком она думала.

Елена остановилась, бледная, похудевшая, с неестественно почти безумно горевшими глазами. Она задыхалась от волнения, очевидно, хотела говорить, но не могла вымолвить ни слова.

Зина поднялась ей навстречу, но, увидя это страшное лицо, этот безумный взгляд, тоже онемела от ужаса.

Быстро оглянув комнату и затем впиваясь долгим, невыразимо мучительным взором в Зину, Елена, наконец, глухо проговорила:

- Здесь никого нет... мы одни... слава Богу!

- Графиня... вы так взволнованны... что случилось с вами?.. Чем я могу служить вам? Только скажите - я все сделаю, что в моей власти, лишь бы вас успокоить... - робко, дрожавшим голосом едва слышно шепнула Зина.

Но Елена расслышала ее шепот.

- Что случилось со мною? Чем вы можете служить мне?.. Вы все сделаете, чтобы меня успокоить!.. О Боже, какая адская насмешка! - воскликнула Елена, отчаянно заломив руки. - Ты меня отравила, ты отняла у меня жизнь - и хочешь помочь мне!.. Верни мне жизнь!

Зина не верила ушам своим. Ей казалось, что она бредит, что все это во сне - и вот она сейчас проснется... Но это не сон, не бред. Перед нею не призрак, а живая женщина. Что же значат эти непонятные, безумные слова?

Зина чувствует, что, несмотря на всю их непонятность и безумие, в них заключается какой-то глубокий и ужасный смысл. И она слушает, прижав руку к больно бьющемуся сердцу и стараясь понять этот смысл.

- Да, это ты... о, как я тебя знаю... каждую черту твою!... Да, ты хороша, ты очень хороша... но ведь и мне с детских лет все говорили о красоте моей. Ведь и я слышала, что прелестнее меня никого не может быть на свете... И он сам... знаешь ли ты, как много раз его взор говорил мне то же самое! Сердце женщины не может ошибаться - я не обманываюсь, не лгу. Он восхищался мною, в его глазах я читала любовь, страсть. Ты хороша, может быть, ты лучше меня, но ведь ты еще совсем ребенок!.. Что же ты сделала, чем могла ты так привлечь его, что он ушел от меня навеки? Ведь к тебе он ушел, тебя он полюбил, ты была с ним, ты упала в его объятия... ведь я это видела так ясно в воде, а вода обманывать не может!

"Она сошла с ума! - мучительно подумала Зина. - Конечно, она сошла с ума!"

При этой мысли такая жалость наполнила ей сердце, что она не выдержала и горько заплакала, кидаясь к Елене и схватывая ее руки.

- Графиня, - сквозь слезы говорила она, сама не зная что, желая только своим ласковым голосом

и нежностью успокоить несчастную, - голубушка, милая, успокойтесь!.. Я совсем не понимаю, что это такое вы говорите... успокойтесь, право, уверяю вас, вам все только кажется... Все это не так, я никого не знаю, никого!

Елена вздрогнула, притихла и несколько мгновений молча, пристально глядела на Зину.

- Как! Ты его не знаешь, ты его не любишь?

- О, Боже мой! - отчаянно воскликнула Зина. - Да про кого же вы говорите? Скажите его имя!

- Его имя, его имя... - прошептала Елена, проводя рукой по своему горящему лбу. - Разве кто-нибудь знает его имя?.. Там он был Заховинов, здесь он - князь Захарьев-Овинов... Но и то и другое - разве это его имя?!

Зина обняла Елену, вложив в это объятие всю нежность, на какую была способна.

- Милая, слушайте же и верьте мне: я не знаю никакого князя Захарьева-Овинова и никогда его не знала. Вы сами говорите, что я еще ребенок - и ведь это правда, я так еще недавно была в институте и так мало понимаю жизнь... Я вижу, что вы очень несчастны, и когда бы вы только могли знать, как мне жаль вас, как мне хотелось бы вас успокоить... Только послушайте, быть может, вы напрасно предаетесь отчаянию... Бог милостив... Я ничего не знаю, но из слов ваших могу понять, что вы любите этого князя - о, как сильно вы его любите! - и что он обманул вас или разлюбил... Но кто же вам сказал, как могли вы подумать, что я тому причиной?! Милая, дорогая, неужели вы не в силах мне поверить, что не только я никогда не видала этого человека, а потому не могу любить его, но еще ни один мужчина не говорил мне о любви...

В ее голосе, в ее лице выражалась такая искренность, такая детская простота, ее ласка была так обаятельна, что Елена, несмотря на все свое болезненное возбуждение, являвшее все признаки настоящего безумия, как-то вдруг почти совсем

успокоилась. Ее отчаянье, ненависть, злоба стихли. Она позабыла все противоречие между тем, что она знала, и уверениями этой чудной девушки. Ведь муки были слишком велики, слишком невыносимы - и больное сердце, совсем истерзанное, жадно хваталось за возможность какого-либо, хотя бы минутного, успокоения.

Не верить этому простодушному, чистому ребенку было нельзя - и Елена поверила. Глаза ее потухли, в них выражались теперь только бесконечная усталость и мольба об участии. Она всю жизнь была одинока, она никогда и никому не поверяла ни своих надежд, ни своего горя. Она, как святыню, хранила от всех свои муки, несла их одна, но теперь эта ноша разбила ей сердце, лишает ее рассудка, жизни... Теперь она не в силах противиться участию, она его жаждет и молит...

Зина нежно привлекла ее к себе - и вот она положила свою отяжелевшую, отуманенную долгими, бессонными ночами голову на грудь той, кого до последней минуты считала своим злейшим врагом. И ей тепло на этой груди, у этого юного сердца, еще не знакомого ни с блаженством, ни с муками страсти.

Она была истерзана до последней степени, чувствовала, что не может больше жить, и видела перед собою ночью и днем только одну картину, явившуюся ей в воде под обаянием чародея, и она в порыве безумия ворвалась сюда, чтобы хоть своим последним, предсмертным проклятием смутить ту, которая неизменно представлялась ей в объятиях погубившего ее человека...

Но вместо того, чтобы проклинать ее, она доверяет ей свое горе. Мучительным шепотом передает она ей никому неведомую историю своего разбитого сердца.

С тоскою, жалостью и горькими слезами слушает Зина эту исповедь, и вдруг невольный, внезапный крик ужаса вырывается из уст девушки...

Она поняла, наконец, в этом таинственном рассказе, кто такой князь Захарьев-Овинов. Она поняла, почему несчастная княгиня пришла именно к ней, поняла свои неотвязные думы последнего времени и тайную связь, образовавшуюся между нею и этой измученной, доведенной до безумия женщиной. В ее памяти и воображении будто живой восстал образ этого непостижимого человека, неотразимую власть которого она уже на себе испытала... Кто же он - воплощенный демон, страшный чародей?.. Но кто бы он ни был - вот эта прекрасная графиня гибнет, загубленная им... и, быть может, такая же гибель грозит и ей...

Ее невольный крик заставил Елену содрогнуться. Она приподнялась и остановила на Зине взгляд, в котором снова загорелось дикое пламя. Долго смотрела она так, трепеща всем телом. Лицо ее исказилось страданием и гневом.

- Ты обманула меня, ты его знаешь! - наконец воскликнула она диким, почти нечеловеческим голосом.

Зина ничего ей не ответила, не была в силах ответить. Ее голова кружилась, ужас охватывал ее все сильней и сильней.

Елена силилась говорить, но только слабый стон вырвался из груди ее. Она схватилась за сердце, покачнулась и упала на пол.

Когда Зина пришла в себя и склонилась над нею, то увидела широко раскрытые, неподвижные глаза, такие глаза, каких не бывает у живого человека...

XX.

"Отец, отец, все совершено, все исполнено, и в вечном храме мудрости принесены мною все жертвы!.. Отец, последняя борьба была, нежданно для меня, тяжкой борьбою; но я все же не пал, я вышел из нее победителем, стряхнул с себя все

узы плоти, отогнал от себя все соблазны природы, разорвал ту цепь из благоуханных роз, которые, как говорит вековая мудрость человечества, опаснее и крепче всех цепей, скованных из железа и золота...

Мой свободный дух стремится в беспредельное сияющее пространство, ничто не связывает меня с землею, а между тем непонятная тоска гложет мне сердце. В тоске этой нет никаких сожалений, ибо если бы я нашел в ней сожаления, то я не мог бы назвать себя победителем. Тоска эта не что иное, как пустота, ощущаемая в душе моей... Откуда же такая пустота? Все мои знания и весь мой разум ничтожны для того, чтобы ответить мне на вопрос этот... Отец, ты один можешь мне ответить, отчего же ты молчишь, отчего же оставляешь меня с этой невыносимой душевной пустотою? Ведь она составляет именно противоположность тому, что я должен был получить, победоносно окончив последнее испытание!..

Но ты молчишь! В прежнее время в минуты сомнений и вопросов, на которые ты один мог ответить, ты всегда сказывался мне, где бы я ни был, какое пространство ни разделяло бы нас. Всегда в такие минуты я ощущал трепетание невидимой, но могучей нити, связывающей нас друг с другом через пространство и время. Ты всегда тем или иным способом откликался на зов мой. Отец, где же ты? Я тебя не слышу, я тебя не ощущаю!.."

Так шептали бледные губы великого розенкрейцера. Склоня голову, с тоскою и усталостью на мертвенном, прекрасном лице, сидел он перед своим рабочим столом, окруженный книгами и манускриптами. Как и всегда, невозмутимая тишина была вокруг него и нарушалась только однообразным стуком маятника стенных часов. Как всегда, особенный ароматический запах, освежающий и успокоительно действующий, носился по уединенным его комнатам. Но он не слышал

мерного звука маятника, не ощущал привычного запаха, уже не производившего на него теперь никакого ободряющего и успокаивающего действия.

- Где ты, откликнись на зов мой! - повторял он страстным, мучительным шепотом.

Он призывал не того отца, который был вблизи от него, в этом же доме, не того отца, который теперь спокойно ожидал минуты своего освобождения и жил особой, внутренней жизнью, все более и более развивавшейся в нем и направляемой благодаря ежедневным долгим беседам с отцом Николаем. Этого отца великий розенкрейцер мог видеть постоянно, но он не нуждался в нем, и попрежнему между ними не было внутренней связи.

Он звал другого отца, единственного человека, перед которым склонялся, призывал своего мудрого, великого учителя, в последнее время не подававшего ему о себе никаких известий. Он знал, что если бы этот отец переселился в иной мир, покончил свое долгое земное странствование, он бы узнал об этом в ту же минуту. Отец не мог покинуть земли, не сказав последнее земное "прости" любимому сыну и наследнику своих знаний, мудрости и власти.

Нет, отец жив, а между тем нет от него вести, и порвана между ними давно уже созданная их волей и знанием, неизменно действовавшая, невидимая нить. Они разобщены, и виновником этого разобщения, очевидно, отец...

Что же это значит? За что такое наказание, единственное наказание, какому мог быть подвергнут великий розенкрейцер отеческой властью старца? Мысль о том, что отец им недоволен и что не все еще совершено, - эта новая мысль была невыносима Захарьеву-Овинову.

Но вот он начинает ощущать нечто необычайное. Это именно и есть то самое ощущение, какое он всегда испытывал, когда от него требовалось все напряжение духовных

способностей, когда готово было совершиться какое-нибудь явление высшего порядка.

"Это отец приближается!" - мелькнуло в голове его, и сердце его забилось.

Он ждал, устремив неподвижный взгляд перед собою. Вот какой-то неясный, едва слышный звук пронесся в тишине комнаты... вот мелькнуло что-то.

Но перед ним не отец. Перед ним графиня Елена.

И это уже не то полупрозрачное видение, вызванное им несколько месяцев тому назад и явившееся на могучий зов его. Это не тот светлый, пронизанный лунным блеском образ, шептавший ему слова любви, простиравший к нему руки и открывший ему его собственное, так испугавшее его чувство.

Темна и бледна стоит она теперь перед ним с поникшей головою, с бессильно опущенными руками. Страшно лицо ее; невыносимое страдание разлито по всем чертам его; глаза глядят с упреком, с таким упреком, от которого нечем избавиться и некуда скрыться.

Холодом смерти пахнуло на Захарьева-Овинова - и он сразу понял, что смерть привела к нему Елену. Но ведь недаром вышел он победителем из последнего испытания, недаром шептал далекому "отцу" о том, что порваны им все узы, связывающие с землею, с земными чувствами и земным страхом. Он мгновенно подавил в себе волнение и поднялся навстречу темному, печальному призраку, бестрепетный и холодный.

Между тем Елена продолжала глядеть на него с подавляющим упреком. И вот зазвучал среди застывшей тишины ее тихий голос:

- Зачем ты погубил меня? Я была рождена для жизни и ее радостей, и жизнь моя могла развиться пышным цветом. Я была рождена для добра и любви, и душа моя могла отдать жизни и людям все свои заветные сокровища... зачем же ты погубил и обманул меня?

Мучительный, полный упрека взор подтверждал это жестокое обвинение.

Но Захарьев-Овинов не вышел из своего холодного спокойствия, он только почувствовал, что тоска или, как он сам определил, пустота в душе его все увеличивается. Он отвечал бледному призраку, приведенному к нему смертью, как ответил бы живой Елене:

- Ты напрасно винишь меня - я не губил тебя... я звал тебя к спасению. Я хотел очистить твою душу от всей земной пыли и грязи, для того чтобы ты могла встретить великий миг, пережитый теперь тобою, в радости и блаженстве. А ты мрачна и страдаешь! Ты сама себя погубила!..

Тяжкий стон не то воздух пронесся по комнате и замер. Снова шевельнулись бледные губы Елены:

- Мудрец, - ты не знаешь тайн жизни и смерти! Ты жесток и безумен в своем гордом ослеплении. Я говорю тебе: моим назначением была жизнь, полная любви и добра. Ты мог дать мне такую жизнь... и обещал мне ее... и обманул меня, обманул жестоко и безумно! Не лги же перед собою, не ищи себе оправданий! Если б ты пришел ко мне как отец или как брат, я стала бы тебе, быть может, дочерью или сестрою. Но ты пришел ко мне как давно жданный возлюбленный, как жених приходит к страстно любимой невесте. Ты искал и нашел меня - и в первый миг нашей встречи глядел на меня взором страсти. Ты сказал мне этим взором: "Я твой, а ты моя!" - и я поверила тебе, потому что не могла не поверить. Ты властно взял мое сердце и мою душу, зная, да, зная, что отныне они принадлежат тебе и никому другому принадлежать не могут. Ты погубил и обманул меня, потому что любил меня горячей, земной любовью и обещал мне эту любовь, бывшую моим земным уделом. Обманутая тобою, я страдала так, как только может страдать земное существо... и я погибла... и теперь, в этот миг,

страшный и непонятный, я все так же томлюсь и страдаю...

Ее бледные руки поднялись и в изнеможении опустились снова. Страшно сверкнули глаза ее и страшно прозвучали ее последние слова:

- А ты, ты убийца!

Еще миг - и она исчезла, беззвучно и бесследно.

Дрогнуло сердце Захарьева-Овинова. "Ты убийца!" - явственно прозвучал в глубине его сознания осуждающий голос, и почудилось ему, что это го-лос "великого старца".

Чья-то рука коснулась руки его. Он взглянул - рядом с ним отец Николай. Лицо священника, всегда свежее, было теперь бледное и выражало необычное волнение; даже рука его, сжимая руку брата, заметно дрожала.

- Велики тайны Божии! - воскликнул он. - Юрий, я вошел - и увидел тень женщины... я понял ее жалобы и ее муки... я слышал... о, Юрий!.. Веди меня, веди меня сейчас к ее гробу. Надо молиться об упокоении души ее. Веди!

XXI.

Какой это был ужасный день для Зины Каменевой! Если бы еще недавно ей сказали, что бывают такие дни в жизни человека и что ей, так еще далекой от человеческих страстей и горя, придется пережить все эти минуты и часы ужаса и страданий, она бы не поверила. Но она пережила и переживала их, и при этом даже выказала большое самообладание.

Когда на ее отчаянный крик сбежалась дворцовая прислуга и когда появившийся врач объявил, что графиня не в обмороке, а действительно умерла, Зина, несмотря на испытанное потрясение, не растерялась. Графиню решено было тотчас же перевезти в закрытой карете в дом ее отца, и

Зина решила, что она не оставит теперь трупа несчастной до самой минуты погребения.

Прошло не более получаса времени - и во дворце все знали, со слов врача, что давно уже больная неизлечимой болезнью сердца графиня Зонненфельд приехала посетить камер-фрейлину Каменеву и внезапно скончалась. У молодой графини "разорвалось сердце". Никому, конечно, не могло прийти в голову в чем-либо подозревать камер-фрейлину; напротив, даже не особенно расположенные к ней люди могли только пожалеть ее.

Между тем тело Елены тихомолком вынесли, уложили в большую карету и в сопровождении врача отправили к князю Калатарову. Очень скоро уехала туда же Зина, получив разрешение отлучиться на три дня, во время которых у нее не было дежурства.

Эти несколько пережитых часов произвели в молодой девушке большую перемену - она как бы вдруг созрела. Чувство глубокой жалости наполняло ей сердце, и эта жалость была так велика, что за нею забывалось все личное. Труп безвременно погибшей красавицы был теперь для Зины самым священным, самым дорогим предметом. Да, она не покинет его ни на минуту, она проводит его до могилы...

Князь Калатаров совсем обезумел, когда ему привезли мертвую дочь. Он едва понял объяснения врача, потом, дрожа всем телом, подошел, взглянул на застывшее бледное лицо Елены, на котором как-то особенно таинственно и страшно выделялись длинные черные ресницы закрытых глаз, перекрестился, машинально приложился губами к холодному лбу покойницы, отошел, и больше никто не мог добиться от него ни одного слова. Он сидел неподвижно в кресле, весь сгорбившись, и все шептал что-то сам с собою...

Покойницу убрали и положили на стол в большом зале. Послали за священником. Пока же вдруг все притихло, и Зина осталась одна у тела.

Она опустилась на колени. Она хотела молиться, но молитвенное настроение все еще не приходило. Душа было чересчур потрясена.

Но вот она слышит, что кто-то опустился на колени рядом с нею, она слышит чей-то голос, то громко произносящий слова молитвы, то падающий до шепота, быстрого, странного, какого-то особенного шепота.

Зина подумала, что это приходский священник, за которым послали, и невольно, чутко слушала. Она никогда не слыхала такой молитвы и такого моления. Эти слова, этот голос заставили ее позабыть все, как бы уйти от земли...

Человек говорил с Богом, веря и зная, что Бог его слышит. Человек просил у Творца милости к созданию, покинувшему землю, но не могущему еще освободиться от земного притяжения, не забывшему еще земных помыслов и чувств.

Мольба эта была проникнута такой беспредельной любовью и жалостью к скорбящей душе, нуждающейся в освобождении и Божьей милости, как будто человек молился о самом дорогом и близком ему существе, как будто нежный отец молился о своей единственной дочери.

"Но ведь она посторонняя ему и чужая!" - не услышала, а почувствовала Зина чью-то мысль, так как в ней самой не было и не могло быть этой мысли.

Она подняла голову, взглянула - и увидела просветленное вдохновением лицо священника с ясными, лучистыми глазами. Но за ним был еще кто-то, и неудержимая сила влекла Зину взглянуть и понять, кто это.

И она поняла. С криком ужаса отшатнулась она в сторону и как бы окаменела. Но она все же не могла оторвать глаз от того, кто стоял в нескольких шагах от нее с поникшей головою, с потухшим взглядом.

Страшным и ужасным казался ей теперь этот непонятный человек, и в душе ее, заглушая все

чувства, поднимались к нему ненависть, и страх, и злоба. И она поняла, что он прочел все это в ее взгляде.

Крик Зины поразил слух отца Николая. Он встал с колен, взглянул на нее, прямо подошел к ней и положил руки на ее голову.

- Господь Сил охранит тебя от всех искушений, от всякого зла и соблазна... - вдохновенно сказал он. - Веруй в Его неизреченное милосердие, не отходи от Него - и никого не бойся. Пока душа твоя чиста и полна любовью, ты сильнее всех сильных.

Ее волнение, страх, ненависть и злоба стихли. Она оторвала свой взгляд от ужасного человека. Из глаз ее полились тихие слезы. На нее будто повеяло благодатным теплом, дающим бодрость и силу.

Великий розенкрейцер еще ниже опустил голову. Мучительная пустота в душе его достигла высшего предела, и вместе с этой пустотою он вдруг сознал себя в первый раз в жизни слабым, ничтожным и жалким со всей своей мудростью, со всеми своими силами и победами над природой...

Подобное сознание своего ничтожества и недовольство собою в таком человеке, каким был Захарьев-Овинов, являлось началом действительного и высокого духовного возвышения. Только теперь приступал он к последнему испытанию.

ВНИМАНИЕ!

Готовится к изданию:

Вс. Соловьев, т. 7

СЕРГЕЙ ГОРБАТОВ

(Хроника четырех поколений)

В двух частях

ВНИМАНИЕ!

Готовится к изданию:

Вс. Соловьев. т. 8

Касимовская невеста

Исторический роман

Вс. Соловьев

ВОЛХВЫ

Собрание сочинений, том 5

Художник *А.Г. Крупенин*
Технический редактор *В.М. Куприна*
Корректор *Р.Г. Россина*

Сдано в набор 15.10.90. Подписано в печать 03.01.91.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Фотоофсет. Усл.печ.л. 23,52 Уч.-изд.л. 23,16.
Тираж 200 000 экз. Заказ №49 Цена 12 руб.

СП "Эврика", 127434, Москва, ул. Немчинова, д. 10
При участии кооператива "Формула-комби".

Можайский полиграфкомбинат В/О "Совэкспорткнига"
Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

12 руб.

